

АЛЕКСАНДР ВЕЛЬТМАН ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

АЛЕКСАНДР
ВЕЛЬТМАН



ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

РОССИЙСКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ



*Александр
Вельтман*

АЛЕКСАНДР ВЕЛЬТМАН



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Эротика
Неистовый Роланд
Аленушка
Ольга
Иоланда
Радой
Костештские скалы
Приезжий из уезда,
или Суматоха в столице
Урсул
Карьера
Не дом, а игрушечка!



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1979

Подготовка текста, составление, вступительная статья
и примечания Ю. М. Акутина.

Художник Г. В. Дмитриев

Вельтман А. Ф.

В28 Повести и рассказы. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания Ю. М. Акутина. М., «Сов. Россия», 1979.

384 с.

Разносторонность интересов и дарований Александра Фомича Вельтмана, многогранность его деятельности поражала современников. Прозаик и поэт, историк и археолог, этнограф и языковед, директор Оружейной палаты, член-корреспондент Российской академии наук, он был добрым другом Пушкина, его произведения высокомерно оценивали Белинский и Чернышевский, о его творчестве с большой симпатией отзывались Достоевский и Толстой.

В настоящем сборнике представлены повести и рассказы бытового плана («Аленушка», «Ольга»), романтического «бессарабского» цикла («Урсул», «Радой», «Костештские скалы»), исторические, а также произведения критико-сатирической направленности («Неистовый Роланд», «Приезжий из уезда»), перекликающиеся с произведениями Гоголя.

В 70301—137 100—79 4702010000
М—105(03)79

P2

ПРОЗА АЛЕКСАНДРА ВЕЛЬТМАНА

Каждая литературная эпоха рождает своих корифеев. А рядом с выдающимися мастерами трудятся прозаики и стихотворцы, чей взгляд на человека и его судьбу более ограничен, чье дарование умереннее. Но случается так, что именно эти, скромные, но по своему талантливые писатели первыми находят новые пути в литературе, по которым в дальнейшем уверенно пойдут их великие современники и потомки. К числу таких русских литераторов принадлежит Александр Фомич Вельтман.

Более полувека продолжалась литературная и научная деятельность писателя. До нас дошли его стихотворные и драматические сочинения, труды в области истории, археологии, филологии. Но самый значительный вклад в литературу внес Вельтман-прозаик. Он — автор пятнадцати своеобразных романов, десятков интересных повестей и рассказов. Именно в них ярко проявилось его незаурядное литературное дарование. Белинский писал, что «талант г. Вельтмана самобытен и оригинален в высочайшей степени, он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал себе какой-то особенный, ни для кого не доступный мир, его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему». Темы и образы для своих произведений писатель черпал из современной действительности и истории, основываясь на собственном богатом опыте и энциклопедических знаниях.

А. Ф. Вельтман (1800—1870) родился в семье гвардейского поручика. Его отец, обрусевший швед, вышел в отставку и до самой смерти оставался титулярным советником, занимал мелкие, плохо оплачиваемые должности, так и не научился как следует говорить и писать по-русски. С 1803 года семья жила в Москве.

Веселого и своенравного мальчика воспитывала мать, с пяти лет обучала чтению и письму. Много времени проводил Александр в обществе отцовского денщика, мастера рассказывать русские народные сказки. С восьми лет он учился в частных пансионах, где приобрел основательное знание французского и немецкого языков, увлекся музыкой, научился играть на скрипке и гитаре.

В 1811 году Александр поступил в Благородный пансион при Московском университете. Он начал писать стихи, подражая Ломоносову, Тредиаковскому, Державину, басням И. Дмитриева, А. Измайлова. Занятия прервала Отечественная война 1812 года. Мальчик видел отступление русских солдат после битвы под Боро-

дипом; перебираясь с родителями в Кострому, наблюдал по дороге за все разраставшимся заревом над белокаменной столицей. По возвращении в город Александр, вдохновленный стихами «певца во стане русских воинов» Жуковского, написал патристические стихотворения и трагедию в стихах «Пребывание французов в Москве».

Вельтман продолжил образование еще в одном частном пансионе, а в 1816 году его приняли в Московское учебное заведение для колонновожатых — юнкерскую школу, готовившую офицеров-топографов, штабистов. Преподавание в ней было поставлено отлично. Вельтман стал одним из лучших учеников, проявил способности к точным наукам, в 1817 году написал и издал «Начальные основания арифметики». В том же году окончил учебное заведение и в чине прапорщика был зачислен в армию.

Первые литературные опыты Вельтмана — басни, лирические стихотворения — оказались мало удачными, автор считал их несовершенными по форме. Но желание писать не оставляло юношу. Постепенно он овладел мастерством стихосложения, но тем, которые бы увлекали его, не находил. Недоставало опыта и толчка, способного пробудить фантазию и вдохновение. Решающим моментом в его жизни и творчестве стал отъезд на юг, встреча там с А. С. Пушкиным и знакомство с его произведениями.

Весной 1818 года Вельтману было приказано отправиться на военно-топографические съемки в Бессарабии, присоединенной за шесть лет до этого к России. Там он пробыл двенадцать лет, занимал должности топографа, квартирмейстера, начальника съемки, старшего адъютанта, начальника исторического отдела штаба Второй армии и в 1831 году вышел в отставку в чине подполковника. Бессарабские годы оказали сильнейшее влияние на формирование мировоззрения и творческого метода писателя.

В перерывах между топографическими работами, поездками для организации карантинных и пограничных цепей по реке Прут, для рекогносцировок местности Вельтман бывал в Кишиневе, познакомился с пестрым местным обществом, сблизился с передовыми офицерами, с декабристами. Он стал другом «первого декабриста» В. Ф. Раевского, на обедах у генерала М. Ф. Орлова обсуждал проблемы социального переустройства. Во время съемок среди топографов не раз возникал разговор о неприглядных сторонах самодержавно-крепостнического строя. Арест В. Ф. Раевского заставил офицеров-квартирмейстеров стать осторожнее, а картографические работы в Хотине отдалили их от событий декабря 1825 года. Но Вельтман до конца жизни не отступился от идей, воспринятых у декабристов, членов Общества соединенных славян, и впоследствии эти взгляды нашли отражение в его произведениях.

Радостной была его встреча с В. Ф. Раевским, приехавшим после 1856 года из Сибири в Москву.

В Кишиневе Вельтман познакомился с Пушкиным. Ссылный поэт узнал, что офицер-топограф пишет сатирические стихи, очень популярные у горожан, зашел к нему на квартиру и просил прочесть что-нибудь из своих сочинений. Вельтман был очень смущен вниманием поэта к своему творчеству: он хорошо знал «Руслана и Людмилу», высоко ценил Пушкина. Но отказать в просьбе не мог и прочел отрывки из сказки в стихах «Янко-чабан», создаваемой на молдавские темы. Пушкину понравились юмористические сценки, шуточные описания природы, он весело смеялся и с того дня подружился с Вельтманом, обсуждал с ним вопросы истории, литературы, иногда горячо спорил, но нередко и соглашался с мнением Александра Фомича. Вельтман записал для него мелодии местных песен. Расстались они с отъездом топографа в очередную командировку и вновь встретились лишь в 1831 году в Москве, причем опять Пушкин первый посетил Вельтмана. Александр Фомич всегда считал себя учеником великого поэта. По совету Пушкина он написал либретто «Аммалат-бек» по повести А. Марлинского, пытался даже продолжать пушкинскую «Русалку» и до самой смерти с отрадой вспоминал о беседах с Пушкиным, предложившим ему при одной из встреч перейти на ты.

Вельтман живо интересовался этерией — движением за освобождение Греции от османского ига, сочувствовал борьбе балканских народов за независимость. Поэтому он горячо воспринял события русско-турецкой войны 1828—1829 годов, участвовал в сражениях, осаде крепостей, за проявленную отвагу был награжден орденом.

Военная служба не мешала Вельтману продолжать литературные занятия. Он написал стихотворные повести «Этеоп и Лаида», «Беглец», «Муромские леса». Первое произведение, посвященное борьбе крестоносцев с мусульманами, любви юноши и девушки, разлученных походом в Святые места, осталось в рукописи. Отрывки из «Беглеца» были напечатаны осенью 1825 года в журнале «Сын Отечества», полностью повесть увидела свет шесть лет спустя. Она создана под влиянием пушкинского «Кавказского пленника», тема была подсказана впечатлениями от поездок по Бессарабии вдоль границы. Увлечение историческими занятиями привело к созданию книги «Начертание древней истории Бессарабии» (1828) и работе над повестью «Муромские леса». Действие ее происходит в разбойничьем вертепе в старинные времена, оно строится на мести врагу и спасении любимой девушки героем произведения Лельстаном. Песня разбойников из повести, названная по первому стиху «Что

отуманилась зоренька ясная», получила широкое распространение, музыку к ней написали в России семь композиторов, она до сих пор включается в сборники народных песен, переведена на иностранные языки. Инсценировка повести с успехом шла в Москве в 1830-е годы.

Вельтман продолжал писать сатирические стихотворения, рисующие нравы кишиневских жителей, послания к «другам-сослуживцам» и в 1830 году создал стихотворный цикл, посвященный Е. П. Исуповой. Поэтические произведения Александра Фомича печатались в журналах, и он вышел в отставку и возвратился в Москву признанным поэтом. Однако основной целью творческой работы Вельтмана с конца 1820-х годов было создание в художественной форме прозаического философского триптиха, содержащего размышления о прошлом, настоящем и будущем человека. Первым томом, отразившим «Настоящее», стал лирико-философский роман «Странник» (1831—1832), сто шестнадцать глав которого писатель привез с собой в Москву и сразу отдал в печать. Произведение принесло автору известность.

Это рассказ о походной жизни молодого офицера в Бессарабии. Бытовые сцены сменяются в нем мечтами героя, описание канцелярской штабной работы и батальных эпизодов чередуется с откровенными признаниями рассказчика, безнадежно влюбленного в замужнюю женщину. Критическое отношение к действительности, повествование об утраченных иллюзиях сочетается в романе с утверждением индивидуальной ценности личности, убеждением в необходимости противостоять обывательскому миру лжи и лицемерия.

Второй том — «Будущее» — это утопический роман «МММCDXLVIII год. Рукопись Мартына Задека» (1833). Подробно рассказывая о социальном строе государства будущего, автор стоит на позициях русской передовой философской мысли первой трети XIX века. В произведении заметны отголоски мировоззрения декабристов, теорий современных утопистов. Писатель дает резко отрицательную оценку тираническому правлению, раскрывает психологическую и социальную несовместимость деспотии и народного блага.

«Прошлому» посвящен роман «Александр Филиппович Македонский» (1836) — завершающая часть триптиха. Обращение к жизни древнего мира дает Вельтману возможность поставить и решить проблемы роли личности в истории и влияния эпохи и общественного строя на формирование индивидуальности. Создавая триптих, писатель выступил новатором. «Странник» отмечен своеобразием композиции и стиля. Утопический роман предвос-

хипсал многочисленные произведения этого жанра в мировой литературе. А в «Александре Филипповиче Македонском» Вельтман раньше других научных фантастов использовал прием «путешествия во времени», дающий возможность герою произведения принять участие в исторических событиях ушедших столетий. Произведениям присуща резкая сатирическая направленность, умелое развитие стремительного сюжета, языковое мастерство.

С начала 1830-х годов и до кончины Вельтман ведет жизнь профессионального литератора и ученого, сотрудничает в ряде журналов, с 1842 года работает в Оружейной палате (с 1852 года — директором). В 1833 году его избирают членом Общества любителей российской словесности, а в 1854 — членом-корреспондентом Академии наук.

В 1830—1840-е годы писатель создает циклы исторических и социально-психологических романов. В них он выступает противником социального неравенства, мыслителем, убежденным в будущем счастье человечества, построенном на основе справедливости и братства. Несмотря на вынужденные иносказания и завуалированную форму, некоторые произведения Вельтмана подвергались временному цензурному задержанию, сам автор порой находился под негласным надзором.

Выступая в жанре исторического романа, писатель обращался к полуполюгендарной эпохе Древней Руси и к событиям Отечественной войны 1812 года.

Романы «Кошей бессмертный» (1833), «Светославич, вражий питомец» (1835) и повесть «Райна, королева болгарская» (1842) рисуют княжескую междоусобицу, походы князя Святослава, Владимира Красное Солнышко. Сатирический гротеск и бытовой юмор, аллегоризм и подробное описание уклада жизни далеких времен в романах вызвали большой интерес у читателей. Н. А. Полевой писал: «Не знаю, кто бы у нас был оригинальнее Вельтмана в основной идее каждого романа, кто бы лучше его умел начать рассказ и у кого можно было бы найти столько блестящих искр, таящихся в пожарище каждого творения».

О нашествии наполеоновской армии, занятии французами Москвы и последующем их поражении рассказывается в романах «Лунатик» (1834) и «Генерал Каломерос» (1840). В первом, носящем в деталях автобиографический характер, рассказывается об охваченном патриотическим порывом юноше, возвращающемся в горящую Москву, попадающем в плен и после освобождения сражающемся с захватчиками. Роман «Генерал Каломерос» в аллегорической форме раскрывает перед читателем внутренний мир государственного деятеля, находящегося в разладе с чувствами,

влекущими его к семейному счастью. Этим человеком оказывается Наполеон во время событий 1812 года.

Философский роман, восходящий к эпохе Просвещения, не был нов для русского читателя, знакомого уже с аллегоризмом повествования. Однако намеренная условность действия, заданность фантастики, пронизывающие некоторые романы Вельтмана тех лет, отличались от уже известных читателю приемов. Используемые писателем для художественного выражения своих философских и социальных концепций, они опережали свое время.

Яркое описание повседневной жизни с использованием мифологии отличают социально-бытовые романы «Сердце и Думка» (1838) и «Новый Емеля, или Превращения» (1845). Используя образы и ситуации русских сказок, писатель создает психологически и социально верные образы современников, утверждает зависимость судьбы и поступков героев от условий жизни, воспитания, характера и душевных стремлений. Особенно сильное впечатление произвели эти произведения на Ф. М. Достоевского. Восхищаясь «Сердцем и Думкой», он писал также брату Михаилу: «Читал ли Емелю Вельтмана, в послед<ней> Б<иблитеке> д<ля> Ч<тения> — что за прелесть».

Следует отметить появившийся в 1837 году роман «Виргиния, или Поездка в Россию», с удивительной точностью и проникновенностью раскрывающий душевную драму молодой женщины, обманутой ничтожным светским волокитой.

Последние двадцать пять лет своей писательской деятельности Вельтман отдал созданию обширной эпопеи, занявшей пять больших томов, под общим названием «Приключения, почерпнутые из моря житейского». Она печаталась с 1846 по 1863 год, а последний том, законченный перед смертью писателя, остался неизданным.

В «Приключениях» изображена русская действительность 1820—1850-х годов, столичный и провинциальный быт в его противоречивых и уродливых формах. Основные темы произведений, входящих в цикл, не являлись новыми для писателя. Отвратительные черты крепостничества, развращающая сущность «большого света», неприглядные стороны деятельности купечества и первых российских промышленников, разложение в чиновничьей и мещанской среде были описаны с сатирической яркостью и в предыдущих произведениях. Но в эпопее, на страницах которой появляется более ста персонажей всех сословий, званий и чинов, дана более широкая и обобщенная картина современных нравов, социальных перемен.

Первый том «Приключений» — роман «Саломея» — знакомит читателя с похождениями поручика Василия Дмитрицкого, не находящего себе места в жизни не из-за отсутствия возможностей или способностей, а потому, что он сам не видит определенной цели и смысла бытия, не стремится ни к богатству, ни к положению в обществе, ни к славе и во всех своих зачастую преступных авантюрах отдается на волю судьбы, в то же время делая попытки выступать от ее имени, карая несправедливость и помогая обойденным жизнью. Параллельно раскрывается судьба эгоцентричной Саломеи Брониной, обладающей и красотой, и силой характера, и умом, но лишенной жизненных принципов. Последний раз перекрещиваются пути героев романа на краю пропасти, и они решаются вместе искать смысл существования в труде.

Следующий роман эпопеи — «Чудодей» (1856) — посвящен анализу проблем семейной жизни. В результате комической путаницы герои произведения Даянов и Дьяков меняются местами, и забавная ситуация раскрывает противоречивые, порой нелепые стороны жизни городских обывателей.

Третий роман — «Воспитанница Сара» (1862) — еще глубже вскрывает антигуманную сущность светского общества. В основе сюжета лежит преступление: подмена детей, обусловленная предвзвешенными интересами общества, ханжески выступающего против мезальянса и внебрачных детей. Автор не только выявляет лживость отношений в «высшем свете», но и показывает их следствия: одаренная большими внешними и внутренними достоинствами Сара становится содержанкой.

Роман «Счастье — несчастье», четвертый том «Приключений», начинается с повествования о бесхитростной, лишенной многих уродующих душу тщеславных стремлений жизни на окраине России, вдали от столичной суеты, где царит жажда наслаждений любой ценой. Но такое чуть ли не идиллическое существование не удовлетворяет героев романа. Им представляется, что счастье можно обрести лишь в удачной карьере, в общении со знатью. И предпринимаемые ими поиски счастья ведут к несчастью, избавиться от которого можно лишь возвращением к неприязнительному бытию, отказом от мелкого тщеславия и корыстолюбия. Резко противопоставлено условностям большого света поведение Ильи Ларина, не считающегося с общественной моралью, намеренно запугивающего обывателей.

Последний том эпопеи — роман «Последний в роде и безродный» — рассказ о повседневной жизни одинокого помещика Степана Ковлина, проводящего большую часть времени в Москве, в томлении неразделенной любви к известной актрисе Сандуновой.

Усыновление лишившегося родителей Алима вносит в неспешное существование Ковлина неожиданные перемены. Автор вводит читателя в круг литературной и общественной борьбы второй трети XIX века, откликается на полемику славянофилов и западников, на громкие общественные события тех лет. Роман остался неизданным, хотя в середине 1870-х годов Достоевский и Л. Н. Майков думали опубликовать его. Ряд причин не позволил им довести замысел до конца.

Романы Вельтмана пользовались громадной популярностью при его жизни. К «лучшим нашим талантам начала 1840-х годов» причислил писателя Н. Г. Чернышевский. Но еще большим успехом пользовались повести и рассказы Вельтмана. Они являлись, по сути, законченными мастерскими эскизами к его многоплановым философским произведениям. И в то же время сохраняли самостоятельность, средствами этого жанра выражая вельтманское видение мира.

По темам и жизненному материалу прозаические произведения Вельтмана малых жанров распадаются на три группы. К первой относятся повести и рассказы, посвященные городской и провинциальной жизни России 1820—1830-х годов. Во вторую входят новеллы, написанные на основе впечатлений, приобретенных во время пребывания в Бессарабии, — они включают определенный документальный материал. Повесть «Радой» объединяет темы обеих групп. Третья группа — это повести и рассказы на исторические темы. Первая прозаическая повесть Вельтмана увидела свет в 1835 году, последняя завершена в 1850-м. Таким образом, произведения Вельтмана-рассказчика относятся к периоду расцвета его творчества.

Центральной темой бытовых повестей и рассказов Вельтмана является судьба молодого человека — и это обусловлено эпохой. М. Горький писал: «Молодой человек этот — самая значительная фигура литературы XIX века». Становление характера юноши и девушки, влияние среды и воспитания на их духовное формирование, трудности и опасности первых самостоятельных шагов — эти проблемы всегда привлекали пристальное внимание писателя, видевшего трагизм и в соприкосновении бесхитростной, искренней в порывах молодой души с миром лицемерия, и в корыстном расчете другой души, пачинающей жизненный путь по меркам и правилам внешне благопристойного карьеризма.

В повести «Эротиды» мы узнаем о стремлении автора противопоставить надуманным сюжетам (привлекательным для совре-

менной журналистики, изображенной в юмористических тонах) животрепещущую тему реальной жизни. Она названа во вступлении: «На что женщина может решиться из любви». Однако знакомство с повестью убеждает, что проблемы, затронутые в ней, дают возможность гораздо шире и глубже исследовать причины трагической судьбы молодой женщины.

Эротида рано лишилась матери, ее воспитывал отец, старый служака екатерининского времени. Представление о жизни складывалось у нее под влиянием рассказов о воинских подвигах, приемах у императрицы. Окрестив дочь вычурным именем, Хойхоров обучал ее воинскому артикулу, верховой езде, отваживал от дома молодежь и близко не подпускал женихов. Простодушный внешне и злой по своей сути эгоизм бригадира способствовал развитию в характере Эротиды не только достойных похвалы смелости, силы воли, решительности, прямоты, но и делал девушку неподготовленной для встречи с действительностью. Своеобразная робинзонада детства и юности не могла пройти даром — столкновение с миром, лежащим за пределами имения отца, грозило Эротиде бедой. Она была неподготовлена к существованию лжи и обмана. Только счастливый случай мог уберечь ее от крушения иллюзий. Но случай оказался несчастным и роковым.

Появление поручика Г...а, сыгравшего трагическую роль в судьбе девушки, было для нее событием чрезвычайным, а для той эпохи весьма заурядным. Такого рода недалеких молодых офицеров, умеющих ловко приволокнуться, не беря на себя серьезных обязательств, можно было встретить чуть ли не в каждой гостиной.

Расставание, надежды, бесполезное ожидание, тревожное подозрение в обмане, одиночество не сломили Эротиду. Она стремится прямо взглянуть правде в глаза и в случае необходимости постоять за свое оскорбленное достоинство. Она не хочет мстить, ей не нужно возвращение забывшего ее человека — Эротида стремится чувствовать себя свободной личностью, которой нельзя пренебречь из-за простой прихоти. И молодая женщина уходит из жизни.

Похожая ситуация складывается в повести «Аленушка», но конфликт разрешается в ней по-другому. Бестолковое воспитание девушки, губительное влияние на нее тетюшек, уверенных, что смысл жизни — выезды, балы, приемы, льстящие самолюбию знакомства, — все это делает Аленушку, как и Эротиду, безоружной перед обманчивым очарованием света. Рядом с нею оказывается Северин. Подробный рассказ о воспитании Северина, лишающем его возможности проявить самостоятельность, не оставляет сомнений в причинах слабости и нерешительности уже взрослого человека. Северин не только не в состоянии уберечь любимую девушку,

но и сам не способен поступать твердо и бескомпромиссно. Особенно ярко проявляется характер Северина в последней сцене. Встретив обманутую, брошенную, лишившуюся рассудка Аленушку, Северин не решается поддаться порыву чувств и обманывает себя, уверяя, что увиденная им дурочка — не та девушка, которую он не смог забыть.

Так погибают и Эротиды и Аленушка. Первая — сильной мятущейся натурой, выражающей себя в действии, а вторая — слабым, безвольным существом, исковерканным без особых усилий безжалостным отношением той среды, что так влекла ее к себе.

Трагикомическая ситуация повести «Неистовый Роланд» сразу же напечтает читателю сюжет гоголевского «Ревизора». Действительно, историки литературы до сих пор не пришли к единому мнению о том, как случилось, что в один год было создано два произведения, не только объединенных общей фабулой — появлением в провинциальном городке мнимого ревизора, но и деталями.

«Неистовый Роланд», напечатанный в 1835 году, и «Ревизор», поставленный на сцене весной 1836 года, не были первыми произведениями русской литературы, использовавшими эту комическую ситуацию. Еще в 1827 году украинский писатель Грицко Основьяненко (Г. Ф. Квитка-Основьяненко, 1778—1843) написал на похожий сюжет комедию «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе». Она была напечатана лишь в 1840 году, но стала известна в рукописи гораздо раньше. Ее знали Гоголь и Вельтман. Однако писателям незачем было заимствовать литературный сюжет — они использовали эпизоды, действительно происходившие в то время в России. Сохранились документальные свидетельства о том, что неоднократно проезжих чиновников и просто обывателей принимали в провинции за ревизоров. Пушкин рассказал Гоголю о похождениях писателя П. П. Свиньина в Бессарабии и о своем приключении того же рода. Вельтман хорошо знал бессарабское происшествие и сам также попадал в подобные ситуации. Мог Гоголь и от других слышать рассказы на эту тему. Так у писателей сложились похожие замыслы, и каждый реализовал их по-своему. А общие детали подсказывала российская действительность.

Вельтман строит рассказ, стараясь придать ситуации возможную достоверность. И внешний вид, и речи находящегося в бреду актера Зарецкого убеждают чиновников, что перед ними важная персона, скорее всего — генерал-губернатор. Тут и открывается вся отвратительная неприглядность жизни провинциального города — казнокрадство, беззаконие, невежество, ди-

кая грубость. И стоило антрепренеру узнать бедного актера, как на Зарецкого обрушивается гнев местного общества во главе с городничим. Но не только в этом смысл рассказанного в повести. Актер не просто умалишенный, произносящий возвышенные речи. Это человек, громко призывающий к благородству и справедливости. Слова, не имеющие значения для обывателей, когда они произносятся со сцены, режут ухо и просто нетерпимы в быту. Если «здравомыслящим» чиновникам Зарецкий кажется преступником и безумцем, то люди, запертые в психиатрической больнице, внимают ему с интересом. И автор намеренно ставит под сомнение: кто же безумен в царской России — замкнутый в сумасшедшем доме или отдающий распоряжения в канцелярии?

Если в «Эротиде», «Аленушке», «Неистовом Роланде» герои гибнут физически или морально, то и Ольга в одноименном рассказе также оказывается у последней черты, и лишь счастливая случайность спасает ее. Перед несчастной воспитанницей развратного помещика со всеобнажающей ясностью открывается вся уродливость бесчеловечных отношений того мира, где она обречена жить, не имея ни своего угла, ни права голоса. Бегство со старым солдатом Андреяном, единственным, кому можно было довериться в усадьбе, не решает проблемы, как найти свое место в жизни, достигнуть независимости, сохранить честь. Ольга не умеет приспосабливаться и лгать, но способна быть верной и самоотверженной. Арест Андреяна заставляет ее решиться на страшный шаг, и только встреча с молодым офицером приводит к благополучной развязке. Так снова беспомощность, чистота душевных цорывов, неприспособленность к житейским невзгодам заставляют героя произведения Вельтмана отступать, смиряться или терпеть поражение при столкновении с безжалостной действительностью.

В первых повестях Вельтмана трагические герои совершенно одиноки. В рассказе «Ольга» впервые у преследуемой и оскорбленной девушки появляются защитники. А главные персонажи повести «Радой» уже стремятся добротой, вниманием, самоотверженностью победить зло. Но мрачная трагедийность предыдущих повестей не сменяется в «Радое» розовой комедией нравов. Пусть лишь частично, но и в этой повести побеждает зло. Оно, по мнению Вельтмана, не заложено в человеке изначально, а рождается в нем окружающим злом. Так, в «Радое» Лизавета Васильевна, насильно выданная замуж матерью, возненавидела за это не только ее и мужа, но и родившуюся дочь Веру, которую и обрекает на участь крепостной, а затем мона-

хини, всеми силами противясь ее счастью. И Мемнон, любящий Веру, оказывается бессильным перед слепым злом.

«Радой» — произведение композиционно сложное и многоплановое. Повествование от автора, участника русско-турецкой войны 1828—1829 годов, сменяется текстом рукописи, написанной молодым офицером. Действие переносится в 1821 год. Пребывание рассказчика во Франции прерывается сценой из жизни средневекового Прованса — соревнованием трубадуров. Далее офицер оказывается свидетелем бурных событий на Балканах, восстания греков под руководством Александра Ипсиланти и валахов во главе с Тудором Владимиреску против османского ига. Там он встречается с Радоем. Последующие события повести происходят в городской и деревенской России. На этом найденная рукопись обрывается, и уже от имени автора идет повествование о судьбе Радоя, нашедшего счастье с Мирославой, и об участии Мемнона и Веры. Глубоко символична последняя строка повести: «Да что ж сделаешь с глупостью, слепотой и глухотой!»

В последующих повестях первой, бытовой группы Вельтман рассматривает тот же светский и мещанский быт, однако выводя на первый план действующих лиц, принимающих и одобряющих нравы уготованной им среды и старающихся преуспеть в своем кругу. В повести «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» — в заголовке перефразировано название пьесы Грицко Основьяненко — внимание обращено отнюдь не на «приезжего из уезда» Ордынина. Трагикомическая история его случайного взлета и неизбежного падения служит поводом для создания достоверной сатирической картины светской жизни, пелепого внешне и психологически обусловленного внутренне соперничества гостинных сочинителей — прозаика Василия Григорьевича и поэта Павла Александровича. Стремление добиться успеха у Елены побуждает прозаика не моргнув глазом сочинить и отправить в печать пасквиль на книгу своего приятеля поэта — именно ту книгу, которую он ему усиленно советовал издать. Автор сатирически рисует атмосферу лицемерия, низости, царящую в салонах московского дворянства, верно показывает тщеславие и духовную ограниченность представителей света, прямое невежество, скрываемое за изысканными фразами: ведь они не моргнув глазом принимают декламируемые Василием Григорьевичем стихи Пушкина и Державина за стихи новоявленного гения. А Ордынин оказывается марионеткой в руках у бойкого приятеля Айголовы и Василия Григорьевича.

Заметим, что, рассказывая о большой популярности и по-

следующем забвении Ордынина, Вельтман использовал, во многом изменив и заострив, некоторые черты литературной судьбы очень известного в 1830-е годы поэта В. Бенедиктова.

Поведение Ордынина в гостиных сходно с поступками Хлестакова. А вот Медов в повести «Карьера» — совсем иной человек. Здесь мы встречаемся не с фантазером, простым ловеласом или бонвиваном. Медов хладнокровен, расчетлив, ловок, не пренебрегает ничем в достижении цели. Стремление сделать карьеру, удачно жениться не остановит его перед безнравственным, иногда жестоким поступком, лишь бы его можно было обставить так, чтобы не вызвать пересудов в салонах. Медов не обладает обширными знаниями, талантами, идеями, дельными мыслями. Ведь в светских кругах они ничего не значат. Важно лишь «уметь жить в свете так, чтобы не чувствовать жизни, чтоб ни во взоре, ни в наружности, ни внутри, ни вне не было ничего вчерашнего; чтоб *завтра* не смело прежде времени выказывать себя посреди белого дня или озаренной воском и стеарином ночи; чтоб быть в одно и то же время и всем и ничем, везде и нигде... о! это много значит!»

Такова сущность главного героя «Карьеры» — человека, имеющего все, кроме, казалось бы, пустяка — сердца.

В последней повести Вельтмана «Не дом, а игрушечка!» соединились основные темы писателя: судьба простосердечных молодых людей, неподготовленных к жизни, и жизнь вельможи. Привлекательны Сашенька и Порфирий, случайно оказавшиеся вместе, нелепо расставшиеся и с трудом нашедшие друг друга. Автор вводит в число персонажей А. С. Пушкина и его доброго друга П. В. Нащокина. Вторая часть повести посвящена истории знаменитого «домика Нащокина», излагаемой в комическом плане. Вельтман был свидетелем изготовления домика и решил «логически» объяснить в повести смысл его создания: «оказалось», что уютная квартирка потребовалась для домашнего.

Вельтман одним из первых сделал попытку создать художественный образ Пушкина. Если вскоре после гибели поэта он выступил как мемуарист, начав работу над «Воспоминаниями о Бессарабии» и опубликовав первую часть их в журнале «Современник», то в 1847 году писатель напечатал рассказ «Илья Ларин», действующим лицом которого является Пушкин. Годом позже увидел свет рассказ «Два майора», отражающий события в Бессарабии, к которым причастен был великий поэт. Пушкин появляется и в романе «Счастье — несчастье».

Социально-бытовые темы отразились в рассказе Вельтмана

«Путевые впечатления и, между прочим, горшок ерани» (1840) и в повести «Наем дачи» (1848).

Одновременно писатель работал над повестями и рассказами второй, молдавской, группы. Рассказ «Костештские скалы» знакомит нас с жизнью и работой молодого офицера-топографа, ведущего съемочные работы в Бессарабии и квартирующего у молдаванки. В рассказ о любви молодого офицера к юной Ленкуце введено молдавское сказание о скалах Костештских, речь о котором идет и в рассказе «Два майора».

Повесть «Урсул», тоже связанная с Бессарабией, основана на действительных событиях: это история молдаванина, ставшего главарем разбойников не по своей воле. Он не смог жениться на полюбившейся девушке, так как она была младшей дочерью, а старшая еще не вышла замуж. Трагедия Урсула началась с гибели обеих сестер, бегства и встречи с шайкой, против воли избравшей его атаманом, так как их поразила его необыкновенная внешность. Урсул потрясен всем случившимся настолько, что все происходящее кажется ему бредом. Он безвольно подчиняется разбойникам, пассивно участвует во всех ограблениях, не отдавая себе отчета, во сне все происходит или наяву. Его воспаленное сознание пытается уловить связь событий, последовательность эпизодов, время и место происшествий, значение услышанных слов. Он не может понять — воображение или действительность сталкивает его с различными лицами, которые появляются неожиданно и внезапно исчезают. Созданием фантазии или призрачным видением является женщина, ребенок, группа людей — эти мысли большей частью отвлекают его от действительно происходящего в определенный момент, поэтому возвращение из забытья порождает лишь новое непонимание. С удивительным мастерством передает Вельтман тяжелую борьбу, происходящую в душе Урсула.

Описывая деятельность разбойничьей шайки, писатель старается передать те настроения и тенденции, которыми руководствовались талгари в Бессарабии. Они считали себя не грабителями и убийцами, а народными мстителями, выбирающими своими жертвами представителей привилегированного сословия — бессарабских и молдавских бояр.

Особое место в творчестве Вельтмана занимает рассказ «Иоланда». Это не просто произведение на историческую тему, повествующее о событиях частной и общественной жизни во Франции XIV века. Сцены рассказа — в мастерской Гюи Бертрана, в гомнате, где Иоланда оказывается с соперницей, в суде, на аутодафе, у собора — драматические эпизоды, связанные

сложным композиционным узлом, который не всякий читатель сразу развяжет.

Отличает рассказ «Иоланда» то, что автор, задавая загадку, разгадывает ее косвенно. Кратко проследим содержание рассказа. У Гюи Бертрана пропала дочь Вероника, увлеченная Раймондом. Она скрывается под именем Иоланда, ждет ребенка, проникается уверенностью, что влюбленный в Санцию Раймонд покинет ее, Иоланду. Раймонд передает Гюи Бертрону портрет Санции, чтобы мастер изваял восковую статую, ничем не отличающуюся от подлинника. Иоланда поражает кинжалом статую, думая, что расправляется с соперницей. Суд инквизиции приговаривает Иоланду к сожжению за убийство колдовским способом Санции, которая в это время исчезла, увезенная Раймондом. Взглянув на изображение казненной у собора, Гюи Бертран узнает свою дочь, а Санция поражена, увидев свое имя в надписи под портретом.

Писатель выступает в этом произведении как один из зачинателей детективного жанра в России, пролагая тот путь, по которому практически одновременно шел Э. По.

В повестях и рассказах Вельтман выступил писателем, взволнованно откликающимся на социальные перемены, несправедливость крепостного строя, сословную ограниченность дворянства. Он пытливо всматривался в резкие противоречия первого этапа становления капитализма в России. Хотя понимание общественных перемен было у него ограниченным, Вельтман, оставаясь на позициях прогрессивного либерализма, до конца жизни был решительным противником реакции и на склоне лет призывал к равенству и справедливости.

Прозаические произведения Вельтмана малых жанров созданы с большим художественным мастерством. Богатство языковой палитры, простота, стройность и в то же время оригинальность композиции, умение дать речевой портрет персонажа — все это заставляет сравнить его повести и рассказы с образцами русской прозы 30—40-х годов XIX столетия.

Многое сближает первые повести Вельтмана с пушкинской прозой — с «Повестями покойного Ивана Петровича Белкина», «Пиковой дамой», а «Урсула» — с «Кирджали». Темы и образы связывают их с повестями Н. В. Гоголя, Н. А. Полевого, В. Ф. Одоевского, М. П. Погодина, Н. С. Лескова.

Интересно вспомнить разговор Л. Толстого с М. Горьким. Толстой спросил: «Вы знаете Вельтмана?» — и, получив утвер-

дительный ответ, заметил: «Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака».

Действительно, ситуации и образы «Эротида» напоминают нам «Евгению Гранде». Некоторые персонажи Вельтмана заставляют вспомнить Растиньяка, Рюбампре. Это не значит, что мы ставим этих писателей на один уровень,— важно подчеркнуть пути развития русской и французской литератур того периода.

Но ближе всего в литературной деятельности был Вельтман к Достоевскому. Вспомним хотя бы трагические истории униженных и оскорбленных у обоих писателей. Ряд женских образов в произведениях Вельтмана (Эротида, Зоя, Саломея, Сара) отдаленно напоминают Аглаю, Настасью Филипповну, Грушеньку. А многие герои его прозы — как бы ранние эскизы к портретам Макара Девушкина, Мышкина, Свидригайлова, Федора и Дмитрия Карамазовых.

Повести и рассказы Вельтмана при его жизни встречались с восторгом. Вот что можно прочесть в журнале «Библиотека для чтения» за 1843 год:

«Повести Вельтмана! Да это клад! Когда господин Вельтман начинает рассказывать повесть, он может быть уверен, что все будут слушать его со вниманием и попросят повторить. Лучше его никто не рассказывает: ему стоит только захотеть быть милым, забавным, трогательным, наивным, беспритязательным рассказчиком, и он очарует всех своих слушателей».

Несомненно, что интересным рассказчиком Александр Фомич Вельтман остался и для читателей XX века.

Юрий Акутин

ЭРОТИДА



Это было, кажется, в прошедшем году в августе месяце... точно.

Званные гости съехались в один дом праздновать *красный день* хозяйки.

Семейство было *средней руки*, жило не на *большую ногу*. Обед был вкусен и весел. Хозяин пил за здоровье гостей, гости за здоровье молодой хозяйки и поэта: так величали добрые приятели самого хозяина, который — не при нем будь сказано — умел слагать стихи, вроде «*на прыщик Делии*», и сочинять журнальные повести.

После обеда, по обычаю, дамы пошли в гостиную, мужчины уединились в кабинет жечь табак.

После-обеда, в обществе, в беседе приятельской, есть живой журнал. В это время выполняются экспромтом все статьи тяжелой и легкой литературы, критики и смеси.

В одном углу, с сигаркою в зубах, сидит тучная статья сельской промышленности и хозяйственной экономии, под заглавием: *о пользе свеклы и картофеля*. В другом углу, раскинувшись на диване, *философия* трактует о различии философии и филозофии; подле *филологическая статья* доказывает, что слово филология составлено из *φίλος* — друг и *λόγος* — слово; что французское слово *filou* — мошенник, обманщик — имеет корнем своим также слово *φίλος*, получившее превратный смысл с тех пор, как люди стали употреблять слово *друг* как лучшее оружие для обмана; и что от слова *λόγω* — говорю — происходит русский глагол *лгу*, ибо *говорю* и *лгу* некоторым образом единозначительны.

Тощее *стихотворение*, затянувшись украинским вах-

штафом, ходит Эолом по комнате и ропщет про себя куплеты.

Историческая статья, заложив руки в боковые карманы, излагает свое мнение о хаосе времен и народов; *механика* — о различии стремления к центру и от центра; *метамеханика* — о законах духовных движений в природе; *геология* — о расширении толщи земной; *ботаника* — об общественной и частной жизни растений.

Но частные разговоры сливаются наконец в *смесь*. Внимание общее к слухам, новостям, остротам, городским сплетням... Только *критика* сидит надувшись, слушает и прислушивается, смотрит и всматривается, все видит и ненавидит.

После-обеда происходит незаметно. Цель жизни исполняется: пища варится хорошо, душа не тоскует, не измеряет времени.

Так началось *после-обеда* и у поэта. Сперва поступила философическая статья: *что такое женщина?* потом механическая: *о стремлении к сердцу и от сердца*; потом астрономическая; *о светилах любви*; потом агрономическая: *о возделывании женской души и о причинах неурожая семейственного счастья*; потом начался критический разбор женщины во всех отношениях; потом смесь, рассказы, анекдоты...

— Я не умею рассказывать, — сказал хозяин, — но прочту вам быль о том, на что женщина может решиться из любви.

— Очень, очень рады! — вскричали некоторые из гостей, но большая часть нахмурилась при слове *чтение*. Поэт этого не заметил, вынул тетрадку из конторки, поставил перед собой стакан воды и начал читать следующее.

Часть I

*Бригадир. — В наше блаженное время. —
Женихи. — Улан. — Он знает приличия.*

I

Около 25 лет тому назад бригадир Хойхоров (предок его был вывезен с Кавказа) доживал свой век в поместье, высочайше дарованном ему за заслуги. Он был из числа тех людей, которые хвалят только свое прошедшее, любят старые привычки, как старое вино, не видят добра

в будущем и думают, что все окружающее их теряет свою силу, свою красоту, портится, клонится к разрушению.

Воспоминание о прошедшем имеет какую-то особенную приятность, но у старожиллов нашего времени есть какая-то чудная страсть или, может быть, и пристрастие к временам Екатерины. Когда они заведут речь о своем *прошлом*, на щеках их выступает румянец, в очах заблещет молния.

«Теперь все коротко: и платье, и ум, и жизнь людей. Где теперь такие люди, какие бывали в наше время? — Румянцев, Потемкин, Орлов, Суворов, Шереметев... Истинные вельможи славою, честью и богатством!

Бывало, Петр Борисович или Николай Петрович вздумают попить, созвать гостей в Останкино, в Кусково... Вся дворня во французских, шитых золотом кафтанах!.. От заставы Московской вплоть до дачи огорожат собою дорогу по обе стороны сорок тысяч душ Московской губернии: мужички, купцы да крестьяне, тысячники да миллионщики, в синих бархатных да плисовых кафтанах, а молодичи и девицы в парче, увешаны жемчугом, накрыты золотой фатою!.. А поедет сам цугом, в раззолоченной карете, в золоченых шорах, впереди скороходы, сзади гайдуки в сажень!.. За ним вся знать московская. А в Кускове сто поваров обед готовят. А обед часов пять тянется; носят, носят, золотым блюдам счета нет!.. откусывают — почетные садятся играть в *преферанс*, в *ламуш*, в *панфил*, в *тресет*, в *басет*, в *марьяж*, в *ломбер*... Дамы идут прогуливаться в сад, деревья от маковки до корня унижены ананасами, апельсинами, персиками... На пруду раззолоченная шлюпка, роговая музыка гремит, как на страшном суде. Потом театр воздушный... что за актеры!.. а все доморощенные!.. про кулисы и говорить нечего: машина на машине — сами двигаются!.. Потом откроется бал... пойдут *полонез*, *пергурдин*, *манимаску*, *менуэт*... А что за наряды! Боже великий!.. одного золота да блессток, что на пол просыплется, нашему брату на целую жизнь на пропитанье достало бы — полотеры пудами на выжигу продают!..

Бывало, сама государыня дивится: ну,— говорит,— Николай Петрович, богат ты и тороват! угостил! где нам за тобой тягаться?»...

Таким образом и бригадир Хойхоров видал прохождение небесных и земных комет и не дивился звездам.

Пережив жену свою, он остался с единородной своею

дочерью *Эротидой* (он любил мудреные греческие имена и при рождении дочери выбрал это имя из *Гипотипозиса*, или из *Полного месяцеслова*); ему понравилось имя Эротиды — любовь на лице являющаяся.

Он взялся сам воспитывать дочь свою. — Не поручу, — говаривал он еще жене своей, — не поручу ее ни *мадэме*, ни *мусье*.

— Помилуй, батюшка мой, — говаривала ему жена, — да ты только и знаешь, что свой артикул! — Но с женою умерли противоречия, и бригадир, нарядив дитя в амазонское платьице, накупил ему для забавы деревянных солдатиков, ружье, барабан, коня на колесах...

«Эротиды будет у меня хват девка!» — думал он. — Ну, Эротенька, марш, марш! — и Эротенька, перекинув через плечо перевязь барабана, взяв в руки ружье, маршировала пред отцом, — отец любовался.

Когда Эротиде минуло 12 лет и деревянный конек стал уже ей не по росту, бригадир выучил ее ездить верхом, брал с собою в отъездное поле. Изучение же наукам, т. е. чтению, письму и закону божью, поручил своему сельскому священнику отцу Лазарю, доброму старцу, любившему слушать бригадирские рассказы о воинских подвигах.

Вместе с бригадиром постарел и деревянный дом его, и все дворовые строения. Стены и кровли почернели, обросли мохом и муравою. Но кому не понятна любовь к *привычному месту*? кто не чувствовал какой-то неловкости, когда в его комнате старая мебель заменялась новою?

Все стены держались только подставами, а бригадир и не думал о перестройке дома.

— Вот уже! сколько могу припомнить, ваше превосходительство, — говаривал ему отец Лазарь, — домик-то ваш при мне стоит десятка четыре лет, а строился он до предместника моего... из опасенья бы изволили перестроить...

— И, братец, — отвечал обыкновенно бригадир, — простоит еще с меня; что мне в новых палатах? Теперь архитекторы, упаси боже, построят дом, ни приюту, ни тепла, да еще того и гляди провалится, задавит. Вот, недалеко пример, у соседа... как бишь?.. Ну, да провал его возьми, и вспоминать не стоит!

— Касьян, Касьян... дай бог памяти!..

— Какой Касьян, братец, я сроду ни одного Касьяна не знал, а с его отцом был закадычный друг. Сын мотыга,

гордец, француз, построил себе дом в Москве, переехали жильцы. Первый снег — стропилы не выдержали, рухнулись, потолок провалился.. всю, братец, семью было передавил...

— Слышал, слышал, ваше превосходительство... дом Григория Михайловича...

— Пора, отец Лазарь, надуматься. Да ты скоро забудешь, как свиных детей зовут...

— Виноват... ваше превосходительство.

— То-то, братец, ну, ступай, ступай, учи Эротиду...

— Хотел было я... изложить мою просьбицу... ваше... превосходительство...

— Что, верно, опять на посев хлеба? Нет, отец Лазарь, починать закрома для тебя не буду.

Таково было обхождение бригадира со всеми; немножко грубо, но зато простодушно. Сло́ва *вы* от него никто не слыхивал; для приличия он не хотел отступать от грамматического правила. Но, грубо говоря, он был добр на деле. Священник был уверен, что на другой же день будет ему прислано с господского двора и жита, и проса, и ячменю, и овса. Соседи его любили и съезжались к нему раза два в год, в торжественные дни и *праздники в кругу*.

Только молодежь поотучил он от себя. Его первый вопрос был: «А тебе, братец, который годок?.. пора, пора на службу! в двадцать лет стыдно соску сосать!.. на службу, на службу, и не показывайся мне на глаза до капитанского чина; ну, в капитанском чине можно и в отпуску побывать».

Таким образом, круг бригадира ограничивался *живыми преданиями глубокой старины*.

Мужчины в пудренных париках, с сальными косами, с мешочком на конце вроде хлопушки, вшитых золотом бархатных или атласных кафтанов с пуговицами фарфоровыми, стальными, шитыми блестками, с медальонами, в плисовых сапогах...

Дамы постарше — в громадных атласных *калишах* на проволоке, с блондами вокруг лица, с бочкками вместо фижм, в пышных *полонезах*, с прорезами сбоку, в которые продевались полы атласной юбки и висели, как *драпри* окон из двух разноцветных шелковых материй.

Дамы средних лет, за полвека, в чепцах *суворовских* или в прическе, обильной *кудрями*, сверх коей *шифоне* из индийского шелка соединялся с унизанным жемчугом чер-

ным *бордоном*, продетым сквозь прическу; в *мантильях* с длинными полами и капишоном; в башмаках белых, вышитых блестками и стальными бусами, с каблуками с два вершка вышины, с носками, как нос стерляди.

Дамы же молодые, еще не прожившие половины столетия, красовались прической из волос, напудренных и взбитых вроде лебяжьего пуха; несколько разноцветных перьев расстилались по одной стороне головы; их одежда не отставала от моды, их платья были в три полотнища, талия под мышкой; белая шея прикрывалась прозрачным кисейным платком; дебелые руки обнажены до плеча, но в лайковых длинных перчатках; на ногах *марокские* башмачки красного цвета.

Все они ласкали 14-летнюю Эротиду, называли малюткой, обходились как с ребенком и только что не брали ее к себе на руки.

II

Таков был бригадир, вся родня и все соседи его; но дочь его, Эротиды, была чудная девушка. Несмотря на то что воспитание отцовское готовило ее в драгунскую службу, бог весть где переняла она все женское, все милое, привлекательное. Несмотря на то что отец учил ее фрунтовому шагу, она шагала не в аршин; ножку ее нельзя было назвать ногой, потому что и на 14 году, укладывая ее в башмачок, как в колыбельку, можно было припевать: «Баю-баюшки-баю, баю крошечку мою!» Глаза Эротиды были чернее всего на свете, а ресницы подобны тем, которые Фирдеуси сравнил с копьем героя Кива в башне Пешена; ее волосы, распущенные локонами до плеч, были самого лучшего каштанового цвета, любимого всеми веками, исключая то время, когда была мода на рыжих да красных. Стан ее был величествен, перехват тонок, грудь пышна, шея бела, румянец пылок.

И вся она была ангел, в котором еще нет зародыша разрушения, который еще не отравлен горем жизни, не заражен злыми привычками окружающих. Это была дитя-дева, не прикованная еще к земле ни страхом, ни надеждами.

Не рассыпайте же перед ней, люди, семя ласкательства, не маните на корм эту птицу небесную!.. не вынуждайте ее любить вас, не требуйте клятв на постоянство, не топите ее в своих желаниях!.. дайте налюбоваться на диво

божие, дайте помолиться на нее! Когда пахнет тление, прикоснется и до нее холодная рука времени,— тогда возьмите ее себе!

Настал Эротиде 15-й год. Друг бригадира, богатый сосед, холостяк, отставной секунд-майор, которого грудь была украшена золотым крестом Очаковским, который страдал подагрой лет за 30 до рождения Эротиды, сделал следующее предложение другу своему:

— Послушай, братец; ты знаешь, я жизнь провел аккуратно, без долгов, имею состояньице и, слава богу, силы... Мы, братец, с тобою друзья давние, искренние... отчего бы и не породниться... благо ~~есть~~ случай... твоя Эротид... невеста, братец...

— И, братец,— отвечал ему бригадир,— у Эротиды есть уже один дряхлый отец, к чему ей навязывать на шею другого!..

Разобидели эти слова секунд-майора; перестал он ездить в дом к своему другу.

Таким образом Эротида избавилась от одного жениха.

Явился другой. Он вручил бригадиру письмо от своей тетюшки, старого друга покойной бригадирши.

— Рад, рад знакомству,— сказал бригадир, прочитав письмо, в котором мельком упоминалось о будущности Эротиды и потом следовала длинная рекомендация вручителю письма.

— Рад, рад знакомству! — повторил бригадир,— а что, батюшка, где изволишь служить?

— Я служил в 1-м Мушкатерском полку капралом, но по домашним обстоятельствам вышел в отставку; а теперь-с, после родителей, полный хозяин имения и буду очень счастлив...

— Молоденек еще, молоденец, государь мой, служить бы да служить.

— Здоровье не позволяет-с.

— А, дело другое; точно, знаю по себе, служба требует сил и здоровья, точно так же, как и женитьба. Ну, что ж делать, лечиться, лечиться должно; а у нас в уезде прекраснейший лекарь...

— Но...

— Да, да, поправишь здоровье да опять на службу; потому что, братец, что ж это за чин: капрал в отставке? Ну, в военной тягостно, куда-нибудь в статскую; бумаги переписывать не велик труд.

Не по душе гостю были слова бригадира; он отвернулся к окошку.

— Какое прекрасное местоположение!

— Не худо, очень не худо.

Кукушка высунулась из часовых дверей, прокуковала час за полдень.

Гость встал с места.

— Второй уже час, а мне еще до обеда нужно проехать пятнадцать верст.

— Прощайте, прощайте, батюшка, рад знакомству!

Таким образом Эротиды избавилась от второго жениха.

За третьим дело не стало. Приехала к бригадиру двоюродная сестра его — женщина, у которой повсюду есть делишки, везде заботы и хлопоты.

— Ну, братец, насилу притащилась к тебе! что за дорога!.. Берлин мой совсем расколыхался. Знаешь ли что? сядь-ка поближе... Эротиды у тебя хоть под венец... Видал ты у меня... знаешь Игнатъя Ивановича?

— Как не знать палатской крысы, которую женил бы я на кошке.

— Как ты злословишь людей, не знавши их в глаза! Это ни на что не похоже! Я, сударь, в доме моем бесчестных людей не принимаю!..

— Право?.. Ну, ну, не сердись, сестра. Я говорю по слухам, а пословица говорит: «не всякому слуху верь».

— То-то же, сударь... это честнейший человек!

— А что, он еще председателем?

— Председателем; да в какой любви и чести у генерал-губернатора! Сильная рука! далеко пойдет!

— Гм! Есть у меня дельцо... Помнишь тяжбу за чересполосную землю...

— Что ж, *неужли* выиграет у тебя эта голь-дворянин?

— Да, почти; а землицы-то жаль.

— Эх, братец, да я познакомлю тебя с Игнатием Ивановичем покороче. Да он все для меня сделает; уж твоему ли делу чета дело Рывиных.

— Ну?

— Выиграли.

— Не знаю дела Рывиных, а я владею землею не по праву; документы все у противника; как ни бейся, а придется еще и приплатить *тыщаги* две...

— Пустяки! И земля и деньги пойдут в приданое Эротиде.

— Недурно бы... а Эротиду пора выдавать замуж...
А что, сестра, каков человек Игнатий Иванович?

— Партия хоть куда. Человек в ходу, не в летах, имеет состояньице.

— И честной души?

— Честнейший, благороднейший, в этом я тебе круглая порука.

— Помилуй, сестра, не сама ли ты поручилась, что он пособит мне ограбить бедного человека!

Старуха взбесилась, уехала.

Таким образом Эротиды избавилась от третьего жениха.

III

Бригадир отстаивал дочь свою от нашествия женихов; сама же Эротиды и не думала о женихах, потому что сперва должно иметь хотя теоретическое понятие о любви, а она была окружена со всех сторон прошедшим веком, который не любил говорить при девушках о том, чего им знать не надлежало.

Эротиде очень веселы казались *муштры* воинские и рассказы отцовские про походы и как в турецкую войну *меркетентерам* турки головы резали.

Она почти не скидала амазонского платья, которое состояло из *пьеро* мундирного покроя, палевого тафтяного жилета и пуховой шляпы, убранной лентами.

Сердце ее было свободно, душа чиста, ее небо ясно, поле жизни усеяно цветами, а в характере Эротиды было что-то неробкое, решительное.

Итак, Эротиды не ведала любви; но наступает время, в которое оболочка кокоса разрывается с громом.

Одному взводу уланского полка назначены квартиры в селе бригадира. Взводный командир поручик Г...ъ, прекрасный собою молодой человек, отчаянная голова, вступая в село, знал уже от *языков*, кто таков помещик, в каком он духе, какова дочь его, который ей год, как его зовут, как ее зовут и пр. Как знаток военного искусства, он основательно изучил правила, что военному человеку должно иметь во всем предвидение, пользоваться малейшим случаем, иметь хороший глазомер, иметь решимость и что, вступая в страну, должно разведывать о образе мыслей жителей, о привычках... и т. п.

На сером коне, который изогнул шею в кольцо, установил хвост трубой, ехал он, подбоченясь, мимо окон бригадирского дома.

Все, что только было живо в доме, высыпало на двор, унижало собою окны; сам бригадир сел также у окна и любовался отважным, дебелим фрунтом улан; а Эротиды загляделась на самого предводителя.

Проезжая мимо окон, поручик сделал вежливый поклон, приложил руку к киверу; из-под руки окинул быстрыми очами Эротиду.

Бригадир принял это за чинопочитание, а неробкая Эротиды в первый раз чего-то испугалась, вспыхнула, отшатнулась немного от окна.

Поручик, не хуже искусного поселянина, с первого взгляда узнавал добрую, не паханную еще почву, на которой каждый взор, каждое слово возрастет и даст *сторицею*. Поручик знал *приличия*: он нигде не пропускал являться с *истинным почтением* к родителям и с *совершенною преданностию* к дочерям.

И вот явился он к бригадиру во всей форме, почтил его именем ваше превосходительство, спросил: какие угодно будет ему сделать распоряжения в отношении помещения и продовольствия взвода.

Бригадир не устоял от толиких учтивостей и *такового* уважения к его заслугам. Он усадил поручика и три часа сряду говорил убедительным языком о достоинстве прежней службы, как он *храбрость, искусство и верность в различных акциях чрез знатные службы оказал* и как он аккуратен был в *обстоятельствах и околичностях* службы, как исправен был в представлении начальству *инвентариа, сиречь справной росписи* об вверенном ему полку, амуниции и всяких чинов людей, как командовал в турецкую войну *корволантом* и т. д.

Терпеливо, очень терпеливо, как нельзя терпеливее слушает Г...ъ старика; а кому не нужны терпеливые слушатели?

Разговор продолжался о князе Таврическом. Современнику Екатерины, самовидцу чудес прошлого века, было о чем слово сказать; повесть длинная, бесконечная, в которой бригадир играл роли: капорала, каптенармуса, сержанта, вахмистра, прапорщика, капитана над вожами, капитан-поручика, секунд-майора и т. д.

Еще не был кончен рассказ, как вошел дворецкий, в се-

ром французском кафтане до пят, и доложил, что «кушать, дескать, подали!»

Поручик знает приличия; встал, пристукнул шпора о шпору, прощается с хозяином; но бригадир удержал его обедать. Вышли в залу; явилась и Эротида. Бригадир не любил рекомендаций, но поручик пристукнул шпора о шпору, а Эротида присела, раздумянилась.

Бригадир уселся на своем обычном месте, в голове стола, по правую сторону посадил гостя, по левую села Эротида; прочие приборы были заняты домашними безгласными существами.

Бригадир продолжал свой рассказ, поручик внимательно слушал; но его взоры...

О, глаза ужасная вещь! особенно когда они, выходя из пределов своей обязанности — *смотреть и видеть*, вздумают *говорить*. Краткость, ясность, убеждение, сила, мысль, душа... и кому ж говорят они? — сердцу, этому чувствительному, малодушному поклоннику очей, ланит, уст, персей... этому бедному заключенному в мрачных недрах, этому сердцу, которое и от радости и от печали готово разбить всю грудь, готово выпрыгнуть на подставленную ладонь каждого хитреца, каждой плутовки в два аршина и два вершка ростом, у которой взор острее солнечного луча!..

Сколько раз Эротида покушалась рассмотреть пристальнее поручика; поднимает взор, а поручик поймает его и отразит таким взглядом, что Эротида душевно сердится, зачем сидит она и против окон и против поручика; сердится она и на лицо свое, которое то и дело загорается так, что ничем не потушишь.

Но обед кончен, рассказ кончен, ратафию поднесли, кофе подали, из-за стола встали. Поручик прищелкнул шпора о шпору, отцу поклон, дочери взор, прощается.

— Прощайте, прощайте, г. поручик, милости просим и вперед! — говорит бригадир, надевая колпак, признак, что его высокородие, а в случае особенного уважения, его превосходительство, тотчас после обеда любит соснуть.

Но г. поручик знает приличие; без особенного приглашения он уже не является в дом; только служебная необходимость по несколько раз в день заставляет его галопировать мимо бригадирских палат.

Эротида нашла себе работу подле окна; в ней родилась охота к женским рукодельям, что-то шьет она в *тамбур*,

верно подарок своего рукоделья папиньке в день именин.

Поручик проезжает, кланяется так ловко, мило. Эротиде ли быть неучливой, не отвечать на поклон?

Наступает день именин бригадира. Поручик приглашен к *обеденному столу*. Он является так почтительно, так умно поздравляет его превосходительство со днем ангела. Нельзя не поздравить и дочери: этого требует приличие.

Роброны и миниатюрные чепчики на самой вершине огромной прически, основанной на войлоках и укрепленной булавками в пол-аршина величины, опасны и для отважного *волокиты*; но Г...т находит удобный случай сказать несколько слов Эротиде.

Что говорил он ей, что отвечала она ему, трудно, невозможно повторить. В русском языке на словах соблазн чувств еще не существует; почти до самого всемирного выражения «я вас люблю» уста молчаливы, глупы и рады, рады, что за них говорят очи.

Одно только умное и обдуманное сказал поручик:

— Я слышал, вы охотницы ездить верхом.

— Я очень люблю верховую езду,— отвечала ему Эротиде.

— Если б я был столько счастлив... (выражение, без которого нельзя обойтись), если б я мог сопутствовать вам в ваших прогулках...

— Эротиде, Эротиде! — раздалось из гостиной. И Эротиде не успела отвечать: «Это было бы мне очень приятно».

Прошел день именин, прошло несколько дней, во время которых, однако же, бригадир не скучает без поручика, хотя и некому было рассказывать «события прошедших дней, преданья старины глубокой». «Нет,— думал он, сам себе на уме,— знаю я эти кивера набекрень... тотчас приставят мазу!»

И бригадир продолжает свою обыкновенную жизнь, ездит с дочерью прогуливаться верхом, но без спутника.

Он делал дело, и поручик также не забывал дела, только у Эротиды валилось дело из рук.

Один раз Г...т случайным образом встретился с старым кавалеристом и прекрасной амазонкой в поле. Поклонившись, он уже намерен был пристроиться к фрунту, обратив *глаза направо*, но бригадир почтил его вопросом:

— Куда, г. поручик?

— Так, ездил без цели и намерения.

— О, что ж за прогулка без цели и намерения. Я вам советую проехать на мой свечной завод; любопытно взглянуть, как свечи макают. Вот, поезжайте по этой тропинке.

— Очень любопытно! — отвечал поручик, бросив горестный взор на Эротиду и прощаясь со встречаемыми.

«А, злодей! — думал поручик, отправляясь по показанной тропинке, — постой, и на тебя есть фортель!..»

Дня через два Г...ъ является перед обедом к бригадир-у, зовет его на травлю лисицы, лисицы старой, опытной.

— Вы увидите, что у меня за собаки! — говорит он.

Травля — страсть бригадира.

— Посмотрим, посмотрим, г. поручик, не угодно ли спустить свою лучшую вместе с моим Лучом.

— О, рад! Угодно заклад? Ухо на ухо.

— Хорошо!

Сборы недолги. Седлают коней для Эротиды и бригадира. Денщик поручика помогает; он свел уже знакомство со всею дворней, он чистит и поглаживает коня Эротиды.

Садятся, едут в чистое поле. Охотники отправлены вперед; красного зверя везут в клетке; собаки рвутся со свор.

Бригадир и поручик заводят разговор об охоте; Эротиды галопирует подле отца; лошадка ее пляшет, гордится своим седоком... но вдруг прижала уши, замотала головой, замахала хвостом, пошла беспокойным, неровным шагом.

Наша амазонка отважно ездит, игра лошадки ей нравится, она затягивает уздечку... тс, тс!.. но лошадка ее закрутилась, взвилась, кинулась вперед стрелой, помчалась во весь опор; тщетны усилия Эротиды удержать ее.

Покуда бригадир успел ахнуть, Эротиды уже далеко. Поручик успел уже догнать ее, схватить ее коня за узду, соскочить с седла... Конь вырвался из рук; но Эротиды уже на руках.

— О, как счастлив я! — вскричал он, осыпая ее руку поцелуями. — Мне удалось спасти вас от опасности! Я сам бы умер, я не перенес бы малейшего вашего несчастья!.. — Это все было сказано невольно, а что невольно, то прости-тельно.

— Вы испугались, Эротиды?

Эротиды хотела отвечать: «Нет-с, ничего»; но какое-то

женское чувство сказала ей, что необходимо маленькое беспамятство, смущение.

Запыхавшись от страха, подскакал отец.

— Что с тобой, Эротида?

Эротида, поддерживаемая поручиком, медлит отвечать.

— Благодарю, благодарю, г. поручик... Не знаю, что сделалось с поганой лошадежкой; кажется, такая смиренная.

— Верно, чего-нибудь испугалась...— отвечал поручик.

Прискакали и люди, заметившие издали, что с барышней случилось что-то недоброе. Послали за коляской; коляска приехала. Эротиду повезли домой... задумчивую: испуг сильно подействовал на нее.

Нельзя избавителю от опасности не навестить спасенную и не узнать об ее здоровье.

Но какая страшная перемена после подобного случая во взорах спасенной. Она уже без боязни, без робости смотрит на спасителя — и из их взоров невидимый паук (верно, тот, который соткал мир, по мнению негров) тклет паутину, опутывает ею крылатое сердце.

И вот настает время, свободно произносит язык, сперва:

— О, Эротида, я не пережил бы вас!.. о, этот случай показал мне, что в вас заключено мое благо!..

Потом спустя несколько времени:

— Эротида, Эротида! хоть одно слово!..— но Эротида молчит... но ее рука уже осыпана поцелуями... она сама уже в объятиях...

Но это сон, дерзкая мечта. Родитель почивает спокойно положенные часы на отдых после обеда: он, проснувшись, думает о благе дочери... Она уже возле него; ее щеки горят, сердце бьется, душа, как голубь, хочет выпорхнуть из тела.

Часть II

*Карлсбад.— Ва-банк.— Опоздала. —
Новая пациентка.— Снова ва-банк.— Убита!*

I

В 1814 году, когда в Париже целая Европа праздновала низвержение маленького Капрала с плеч своих, большая часть русских офицеров — раненых, больших и рас-

строивших свое здоровье, были уволены в отпуск, на воды, на все четыре стороны.

Уланского полка ротмистр Г...ъ также торопится пользоваться водами. Украшенный знаменьями победы над общим врагом, он хочет пожить на воле, испытать счастья *направо и налево*.

Давно наслышан он про Карлсбад, давно жаждал Карлсбада. Там воды текут по золоту, берега Теппеля и Эгера усеяны живыми цветами; там вода и любовь во 165° теплоты; там пьется, кроме воды, *благоуханное дыхание* страждущих меланхолией, бессонницей, отсутствием аппетита и всеми возможными припадками, для которых нужно рассеяние и 165° спруделя¹ и любви,— любви, этого лекарственного недуга от всех недугов, этого опиума, возбуждающего деятельность чувств, этого дня среди ночи, этого блаженного страдания.

Может быть, Г...у полезнее бы были воды Висбаденские или Пирмонские, или даже Теплицкие, но Г...ъ предпочел Карлсбад — Карлсбад, который умнее было бы назвать Афродитенбад, потому что его воды есть Силуамский источник прекрасного пола, потому что и сама Венера в случае болезни не избрала бы для восстановления своего здоровья иных вод, кроме Карлсбада.

Итак, ротмистр Г...ъ едет туда.

Вот он уже вступает в границы Австрии, он уже прокликает мосты и мостики, на содержанье которых обязан и он платить деньги, прокликает и гельд, и тринкгельд, и *deutsche Sprache*², которого не понимает.

Но вот въезжает он в Карлсбад... и тут слышит он *halt*³ и *erlauben Sie!*⁴ Привратник неторопливо продувает свою трубу, играет на трубе поздравление с приездом и за *Fromme terstückchen!*⁵ требует с Г...а деньги. Расплатился; но его останавливают еще двадцать вопросов, двадцать предложений и рекомендаций, печатных и словесных, всех гостиниц и *table d'Hôte*⁶ Карлсбада: где ему угодно остановиться? на долгое время или на короткое? — подневно, понедельно или помесечно? — какие воды будет пить?

¹ Здесь: источник лечебной воды (*немецк.*).

² деньги, и часовые, и помесцкий язык (*немецк.*).

³ стой! (*немецк.*)

⁴ проезжайте! (*немецк.*)

⁵ трубные сигналы, или трель (*немецк.*).

⁶ табльдот (*франц.*).

Надоели Г...у запросы.

— Все равно, куда хотите везите! — говорит он.

— Как это можно, — отвечают ему. — Здесь есть и дорогие заездные дома, и дешевые, *Gott weiss*¹ где вам поправится, из многого выбирают: тут есть и *Böhmische Saal*² и *Rothen Ochsen*³, можно остановиться и под *Золотым щитом*, и под вывеской *Оленя*; может быть, вы любите играть в бильярд...

Выбирает Г...ть *Золотой щит*. Нанял на месяц покой — являются новые посольства и предложения: какими водами будет пользоваться? угодно ли, чтобы его имя печатали в *Badelist*⁴ за 30 крейцеров, или нет? хочет он иметь *Badelist* для прочтения или собственностью?

Вечеру является у двери номера толпа *Nacht-music*⁵, играет и требует денег.

Наутро является хозяин с предложением взять прием карлсбадской соли как необходимого средства для очищения перед пользованием водами.

Накопец все предложения истощены; Г...ть пациент Карлсбада. У него оцарапано плечо пулею, рука подвязана; а это так интересует всех земных существ, посящих шелковые эполеты, обшитые блондовой бахромой, вооруженных золотым кинжалом, на котором у пояса привешены часы, — всех земных существ, украшенных серьгами — серьгами! признаком рабства, по глупым преданиям Востока.

Г...ть уже в каштановой аллее. Вместо меча у него золотой лорнет в руке, вместо мундира на плечах фрак; только широкие лампасы, сапоги с высокими каблуками и шпоры показывают, что он военный, и какой военный! — с перевязанною рукою, с крученым усом, с русыми волнистыми кудрями, с вскинутым плечом, с маленькой модной сутулиной, с пур-ле-меритом на шее и с 25 годами, означенными в формуляре в графе «сколько от роду лет?».

Все эти достоинства могут привлечь и дружбу, и любовь на свою сторону.

В несколько дней воды Карлсбада приносят свою пользу. Ротмистр уже со всеми знаком; у него уже полна ком-

¹ бог знает (немецк.).

² Богемский зал (немецк.).

³ Красные быки (немецк.).

⁴ список принимающих ванны (немецк.).

⁵ ночной музыки (немецк.).

ната военно-раненой молодежи; он уже может владеть рукой, метать направо и налево, записывать, списывать и отписывать.

Время летит, пробки летят; кипит молодость, кипит и шампанское. О, девы, девы! женщины, женщины!.. смотрите на эту молодежь, смотрите на эти 52 листа, которые означали у древних число недель в году, а 364, число очков всех карт,— число дней в году. Посмотрите, как каждый юпоша и муж заботится, чтоб ему *рутировала дама*, с какою надеждою гнет он ее на *пэ*, и в душе и на столе *транспорт!* Но вот «*ander Stück manier!*»¹ поносит он свою даму, рвет на части, бросает под стол, встает из-за стола и идет мучить своими ласками первую встречную *сусанхен*; тщетно кричит она: *Lassen Sie mich, herr Oberster!*²

Однажды в общей зале *Золотого щита*, где ежедневно готов список 200 блюд для наблюдающих строгую диету, где есть и *Мельникер*, и *Унгер*, и *Рейн*, и шампаниер-вейн, кроме сладкой, соленой, кислой и горькой воды, где для моциону есть бильярд и карты, кости и фортунка, и триктрак, и просто шашки, а для услаждения слуха — и слепые, и зрячие музыканты, и оркестр, и *оркестрино...*, Г...ть, окруженный понтерами, *резал штос*; ему не везло счастье, его *оборвали*; молчаливо он отирал пот с лица, брал новую талию, рвал вдребезги старую, и стакан *карولينу* стоял подле него, забытый...

Банк сорван. Г...ть вынимает кошелек, высыпает на стол сто червонцев; это все, чем он может жертвовать.

Он уже прорезал талию, понтеры протрещали колодами, выдергивают по карте.

— Ва-банк! — раздался голос в угле стола. Ротмистр вздрогнул, взглянул на нового понтера. Это был молодой человек; лицо его было болезненно; густые, черные бакенбарды и навислые усы еще более придавали ему бледности. Он был в казакине, в чектирах с широким малиновым лампасом.

Бросив кошелек на стол, он повторил:

— Ва-банк! Дама!

Г...ть взглянул на него и продолжал всматриваться.

— Извольте снять,— произнес наконец он не равнодушно, положив на стол колоду.

¹ «на другой лад!» (немецк.)

² оставьте меня, господин офицер! (немецк.)

Молодой человек снял.

Г...ъ берет колоду, обертывает очками кверху, скидывает допарно карты...

-- Дама убита! — вскрикивают все понтеры в один голос.

-- Баста! — говорит Г...ъ, дومتая талию и загребая выигрышные червонцы.

«Это горяченький новичок, — думает он, — надо с ним покороче познакомиться».

— Не в добрый час поставили вы решительную карту.

— Да, — отвечал молодой человек, — мне не везет счастье.

— Несчастье в картах, счастье в любви!

— Этому я не верю... может быть, вы на себе испытали.

— Карты мне не везут!

— А любовь?

— Любовь? ну, в ней трудно проиграться тому, кто не ставит целого сердца на одну карту.

Молодой человек промолчал.

— Встречался ли где я с вами или у вас есть родные, — продолжал Г...ъ, — только что-то мне знакомо лицо ваше.

— Может быть, — сказал молодой человек, отворотясь к окну.

— Вы, верно, еще недавно здесь? — продолжал Г...ъ?

— Вчера приехал.

— В отпуск?

— Нет, в отставке, служил в Мамоновском полку.

— Если у вас здесь мало знакомых, то очень рад буду, если не откажетесь разделять со мною время. Вы где остановились?

— Под вывескою *Три звезды*.

— Поближе к водам!.. Вы, верно, туда идете теперь? И я иду прогуливаться, нам путь один; а я, между тем, вам как новому приезжему покажу, на что стоит обратить внимание в Карлсбаде. Вот, например, это «шённе¹ Кристинхеп»!

— Lassen Sie mich, Kapitain!² — вскричала молоденькая Кристинхеп, служанка хозяйская, попавшаяся на встречу на лестнице и вырываясь из рук ротмистра.

¹ прелесть (немекк.).

² Оставьте меня, капитан! (немекк.)

Молодой человек, еще неопытный, как дева вспыхнул, потупил глаза; казалось, что это был первый урок в науке, для него новой.

Г...ъ взял его под руку; вышли на бульвар.

— Вы говорите по-немецки?

— Ни слова.

— Италья! Русскому офицеру, знающему немецкий язык, здесь раздолье. Мне кажется, что женщины всего земного шара имеют какую-то особенную паклонность к русским... Ну, а здесь на водах необходимо волокитство; оно полирует кровь... Сегодня, кажется, все звезды на небе!.. Посмотрите! это больные! Верно, много опорожнено бокалов шампанского за их здоровье!.. За чье же здоровье они приехали сюда пить воду?.. А! вот и она!.. Как правится вам это личико под голубой шляпкой?.. прелесть!

— Хороша.

— Только-то? Вы, верно, уже влюблены? Это равнодушие мне обидно. Но я все-таки рад, что и вы не будете в числе моих соперников... Я с ними разделяюсь á *сюр*¹.

Дамы приблизились. Ротмистр бросил значительный взгляд на девушку в голубой шляпке; взгляд девушки был еще значительнее. Молодой человек заметил это.

— Совершенство! — вскричал Г...ъ, когда прошли дамы, — и еще лучше то, что не она, а ее маминька сожжет себя 165-градусным спруделем, потому что, по-моему, нет ничего хуже *залеченной* женщины. То ли дело цветок, не тронутый хрупческою меланхолией, в который не влито еще медицинского здоровья. Что толку в превращении розы в лилию!..

— А если любовь заботится об этом превращении?

— Все равно! О, да вы мечтатель, заразились вздохами. Стыдно! Ну, женщине, существу архичувствительному, дело другое, а молодому человеку вянуть от любви... Зайдемте кстати на почту; ко мне должны быть письма из полка... Потом опять на бульвар, а потом ко мне, если угодно, на русский чай...

Они подошли к окошку, где выдают письма. Ротмистр объявил свое имя, ему подали письмо.

— Ба! — вскричал он, ломая печать, — знакомая рука!.. Запоздалое, сладкое известие от 12 июня 1812 года! О, это

¹ точным ударом (*франц.*).

любопытно! Пойдемте в аллею, присядемте. Кстати, вы, кажется, устали; слабость заметна по вашему лицу.

Они пошли в аллею, сели.

Г...ъ пробежал письмо и захохотал.

— Ну, скажите, пожалуста, будьте судьей. Еще в псходе 11-го года стоял я, со взводом, в селе одного бригадира, чудака старого покроя, у которого была дочь. Тогда я был еще моложе, ветренее, влюбился в девушку. За взаимностию дела не стало. Старику пельзя было и думать отдать свою дочь за меня, потому что у меня ничего не было за душой, кроме моего почтения. Я готов был увезти ее — не решилась: как можно без папинькиной воли выйти замуж! А между тем молодость не рассуждает о последствиях. Уезжая, я поклялся всем, на чем свет стоит, и в беспредельной любви, и вечной верности; поклялся писать, дослужиться до бригадирского чина и тогда формально требовать руки ее. Перед началом войны я и писал; но открылась война — не до любви. В Германин, во Фрапцин, победы; красавиц бездна, одна другой лучше, одна другой огненнее, победа за победой, а перед победителями все кладет оружие; и вот — прошли три года, и вот — письмо от моей милой Эротиды отыскало меня на краю света, да опоздала! Уведомляет, что она свободна, что папинька умер, что она ждет меня вручить мне свою руку... Опоздала! Нет, через три года я рисковать прогонами не буду. С тех пор много воды ушло, а девушки ждать женихов не любят, да и притом же, признаться, писать не умеет...

«Милой, дражающий друг, я слабодна, папинька... ах! не магу прайзнести, сердце абливается кровию...» Прекрасный слог! Наставила *ахов* и *охов*! Терпеть не могу этой чувствительности! То ли дело...

Тут ротмистр вынул из бокового кармана записную книжку, из книжки вынул записочку.

— Прочтите.

— Извините, я не понимаю по-французски.

— Ну, я сам прочитаю и переведу вам: *Monsieur, je tiens trop à votre estime*, т. е. Милостивый государь, я держусь очень к вашему уважению... *pour n'avoir pas montré à ma mère dans une circonstance aussi importante pour la reputation d'une jeune personne, la lettre que vous venez de me fair l'honneur de m'écrire...* т. е., что не показала маминьке в таком важном случае, для репутации молодой

особы, письмо, которое вы сделали честь мне писать... oserai — je vous avouer, monsieur, que je ne laissais pas de redouter son sentiment sur vos propositions... т. е. осмелюсь ли признаться что я боялась ее чувств на ваши пропозиции... Et n'est-ce pas assez vous faire entendre que mon coeur partage tous vos projets, — Adeline... т. е. и не довольно ли, чтоб дать вам слышать чрез сие, что мое сердце делит все ваши прожекты!

— Вот истинное женское мужество и доверенность полная! Такое сердце стоит похитить из объятий родительских.

— Да, это правда, — отвечал молодой человек с негодованием, — предпочтение ваше имеет законные причины... Синица в руках лучше журавля в небе... Однако ж мне нужно сходить теперь в контору и взять билет на воды... Извините меня, я вас оставляю...

Г...ъ пустился по бульвару, потерялся в толпе, а молодой человек пошел стороной бульвара. Он видел, однако же, как ротмистр мелькал около голубой шляпки; видел, как он отправился домой, а дамы с бульвара перешли улицу Ней-Визе и вошли в угольный дом.

Молодой человек подошел к крыльцу, спросил у человека в ливрее, кто из приезжих живет в этом доме.

— Пани ксьяжна! Л... из Польши, — отвечал человек.

— Она здесь со своею дочерью Аделиной?

— Так есть.

Молодой человек отправился домой в гостиницу под вывескою *Три звезды*.

— Спасу ее! спасу! — произнес он несколько раз почти вслух.

II

Настает вечер. Ротмистр ждет гостя, тасует карты. Молодой человек не идет. Между тем собралась молодежь. Сперва речь о женщинах, потом за карты; посмеялись над молодым человеком, проигравшим сто червонцев — верпо, последние! — и молодой человек забыт.

На другой день, по обычаю, ротмистр и вся молодежь отправляются после обеда на бульвар; на бульваре новое лицо, которое обратило внимание всей публики.

¹ княжна (польск.).

Все, что только носит на себе название ein flinker, gewandter Bursch¹, все уже ходит около него, всматривается и просто, и в стекла, вздымает плечи и горбится, и щурит глаза, и пучит их, и оседает с ноги на ногу, и шепчет про себя: ah, c'est une divinité!²

Г...а увлекает общая молва. Он также наводит свой лорнет и как знаток восклицает: черт знает как хороша!

Он снова смотрит. Самолюбие его выражается обычными словами банкомета: о, да это такой *куш*, при котором не стоит обращать внимания на все прочие *куши*.

По слухам, это приезжая из России, обладательница нескольких тысяч душ. С нею нет ни маминьки, ни папиньки, ни бабушки, ни мужа; с нею только пожилой доктор немец; следовательно, она должна быть молодая вдова, рассеивающая свое горе...

Красота всех женщин, пациенток Карлсбада, потухла перед ней, как луна перед зарею.

Ротмистр снова смотрит и ищет ее взора... встречается... заметил в нем что-то такое... и забыл молоденькую польку Аделину. Аделина слишком белокура, слишком низка ростом, слишком легка: в ней нет того горделивого благородства, оценивающего собственное достоинство; нет того огня в очах, нет и нет чего-то, составляющего славу победы, льстящего всем чувствам.

— Чудное существо! — кричит молодежь, собравшись к ротмистру. — Верно, приехала рассеять печаль свою!.. Господа, не оставим сердца во вдовстве!

Ротмистр молчит, но в душе он готов бы был заступиться за ее честь, готов придрасться к каждому, кто бы вздумал быть открытым претендентом на победу ее сердца.

Ротмистр проигрывается; тому она виновата, он рассеян; никогда еще женщина не поселяла в нем страсти; в первый раз испытывает он задумчивость и бессонницу. Она везде перед ним... Но он смеется и сам над собою; он уверен в самом себе, как всемирный победитель; он умсет ловить взоры, заставлять краснеть женщину — он так создан. Страсть может еще придать ему более решительности идти прямым путем к цели, не смотреть себе под ноги. «Кто бы ты ни была, — думает он, как Телемак, — богиня или прстая смертная, ты будешь моею!» — и он пресле-

¹ бойкого, ловкого бурша (немецк.).

² ах, это чудо! (франц.)

дует ее в галерею спруделя и в аллею каштановой, как будто владеющий уже правом защищать красавицу от лорнетов и толпы искателей.

Проходит несколько дней, и Г...ъ нашел случай говорить с нею на водах. Он торжествует, замечая, что в сердце ее запала уже искра любви к нему; от него не скрывается забывчивость, взгляды и угнетаемые скромностью вздохи.

Но скрывается ли это от стоглазого аргуса зависти? Таит ли это стоустое злословие?

Заступится ли женщина за честь женщины? отстоит ли ее от навета? или первая предаст на позор подобное себе существо?

В первый раз, когда Г...ъ подошел к madam Emilie Hogeff¹ (так записана была незнакомка в Badelist) и завел разговор с нею и с сопровождавшим ее доктором, все, что только ходило в галерею, по доброй воле и для предписанного *моциона*, — все поняло, все проникло тайну, все улыбнулось, зашептало, заговорило о скорой победе, потом — о добродетелях женских, о скромности, о приличии...

Злые слухи чернили уже прекрасную посетительницу Карлсбада, а она, как солнце, была выше туч, которые затмевали свет ее.

Только Г...ъ мог знать и испытывать на себе всю строгость ее правил, всю чистоту ее души, непроницаемой для соблазна. В разговорах с нею притупилась его дерзость; казалось, что он сделался мечтателем; он говорил с нею про Россию, возбуждал в ней любопытство видеть окрестности Карлсбада, малый Версаль, древний замок Стейн-Эльнбоген, где есть камень, упавший с неба; Хиршеншпрунг, где есть прелестное место, называемое *небо на земле*.

— О, — говорил он, — как блажен, кто испытает *небо на земле*, кто встретит ангела-женщину, осмелится произнести: *люблю*, и эхо этого слова отзовется в ее сердце!..

— Блаженство на земле, — отвечала она задумчиво, — не похоже ли оно на мрачный угол горы, который носит название *небо на земле*? Может быть, тот, кто назвал его так, на этом же самом месте был мучеником раскаяния за миг надежды и радости!.. Один ли смысл заключает

¹ госпоже Эмили Горевой (франц.).

в себе слово люблю? Не значит ли оно иногда — я *играю* вами?

— Играть святым чувством! — возразил Г...ть. — О, нет!.. я не испытывал еще его, не произносил слова люблю, не владел ничьим сердцем, но я заступаюсь за смысл этого слова...

Г...ть продолжал описывать яркими красками любовь, взаимность, земной рай и, как будто не замечая, преследовал Эмилию до самого дома, занимаемого ею против *Золотого льва*.

Перед крыльцом он остановился со всевозможными извинениями, что увлекся занимательностью разговора.

— Кого не увлекают слова?.. по поток их часто опасен... Благодарю вас.

Г...ть готов уже был раскланяться, но прекрасная пациентка Карлсбада остановила его словами:

— Вы возбудили во мне любопытство видеть *небо на земле*. Если вам угодно сопутствовать мне туда, то я ожидаю вас завтра на утреннюю прогулку, в 10 часов утра.

Как будто предвидя готовность Г...а, она, не ожидая ответа, вбежала на крыльцо, а ротмистр, торжествующий в душе, отправился на бульвар, выходил весь Карлсбад и возвратился в свой номер не прежде полуночи, чтоб избавиться от докучливых товарищей своих; он ничего не хотел видеть, слышать и знать, кроме 10 часов утра.

После томительной бессонницы настало утро; но до 10 часов оставалось еще 18 000 мгновений.

Наконец Г...ть летит на крыльях любви к Эмилии Горевой. Он застает ее в гостиной; перед нею на столе лежит золотое кольцо; она, казалось, задумалась над кольцом. Вошедший ротмистр испугал ее. Она смутилась.

— Извините меня, что я вошел без доклада; ваш доктор сказал мне, что вы принимаете... Но я возмутил, кажется, какую-то грусть, воспоминание... и над кольцом?..

— Нет, не кольцо было причиной моей задумчивости... в нем нет приятных для меня воспоминаний... оно не памятник любви!.. Я им могу столько же дорожить, сколько вы дорожите тем кольцом, которое у вас на руке... и в доказательство я готова с вами меняться...

— О,— сказал Г...ть, смутясь несколько,— воспоминанием любви я бы не пожертвовал, но кольцо матери я имею право променять... Я желал бы променять его на кольцо ваше...

— Я не откажусь от своего слова. Вот кольцо, которым я не дорожу... Оно ваше!

— Вы дарите меня счастьем! — вскричал Г...ъ, меняясь кольцами. Он хотел что-то продолжать в восторге чувств своих, но вопрос Эмилии прервал его восклицания.

— Тут слова: *Эротика, 1811 года*. Это, верно, имя ма-тушки вашей?..

— Ее имя.. — отвечал Г...ъ нетвердым голосом. — Вы подарили меня счастьем!.. — продолжал он, надевая на руку кольцо и целуя его.

Но Эмилия не обращает внимания на его восторг. Она встала с места, вышла из комнаты...

«Что это значит? — думал Г...ъ. — Понимаю! порыв любви и испуганная скромность женщины!..»

Вместо Эмилии вышла горничная девушка и объявила, что госпожа ее чувствует себя нездоровой и извиняется, что принуждена отложить поездку за город.

«А, плутовка! — думал Г...ъ, выходя и рассматривая кольцо, полученное от Эмилии. На нем было вырезано имя, но соскоблено... Может быть, это имя... но все равно!.. что мне пужды до прошедшего! Золотые ключи от города высланы навстречу победителю, и город будет наш!»

Г...ъ идет домой. Для него необходимо рассеяние; взор его светел, он щедр за общим столом, он готов лить шампанское на голову тому, кто не пьет его. После обеда рассыпает он червонцы на стол, тасует карты; понтеры трещат колодами, выигрышные червонцы в банке; пошли углы, транспорты, темные, на все четыре, до первой убитой...

— Ва-банк! — раздается в углу стола.

Ротмистр вскидывает взоры. Это знакомец его, молодой человек.

— А, мое почтение!.. Не хотелось бы на все, да нечего делать, за мной реванж.

— Ва-банк! дама! — повторяет молодой человек.

Г...ъ начинает метать...

— Убита, — раздается в устах всех понтеров.

— Нет счастья в картах!

— Верно, вы слишком счастливы в любви! — говорит ротмистр, считая червонцы.

— Правда ваша. Не угодно ли выиграть любовное кольцо... Вы, кажется, можете отвечать таким же... Я вижу у вас на руке.

— Я на свое кольцо не играю,— отвечал Г...ъ,— но если угодно, выше пойдет в пяти червонцах.

— Может быть, вы дорожке оцените это кольцо.

Молодой человек снял кольцо с руки и бросил к ротмистру.

Г...ъ взял его, взглянул на надпись: *Эротиде, 1811 года*. Он вспыхнул, вскочил с места, схватил молодого человека за руку, отвел его в сторону и произнес задыхающимся голосом:

— Где, сударь, взяли вы это кольцо?

— Я, сударь, не обязан вам отвечать на ваш вопрос.

— Вы должны отвечать, или я заставлю вас, сударь, отвечать на расстоянии четырех шагов!..

— И очень рад, принимаю ваш вызов.

— Завтра же в 6 часов, сударь!..

— Не завтра, а сего же дня; теперь еще светло, спю же минуту! Там, сударь, где *небо на земле*!

— Очень хорошо-с! Уверен, что вы там не будете так счастливы на *rendez-vous*¹ со мною!.. по секундапты?

— Не пужко... к чему свидетели? Любовь не терпит их, и ненависть не должна любить! Прощайте, чрез полчаса я буду на месте.

Молодой человек уходит.

«Знаю я вашу братию фанфаронов!» — думает ротмистр.

В положенное время он велит седлать коня, берет кухенрейтерские пистолеты, едет в Хиршеншпрунг. Молодой человек уже там.

— На сколько шагов угодно? с барьером.

— Вы вызывали меня отвечать вам в расстоянии четырех шагов, и я готов; но до смертельной раны, не иначе.

Решимость молодого человека потрясла душу ротмистра.

— Хорошо, хорошо! — отвечал он,— заряжайте пистолеты!

Пистолеты заряжены, шаг отмерены.

— Я вам, сударь, повторяю,— говорит Г...ъ,— извольте мне отвечать на вопрос, сделанный вам, и дело обойдется без крови.

— Ответ уже в дуле, сударь, извольте повторить ваш вопрос выстрелом!

Г...ъ навел курок, молодой человек также. Он подошел к самому барьеру, целит в ротмистра медленно.

¹ на свидании (*франц.*).

Г...ъ не выдержал, спустил курок, и пуля впилась в грудь молодого человека. Он упал на землю, бросил пистолет, сжал рану рукою.

— Убил! — вскричал Г...ъ невольно, подбегая к нему.

Молодой человек приподнялся, сорвал с себя накладные волосы и произнес замирающим голосом:

— Оставьте... помощь ваша бесполезна и для соперника вашего и для моей соперницы...

— Эмилия! — вскричал Г...ъ, падая на колена.

— Нет, не Эмилия... а забытая тобой... Эротидида... прощай!..

— Эротидида! — едва промолвил ротмистр. Чуть внятное *прощай* повторилось. Последний луч солнца исчез за горю; казалось, что ночь торопилась накинуть черный покров на отжившую Эротиду.

— Вообразите же себе, — говорил мне Г...ъ в 1818 году в М...е, — был же я столько слеп, что не узнал Эротиды в Эмилии и Эмилии в этом отчаянном офицерике Мамоновского полка.

— Что же сделали вы с этой несчастной? — спросил я, смотря с ужасом на этого человека.

— Похоронил собственными руками в волнах Эгера! Возвратившись в Карлсбад, я на другой же день слышал новость городскую: повсюду рассказывали, что прекрасная пациентка скрылась неизвестно куда с одним молодым человеком, моим соперником, испугавшимся вызова на дуэль... Аделина долго дулась на меня, однако же мир был заключен; она рассталась с маминькой. На границе России, в первой церкви, стал я с нею около наложия, дьячок подал нам в руки свечи, отпел панихиду вместо венчания... Теперь не знаю, как проживает она в Могилеве на Днепре.

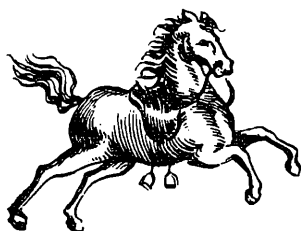
Вот слова, которыми заключил Г...ъ рассказ, из которого я составил быль или небылицу — не знаю.

— Повесть хороша, хороша! — сказали слушатели.

— Хороша, только конец немного темен; притом же Эротидида в собственной роли мало образована, в роли Эмилии слишком блистательна, а в роли офицера чресчур мужественна.

— Воспитание, любовь и время чего не могут сделать из женщины! — отвечал хозяин-повествователь, укладывая свою тетрадку в бюро.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД



Глава I

В одном из пятидесяти пяти губернских и пятисот пятидесяти пяти уездных городов Российской империи, в заездной жидовской корчме, ходил по комнате из угла в угол человек лет тридцати, важной наружности, с пламенными черными глазами, с пылким румянцем на щеках. На нем был синий сертук; три звезды светились на груди; беспокойство и смущение выражалось во всех чертах.

Двери в хозяйскую спальню были притворены. Подле спальни, в кухне молодая еврейка стряпала на шабаш *кугель* и готовила чай для постояльца. Несколько жидков в штанах, в нагрудниках, в шапках толпились около нее и бормотали *по-своему*. Вдруг раздалось громкое восклицание постояльца. Жидки бросились к дверям и по очереди заглядывали сквозь щель в комнату, занимаемую им.

— *Ангелика!* — произнес он отчаянным голосом.

Жидки отскочили от двери со страхом.

— *Wus sakt er?*¹ — пробормотал один из них и снова уставил глаза в щель.

— *Haim, Haim, Schlem!*²

Хайм и Шлемка также пододвинулись к щели.

— *Ангелика!* — повторил знаменитый постоялец, оставаясь посреди комнаты. Очи его были неподвижны, поднятая рука тряслась.

— *Природа!* — продолжал он, — *ты глуха к воплям несчастного! Слезы мои пробили дикие камни и не смягчили*

¹ Что сказал он? (*идиш*)

² Хайм, Хайм! Шлём!

тебя, чтоб отдать мою собственность!.. В степь обращаю я вселенную, чтоб в беспредельных равнинах Ангелика не могла скрыться от взоров моих!.. Ангелика! Неужели в обширном свете есть место, которое в состоянии утаить тебя?..

После некоторого молчания он ударил себя в грудь и продолжал голосом страдания:

— *Боже всевышний! Бесконечная борьба!.. Или не довольно мучений?.. Какая фурия омочила ядовитый кинжал в крови моей?.. В юдоли спокойствия, в ее объятиях, в минуту блаженства... он сам совершил свой приговор!.. Может быть, она предпочла суровому названию воина нежное имя пастуха! Своенравное божество любви! Лей в рану мою яд!.. она не чувствует его более!.. Что ж медлю я! Иди, ищи ее, несчастный!..*

С этими словами он бросился в сторону.

— *Тышэ, судэр!* — вскричала еврейка шепелявым наречием, отскочив от иступленного постояльца. В руках ее был поднос, на котором внесла она засаленный чайник с чаем, другой с горячей водою, третий с молоком, блюдечко с четырьмя кусочками сахара и другое с жидовским хлебом.

— А, Рифка! теперь ты от меня не уйдешь! — вскричал знаменитый постоялец, сдавив в своих объятиях еврейку, едва только успевшую поставить поднос на стол.

— *Wus macht ег, Найм?*¹ — пробормотал жиденок, смотревший в щель двери.

— *Дз! Тышэ, судэр!* — вскричала еврейка, защищаясь от поцелуев, которые сыпались на лицо ее, и с трудом вырвавшись из рук постояльца.

Когда она выбежала из комнаты, неизвестный посмотрел пламенными очами вслед за ней, налил стакан чаю, выпил его почти залпом, прошел несколько шагов по комнате, снова остановился посреди комнаты, вскинул руки и закричал:

— *Проклятый! и ты не сбросил их в ад!.. Да, я все опустошу, что только носит на себе отпечаток постыдной любви!.. Погибните, нечистые тени, блюстители гнусных наслаждений и свидетели моего стыда!.. О! будь дыхание мое подобно бурному вихрю!..*

¹ Что он делает, Хаим? (идиш)

Вслед за сими словами проклятия полились потоком. Сама Рифка выбежала из кухни и, отогнав жидков от двери, приложила глаза и уши к скважине.

— *Солнце!* — продолжал неизвестный, — *скройся, если ты когда-нибудь приблизишься по золотому пути своему к этой плачевной юдоли! Луна! отверти луч небесного твоего света от постыдного места! Вечная ночь! покрой собою это адское жилище! Смертоносный воздух! растли приближающегося сюда странника... Лютые тигры! селитесь здесь!..*

В это время наружные двери закрипели, кто-то вошел в комнату. Неизвестный продолжал, но уже гораздо спокойнее:

— *Солнце торопится скрыться от этого ужаса! Смотри! видишь ли добродетель в рубище, а порок в шелку? Видишь ли горлицу? над ней вьется ястреб... он уже схватил, раздирает ее сердце, кипящее еще любовью...*

— Готово, судэр, — произнес стоявший в дверях. По голосу можно было догадаться, что это был жид-фактор.

Деревянные часы, висевшие в углу, прокуковали шесть часов.

— Пора! — сказал неизвестный. Накинув на себя плащ, он вышел вон; фактор провел его по коридору со свечой. На дворе было уже темно; подле ворот стояла маленькая польская бричка, запряженная в одну лошадь, которую правил жид в мохнатой шапке, с витыми огромными пейсами.

— На водку фактору, сударь!

— Убирайся к черту! — отвечал неизвестный, вскочив в бричку.

Жид, сидевший на козлах, хлопнул бичом по тощим ребрам клячи; фактор со свечой воротился в комнату; копыты застучали о твердую землю, бричка задребезжала; по обе стороны улицы замелькали в домах огни жидовского шабаша.

Без помехи катилась бричка; вдруг, при спуске под горку, навстречу обоз; жид своротил в сторону.

Из ближайшего дома свет ударил на улицу.

— Овраг!.. — вскричал неизвестный. Слова его прервались, бричка опрокинулась, звезды на платье мелькнули, раздался стон и вдруг умолк. Только слышно было, как на гору тянулись волы, да слышен был свист погонщиков да хлопанье бичей и *цобэ, цобэ!*

Обоз проехал. Все утихло. Жалостное жидовское *иох!* слышалось под горою; но вскоре снова раздался удар бича, снова копыты застукали, и бричка задребезжала вдалеке.

Глухой стоп повторился подле освещенного дома, близ мостика чрез овраг.

Глава II

В день св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры к господину городничему стекались гости. По случаю именин почтешной своей супруги он строил пир на весь мир.

У всех значительных особ города, знающих приличия большого света не менее Павла Афанасьевича Фамусова, этот день отмечен был в календаре; на чистеньком листочке, против 10 числа сентября, стояли следующие слова: день ангела Нимфодоры Михайловны.

В этот день, в торжественный праздник, в соборной церкви служил обедню сам протопоп; а председатель и члены магистрата, судья и значительные чины записывали в журнале рано поутру: «По неполучению надлежащих сведений, отложить рассмотрение дел до следующего заседания». А почтмейстер и помощник его препоручали принимать и отправлять корреспонденцию дежурному почталиону; а городской лекарь давал необходимые наставления для исправления своей должности фельдшеру; а квартальные возлагали полицейские заботы на *хожалых*; и все в полных мундирах отправлялись на поздравление Нимфодоры Михайловны и супруга ее, потом к обедне, потом к обеденному столу имянинницы.

Три гильдии городских купцов также помнили этот день; *препроводив* раным-рано с приказчиками своими кулечки со всем, что только относилось до хозяйственной экономии Нимфодоры Михайловны, сами шли поздравлять имянинницу около полудня.

На этот день брался из острога отличный повар, содержащийся в оном по уголовному преступлению около уже пяти лет и не отправляемый на каторгу то по случаю производящихся следствий по его показаниям в пятнадцати губерниях, то по случаю неотыскания еще сообщников его, рассеянных по всей Росийской империи, то по случаю болезни и по разным законным причинам.

Обед был великолепен.

Какая кисть изобразит то единодушное удовольствие, коим все присутствующие за столом были исполнены. Тосты за здравие Нимфодоры Михайловны с ее супругом и всем семейством были повторяемы с сердечным приятием чувств преданности, должного уважения к почтенному начальнику города и с пожеланием всякого блага и благополучия, 100 000 годового дохода и ста лет, да двадцать, да маленьких пятнадцать жизни. Вензловое имя почтенной имянинницы, вылитое из леденца и опутанное сахарной паутиною, возвышалось посреди стола; подле стояли марципаны, варенья на тарелках, дыни и арбузы, груши и яблоки. Песельники пожарной команды пели многие лета.

Когда Нимфодора Михайловна прилялась межевать слосный круглый пирог, хозяин подрезал проволоку у бутылки шампанского, пробка ударила в потолок, ушала на пол и, поднятая с земли по требованию судьи, знающего толк в винах, пошла по рукам гостей, как диво; почтительно произнесло несколько голосов: VCP с звездочкой! А когда напепнились бокалы и раздались гостям, все привстали, залпом произнесли: желаю здравия! И потом, как беглый огонь, посыпались похвалы вину: дивное вино! старое вино! очень старое вино! вино без подмеси! царское вино! Когда разнесли десерт, сопровождаемый ратафией, пьяпой водицей и вишневкой, когда гости стали тучны и алы, хозяйка встала с места, стулья двинулись, загремели, все приложились к ручке хозяйки и вошли в гостиную.

Дамы засели на диване около круглого стола, на котором стоял новый десерт: вологодская пастила, разных сортов орехи, фрукты, варенные в сахаре. Мужчины чиповные засели по сторонам и занялись чищением зубов и нюханием табака; прочие — люди подчиненные — толпились по сторонкам, перешептываясь или рассматривая богатое украшение комнаты: московские обои с изображением пастушки в фишках и пастуха в штанах, играющего на дудке; мебель, обитую зеленым сафьяном; картинки производства Логинова в золотых узеньких рамках, изображающие историю Женеьевы, Поля и Виргинии, блудного сына и искаженные черты царей и полководцев, с подписью и стихами в честь их.

— Вообразите-с! — сказал почтмейстер, взяв вилкою

кусок пастилы,— во Францию, в Париже-с, бывает *заст-
раж на вилках*.

— Возможно ли! Каким же это образом? — вскричало несколько голосов.

— Не знаю-с; а могу представить в доказательство книгу г. Коцебу *о воспоминаниях в Париже*; г-н Коцебу достоверен-с, не солжет.

— Да это, верно, просто выражение,— сказала важно хозяйка дома.— Точно такое же выражение, как у нас говорят: *сидеть на иголке*.

— Должно быть, так-с! — подтвердил председатель магистрата.

— Что город, то норы, что деревня, то обычаи! — произнес протопоп, поправив свою бороду.

— Действительно-с! — сказал семинарист, учитель городской школы.— Цицерон сказал: *commune consociationem colere, tueri, servare debemus*, т. е. мы должны служить обычаям...

— Точно так-с! — прервал его почтмейстер,— однако же у г. Коцебу в статье о коврах сказано, что *показывающий Цицерон сам понимает мало*.

— Помилуйте,— сказал ужаснувшись учитель,— Цицерон — оратор римский!

— Что ж, сударь,— отвечал почтмейстер,— он мог путешествовать и заскочить в Париж. Я бы сам с любопытством взглянул на город, в котором даже весь мастеровой народ рыцари и *носят щиты с девизами*.

— Как это так-с! — вскричали все.

— Извольте прочитайте г. Коцебу о Париже,— отвечал важно почтмейстер.

— Да-с,— промолвил он и продолжал: — Но уж какая развратительная философия во Франции! Вообразите себе: сам Наполеон Бонапарт сказал господину Коцебу волтеровское правило: *что все люди добры, исключая человека скучного*¹. Как вы думаете об этом: все люди добры, исключая человека скучного!

— Ужасно! — вскричали гости.— Все люди добры, исключая человека скучного! Следовательно, разбойник, тать — добры, потому что они не скучны.

¹ Это русский перевод слов: *tous le genres sont bons, excepté le genre ennuyeux* (прим. автора).

— Ужасно! — повторили все, и общее удивление было прервано предложением одной из девушек сыграть на клавикордах.

— Право, все перезабыла, Нимфодора Михайловна.

— Сделайте одолжение, сударыня, потешьте моих гостей, — сказал городничий.

Все гости также обратились с покорнейшею просьбою к виртуозке.

— Право, я все перезабыла! — повторила она.

— Ну, ну, ну, Софья! Я не люблю манеров! Учат не на то, чтобы забывать! — вскричала мать девушки. И Софья, надувшись, села за клавикорды. Клавиши застукали, струны зазвенели; педаль, приделанная для маршей и турецкой музыки, забила в деку, как тулумбас, клавикорды закачались на складных ножках.

Все гости обступили виртуозку и дивились искусству игры; но удивление многих увеличилось донельзя, когда правая рука Софьи, перескочив через левую, заиграла на басах.

— Это, верно, французская вариация! — вскричал председатель.

— Точно так-с, — отвечала Софья с самодовольствием, — это французская кадрили.

— Я отгадал! — продолжал председатель. — У них все наыворот. Ну, зачем бы, кажется, играть правой рукой вместо левой, а левой вместо правой.

— Софья! — сказала строгим, материнским голосом мать Софьи. — Я не раз тебе говорила: играй просто вариацию, не перекидывай руки! Что за глупая манера! Как будто нельзя играть добрым порядком!

Софья порывисто встала из-за клавикорд и вышла в другую комнату.

Ее мать почла неприличным, что она не дождалась похвалы и благодарности за игру, последовала за нею журить, бранить наедине, учить дочь свою приличиям общества.

Между тем мужчины засели на несколько столов играть в бостон, а хозяйка с своими гостями около десерта.

Пробило 6 часов. Ломберные столы были уставлены уже ремизами, а синяя салфетка десертного стола покрылась скорлупой.

— Господа! — вскричал городничий. — Пора в театр, ремизы разыграем после.

— Пора, пора,— повторили все дамы.— У вас есть афишка? Говорят, что актеры бесподобные.

— Как же-с, антрепренер представил мне список актеров. Играть будут пьесы отличные, по моему назначению, драму *«Добродетельная преступница, или Преступник от любви»*, в трех действиях, и комедию в пяти действиях *«Неистовый Роланд»*.

— Как это интересно! Пора, пора! — повторяли дамы, собираясь и с нетерпением ожидая у подъезда дрожек.

Бостонисты сложили ремизы, разыграли, рассчитались, схватились за шапки, второпях выигравший забыл заплатить за карты; и вот, пешком и на дрожках, все двинулись в театр.

Глава III

Город, в котором случилось описываемое происшествие, лежал на берегу роскошного Днепра и разделялся глубокою ложиной. Главная часть города была на горе и украшалась широкою площадью, ограничиваемою жидовскими корчмами, костелом, соборною церковью и деревянным театром с лубочной кровлей. Другая часть города, носившая название *«за мостом»*, не имела в себе никаких замечательных зданий и украшений, кроме городских бань, пивоварни и живодерни, на которой выделялись самые лучшие собачьи меха. Третья часть, *«под горой»*, населена была Израилем и украшалась деревянной жидовской школой, обросшей мохом и стоявшей посреди лачуг и непроходимой грязи. Весь же город славился красотой евреек: Голды, Рифки, Рохли, Лейки, Ганзы и Пейзы в красных тюрбанах, в мушках, с рассыпанными волосами по плечам владычествовали над походными сердцами.

В этот же город приехала труппа актеров, и г. антрепренер, заплатив полиции положенный штраф за намерение играть трагедии, комедии, оперы, драмы и мелодрамы, к удовольствию городской публики получил дозволение воспользоваться театром, который поступил в городскую собственность также от одной походной труппы актеров, изгнанной из города за то, что осмелилась по болезни некоторых из действующих лиц отложить спектакль до другого дня.

Приехавшая труппа актеров принадлежала уже не к тому времени, когда публику сзывали в театр бубнами и литаврами, когда без предуведомления о достоинстве пьесы и без испрошения снисходительного воззрения на игру актер не смел ступить на сцену, а публика без предварительного экстракта или объяснения пьесы, изложенного в прологе, не понимала смысла; но она принадлежала к той эпохе, когда порок и добродетель не смели соединяться в одном и том же действующем лице, но боролись отдельно, боролись друг с другом, а не с душою человеческою.

Настало роковое время — 6 часов пополудни; театр осветился площадками. Четыре жида — с скрипкой, виолончелью, цимбалами и треугольником — засели перед сценой. Запавес с изображением Аполлона и девяти муз, покрытых вихрою и суриком, волнуется уже от сквозного ветра. Все действующие лица уже готовы для представления драмы, только недостает еще маркиза Лафаста, *преступника от любви*, главного лица. Французский король, в черном фраке, в лентах и звездах, в тафтяной мантии, усыпанной блестками и мишурой, ходит с досадою по сцене, распоряжается за кулисами, твердит по тетрадке роль свою, а у всех спрашивает, пришел ли Зарецкий.

Софья, *добродетельная преступница*, также заботится об нем.

Публика наполняет уже театр. Приехал и городничий с своим семейством. Музыка загремела мазурку... а маркиза Лафаста нет.

— Черт! — восклицает в отчаянии король.

— Боже! — восклицает Софья.

— Я сгоню его, не будь я антрепренер! — восклицает король.

— Посмотрим, как сгоните! и я отойду прочь! — восклицает Софья.

— Что ж мне делать? Что мы будем делать без него? — восклицает король.

— Подождут! велика беда, — восклицает Софья.

— Как подождут?

— Да так же; и в столицах ждут, не только что в поганом городишке!

Ждут; а маркиза Лафаста нет как нет.

Жида проиграли все мазурки и польские, принялись снова за *мазуречку панну*. Публика, по примеру супругов

городничего, бьет в ладоши, стучит ногами; а городничий послал за кулисы хожалого с приказанием начинать.

— Черт! Что нам делать? — вскричал снова король. — Нет, вон, долой с театра!

— Посмотрим! — повторила опять София, — а я сейчас же долой с себя костюм!

— Что ж нам делать без него? Мы погибли! Как объявить публике? Да я и в тюрьме места себе не найду!

Хлопанье и стук повторились сильнее прежнего; хожалый явился снова с приказанием поднимать занавес.

— Черт! — вскричал король с отчаянием. — Поднимай занавес! Луйдор, выходи; выкидывай все явления, где маркиз Лафаст. Начинай с 3-го явления.

Занавес поднялся.

— *Что я слышал!.. что видел!* — вскричал страшным голосом актер, игравший роль Луйдора, выбежав на сцену.

И вся публика захлопала; и драма играется без главного действующего лица, идет прекрасно, принимает новый смысл, носит на себе первообраз повой драматической школы.

И публика довольна. Публика в неступлении от игры Софии, *добродетельной преступницы*.

— *Фора, фора!* — кричат ей после всякого монолога, и бедная София должна выходить снова, повторять монологи в несколько страниц.

А Зарецкого нет как нет; во второй пьесе он должен играть *неистового Роланда*; ждут — не является.

И снова король, но уже Карл Великий, обнадеженный успехом драмы, решается начинать и *«Неистового Роланда»* без неистового Роланда.

— Где же неистовый Роланд? — спрашивают друг у друга зрители в половине пьесы, и городничий посылает за кулисы спросить, где же неистовый Роланд.

— Неистовый Роланд?.. В отсутствии, — отвечает содержатель театра, сняв корону пред полицейским чиновником, присланным от городничего.

— Как в отсутствии?

— В отсутствии-с, но он прибудет к заключению пьесы.

И этот ответ удовлетворяет публику; все с нетерпением ждут заключения. София является уже Ангеликой, Луйдор — китайским рыцарем; являются волшебник, пастух... и никому не хлопают, ждут Роланда.

Карл Великий слышит ропот публики.

— Я погиб! — говорит он, сбросив с себя королевскую порфиру и корону...

Вдруг раздается на дворе шум.

— Что там такое? — спрашивает городничий.

— Не здесь ли господин лекарь? — раздается спаружу голос.

— Что там такое? — повторил грозно городничий.

И все полицейские, находившиеся в театре, бросились вон узнать причину шума. Сквозь толпу их продрался слуга лекаря.

Его схватили за ворот.

— Что тебе, мошенник?

— Осипа Ивановича требует какой-с генерал, что остановился у господина казначея, — отвечал запыхавшийся слуга.

В то же время к городничему подбежал писарь полиции.

— Ваше высокоблагородие! — сказал он ему шепотом. — Кажись, что новый генерал-губернатор приехал!

— Неужели! — промолвил городничий, смутясь. — Ах ты, несчастье! как обманули! а мы ожидали его недели через две! Да точно ли генерал-губернатор?

— Точно, ваше высокоблагородие: только что приехал, потребовал к себе городского; вишь, не очень здоров с дороги.

Городничий, не говоря ни слова, бросился вон из театра.

— Губернатор, губернатор! — раздалось шепотом между публикою. При этом имени все чиновные служащие люди встали с своих мест, засуетились, забыли пиесу, заходили между стульями, пробираясь вон.

— Виноват, почтеннейшая публика! — произнес вдруг жалким, умоляющим голосом содержатель театра, выбежав с отчаянным лицом на сцену. — Прошу милости и прощения! Я не причиной тому, что мой актер пропал!..

В общем шуме сборов, стучанья дверями никто не слышал слов антрепренера, вообразившего, что публика наконец догадалась, что неистового Роланда нет на сцене.

Все приняла его самого за неистового Роланда, который должен был явиться к заключению пьесы, и, выходя из театра, хлопали и кричали *фора!* Антрепренер повторил извинение; занавес опустился.

— Генерал-губернатор! генерал-губернатор! — раздавалось в толпе, выходящей из театра. — Генерал-губернатор! — несло по улицам города. И служебный народ возвратился домой с мыслию: *генерал-губернатор!* около которой образовалась сфера идей об ответственности за беспорядок и неисправность.

Городовой лекарь также пришел в ужас. Он никак не воображал, что генерал-губернатор может иметь нужду в уездном лекаре: не лечиться ездит он по губернии, а зыскивать за нерадение по службе.

Вследствие этой мысли городской лекарь торопится домой, чтоб сбросить фрак, надеть мундир, вооружиться шпагою; и между тем посылает за своим помощником, ждет его с нетерпением, бранит за медленность, приказывает составить список больных городской больницы, с трепетом едет в дом казначея, входит в переднюю и, отирая пот на лице, спрашивает у слуги: дома ли его высокопревосходительство?

Его вводят в залу. Казначей с женой и двумя дочерьми встречают его, чуть дотрогиваясь до полу, и шепотом рассказывают ужасное событие, как его высокопревосходительство разбила лошади, как выпал его высокопревосходительство из экипажа, к счастью подле их дома; рассказывают, что его высокопревосходительство весь разбит и лежит без памяти на диване в гостиной, и просят войти туда осмотреть раны его высокопревосходительства.

— Как же это можно, — говорит лекарь, — войти без особенного на то приказания его высокопревосходительства! Не лучше ли подождать, когда он очувствуется и потребует медика?

— Помилуйте, Осип Иванович, что вы изволите говорить? Его высокопревосходительству нужна неотлагаемая медицинская помощь, потому что вся голова его от сильного удара при падении приведена в окровавленное состояние.

Лекарь убедился словами казначея; поправив мундир и шпагу и взяв в правую руку треугольную шляпу, он вошел в гостиную.

На диване лежал средних лет мужчина с окровавленным лицом, с огромной посиневшей шишкой на лбу, в сертуке, на котором сияли три звезды.

— Пощупайте у его высокопревосходительства пульс, Осип Иванович,— сказал тихо казначей.

Лекарь пощупал пульс и пришел в себя, потому что его высокопревосходительство действительно был без памяти.

— Что скажете?

Осип Иванович покачал головою.

— Не нужно ли пустить кровь?

— Да, нужно бы! Его высокопревосходительство без памяти. Не худо бы послать за фельдшером.

— Помогите, почтеннейший Осип Иванович! Вы представьте себе, что его высокопревосходительство будет почитать вас и меня своими спасителями. Если б не я, действительно он погиб бы, изошел бы весь кровию. Надо же быть такому счастью: еду в театр, выезжаю из ворот, слышу стук экипажа и вдали крик, а под ногами слышу стон. Что это значит,— думаю себе. Стой! слезаю с дрожек, гляжу — что же? Его высокопревосходительство у мостика лежит в канаве, весь разбит, как видите. Экипаж, верно, опрокинулся, лошади понесли под гору и, верно, прямо в Днепр...

— Необыкновенное счастье,— подхватила жена казначея,— что коляска вовремя опрокинулась, иначе и его высокопревосходительству быть бы в Днепре.

— Помогите скорее, Осип Иванович,— прервал казначей.— За спасение жизни он возьмет нас под свое покровительство.

— Употреблю все искусство. Мы пустим ему кровь... Послали за фельдшером?

— Послали, послали! — отвечали жена казначея и две ее дочери.

Лекарь подошел к больному.

— Голова вся разбита!.. Боюсь, не потревожился ли мозг,— прибавил он важно.

Фельдшер пришел. Руку больного освободили из рукава, натянули, перевязали выше локтя; жила напружилась, ланцет щелкнул, кровь брызнула в потолок.

— *Несчастный!* — вскричал больной, отдернув руку.— *Дай, обойму тебя!.. будем сражаться с смертью!..*

— Боже, он умирает! — вскричали все женщины и выбежали вон.

— Что? нет надежды, Осип Иванович?

— Посмотрим! Помогите держать руку его высокопре-

восходительства, — отвечал лекарь, и при помощи казначея и фельдшера снова натянули руку больного, и снова ланцет стукнул, а кровь брызнула струей.

— *Смертельный удар!* — вскричал больной в беспомощности. Лекарь отскочил со страхом.

— Боже, что вы сделали! — произнес казначей.

— *Тление объяло все мои члены!..* — продолжал беспомощный, вскинув руку, из которой лилась кровь. — *Пожирающее время губит память мою! земля разверзается! Стой!.. обрушим с собою землю! Она дрожит!.. прочь!..*

Судорожная дрожь обняла больного; долго продолжал он бредить; но слова его заглушались стуком зубов. Наконец умолк, впал в совершенное бесчувствие.

— Есть ли надежда, Осип Иванович? — спросил казначей.

— Увидим, что скажет ночь, — отвечал лекарь.

Целую ночь лекарь и казначей провели в дремоте подле больного. Под утро он пошевелился; глубокий вздох вылетел из груди.

— Слава богу, будет жить! — вскричал лекарь.

— *Жить!* — повторил больной.

— Он приходит в чувство! — сказал, перекрестясь, казначей.

— *Мне говорит мой государь, мой друг... верю... остаюсь жить...* — произнес больной и продолжал что-то невнятно.

— Слышите? Друг государя! Его высокопревосходительство прямо из столицы! — прошептал казначей на ухо лекарю.

Больной снова заговорил что-то невнятно и потом продолжал:

— *Знаю, государь... я... все благополучие полагаю в том, чтоб делать людей счастливыми... а теперь... ах, как я несчастлив!..*

— Успокойтесь, ваше высокопревосходительство! Осип Иванович поможет вам, а у меня в доме вы изволите быть как у себя в доме...

— Тс! — прервал лекарь слова казначея. — Не говорите теперь с его высокопревосходительством, он еще не пришел в себя, оставьте его; он, кажется, заснул. Я между тем схожу домой отдохнуть и приготовить необходимую микстуру из хины; о, это новое вернейшее средство от

всех болезней: все роды лихорадок как рукой снимает; а всякая болезнь есть не что иное, как лихорадка. Вы сами видите пример над его высокопревосходительством. Ушиб сам по себе есть не что иное, как наружное воспаление; а как ужасно его трясло; сто́ит только прекратить внутреннюю дрожь, и все кончено.

И лекарь отправился домой; но у ворот столкнулся он с городничим во всей форме, который торопился представляться генерал-губернатору.

— А! Осип Иванович!

— Куда вы?

— К его высокопревосходительству, довести о благосостоянии города.

— Невозможно! — вскричал лекарь. — Не может принять; он только что стал приходить в себя; лошади разбили его жестоким образом; но я принял все необходимые меры.

— Какие, сударь, меры с вашей стороны? Как начальник города я должен принимать все меры и первый явиться к его высокопревосходительству для получения приказаний!

— Как вам угодно, господин городничий: я не буду виноват, если его высокопревосходительство не выздоровеет! — отвечал лекарь.

Городничий вошел в переднюю. Казначей вышел к нему на цыпочках.

— Тс! его высокопревосходительство уснул.

— Я удивляюсь, господин казначей, — сказал городничий строгим тоном, — каким образом вы осмелились предложить его высокопревосходительству дом свой и вмешиваться в распоряжения полиции!

— Помилуйте, — отвечал казначей, — его высокопревосходительство в глазах моих разнесли лошади, и я поднял его подле моего дома всего разбитого, без памяти...

— Тем хуже, сударь! Без ведома полиции вы не смели поднять на улице человека беспамятного и тем более внести в свой дом! Мое дело было исследовать, кто такой лежит на улице в бесчувственном состоянии и, узнав, что генерал-губернатор, отвести ему приличную квартиру, а не лачужку, сударь!.. Это происки, государь мой! Вы подкапываетесь под свое начальство; вы человек беспокойный, вы не знаете подчиненности! Генерал-губернатор у вас в доме, а вы смеете быть в халате! Я допесу, сударь,

на вас! Ей, хожалый! как только его высокопревосходительство проснется, донести немедленно мне!

Городничий скорыми шагами вышел из передпай, отправился в полицию приводить все в порядок.

Казначей в самом деле испугался слов городничего и раскисался, что вмешался не в свое дело.

Казначей был добрый человек, ученый человек; был большой аптикварий по части законов, и это повредило ему, перессорило со всеми.

Он читал Правду Русскую, Устав святого князя Володимера, Судебник царя Ивана Васильевича и знал, что чин казначейский издревле был важный чин, что некогда главною должностію казначея было хранить государеву платю и оберегать оное от волшебства и чародейства.

С городничим поссорился он за то, что сказал ему, что ископи городовые воеводства, т. е. городничества, давались вместо жалованья и кормления из милости, для нажитка и что в челобитных о воеводствах писали: *прошу отпустить покормиться*; и что воеводы *судили прежде вместе с старостами и целовальниками*.

Последнее было принято городничим за смертельную обиду. Он почел это за упреки в нетрезвости, ибо казначей не потрудился ему объяснить древнего значения слова *целовальник*.

С стряпчим городского магистрата казначей поссорился за то, что, объясняя ему старинную должность стряпчего — одевать, обувать, омыwać и чесать государя и за неимением карманов носить носовой царский платок, осмелился прибавить, что стряпчие прежде были под началом у *ключников*.

С своим пачальником казначей жил в худом ладу за то, что не ставил в книгу расхода сумм, издержанных им не на казенные потребности.

Таким образом, казначей, не предвидя добра быть бельмом на глазу у своих начальников и сослуживцев, хотел просить его высокопревосходительство о переводе его в другой город.

Глава V

Между тем колодник, занимавший место писаря в полиции, отведен в острог; шкаф, наполненный вместо дел, валявшихся на столе и под столом, остатками ужина, кус-

ком жареной говядины, раскрошенным хлебом и бутылкою с чем-то, очищен; непроспавшаяся команда поставлена на ноги; письмоводитель с синим носом, после нескольких начальнических тычков, сел составлять рапорт о благосостоянии города и список колодников, содержащихся в остроге; часть полицейской команды побежала ловить по городу подводы и рабочих людей для чищения улиц.

Из магистрата и прочих судебных мест также вынесена не принадлежащая к производству тяжёбных, уголовных и письменных дел посуда и утварь. Судьи принялись повторять зады, составлять задним числом журналы и подводить итоги в шнурованных книгах.

Когда дошло известие о прибытии в город генерал-губернатора до командира гарнизонного округа, до подполковника Адама Ивановича, сердце старика обдалось ужасом.

Гарнизонный солдатик стоял в почтительном положении, руки по швам, близ дверей, и в молчании ожидал начальничьего приказаний.

— Уж не приехал ли с ним и наш генерал? — произнес наконец окружный командир.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие! Полицейский посыльный того не говорил; може приехал, а може и нет!

— Был ты у Ивана Ивановича?

— Был, да его благородия нет в квартире!

— Боже мой! нет в квартире! Что ж я буду делать!.. Беги, ищи его, скажи, что окружный командир приказал просить его к себе! — вскричал, расходясь по комнате, Адам Иванович.

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

И гарнизонный солдатик, приложив левую руку к тесаку, поворотил налево кругом, притопнул правую ногою и отправился было вон; но окружная командирша, прибывшая из гостей, столкнулась с ним в дверях и остановила левую его ногу, подъятую для скорого марша, следующим вопросом:

— Зачем ты здесь? а?

— К его высокоблагородию! — отвечал солдатик, вытянувшись во фронт.

— От кого?

— Из полиции. Его превосходительство приехал, губернатор.

— Губернатор? Ах боже мой! Что ж ты, Адам Иванович, задумался? а? ведь ты командир! твое бы дело собрать команду да представить!

— А вот, мой друг, придет Иван Иванович; распоряжения должны идти по команде.

— Без Ивана Ивановича и дело не обойдется! — вскричала окружная командирша. — То-то разиня начальник! подчиненный что хочет, то и делает! Сел тебе Иван Иванович на шею! Без Ивана Ивановича солдат из кухни начальника лохани не смей вынести, не только что-нибудь на хуторе сработать! Что ж, сударь... что не бежишь сам к Ивану Ивановичу? Посмотрю, как-то ты натянешь свой изношенный мундиришко? В двадцать лет службы не выгадал ни жене, ни себе на порядочное платье!..

Окружная командирша не умолкала до самого прибытия Ивана Ивановича.

Иван Иванович, лихой поручик, лет сорока от роду, в бледно-зеленом мундире, с парюю свесившихся на грудь желтых, с кованым почерневшим ободочком, эполет, вошел в комнату; огромная шпага его, как палаш, стучала об ноги и об пол; в треугольной его шляпе торчала репица бывшего черного пера; левый глаз его щурился, левая часть рта подергивалась, бакенбарды отвисли, как мохнатые уши легавого пса; лоб морщился.

— Что изволите приказать? — произнес он, воткнув указательный палец правой руки между 3-й и 4-й пуговицей.

— Ах, любезный Иван Иванович! Вы слышали, что приехал генерал-губернатор? Должно сделать надлежащее распоряжение и отдать приказ по команде.

— Действительно-с так, потому что по случаю прибытия его высокопревосходительства команда имеет быть собрана во всей амуниции и в предписанном порядке представлена для инспекторского смотра, который имеет быть учинен. А также по случаю прибытия его высокопревосходительства имеет быть назначен почетный караул к занимаемому его высокопревосходительством дому.

— Так, так, Иван Иванович; следовательно, вы назначите караул.

— Да не благоугодно ли будет представить рапорт о благосостоянии команды, о числе постов и больных?

— Так, так, Иван Иванович, конечно, мне должно

представить рапорт о благосостоянии вверенной мне команды.

— Кстати, Адам Иванович, вы бы изволили представить его высокопревосходительству, что городничий осмеливается распоряжаться гарнизонной командой мимо начальства и брать без вашего ведома солдат на съезжу.

— Да, да, Иван Иванович, справедливо; в следующий приезд его высокопревосходительства я донесу обо всех злоупотреблениях полиции, а на сей раз мы подадим только рапорт о благосостоянии команды...

— Как вам угодно, а я бы в глаза сказал городничему: как он осмеливается делать такие вещи!..

— Я скажу ему, скажу! он не смеет этого делать! — сказал Адам Иванович, заходя в комнату.

— Так как же? Прикажете завтра поутру собрать команду на площадь?

— Да, да, непременно на площадь, во всей амуниции.

— Пойду в пакхауз да велю почиститься да побелиться.

— Хорошо, хорошо, Иван Иванович, прикажете, чтоб все было в надлежащей исправности и чистоте.

Поручик отправился, а господин окружный командир, довольный своими распоряжениями, набил наследственную пенковую трубку кнастером и стал раскладывать гран-пасиянс.

Глава VI

Настало утро. Поручик Иван Иванович, перетянутый нитяным шарфом, ходит с обнаженной шпагой по фронту гарнизонных солдатиков, равняет линию и ожидает окружного гарнизонного командира.

Сопровождаемый вестовым, является наконец Адам Иванович, в огромных ботфортах со шпорами, в лосиных панталонах, заменяющих белые суконные, в бледно-зеленом мундире с дутыми пуговицами и с желтым стоячим воротником, который от времени сделался откладным, в треугольной шляпе, опрокинувшейся назад; перетянутый трехцветным шарфом, как будто для поддержания живота, Адам Иванович походил на Карла XII.

— Здорово, ребята! — вскричал он, подходя к фронту.

— Здравия желаем! — крикнули солдатики.

— Прикажете сделать репетицию? — сказал поручик, подошед к нему и приложив руку к шляпе.

— Репетицию, репетицию!— отвечал важно окружный гарнизонный командир.

— Смирно!.. Смотрите, ребята, не робеть! делать, что скомандует Адам Иванович!— сказал поручик, обращаясь к фронту.

— Извольте командовать, Иван Иванович!

— Что прикажете?— отвечал поручик, приложив руку к шляпе.

— Извольте командовать... по принадлежности.

— Слушаюсь!— отвечал поручик.— Смотри же, ребята, не робеть; делать, что я буду командовать,— вскричал он, обратясь к команде.

И поручик встал уже перед фронтом, вложил шпагу в ножны, вытянулся, откашлянул, разинул рот:

— Слу-у-у-у...

— Помилуйте! Адам Иванович!— прервал его звонкий голос городничего, скакавшего по городу для восстановления порядка и остановившегося перед фронтом подле окружного командира.— Помилуйте, вы по сие время не назначили караула к его высокопревосходительству, не отправили даже вестовых и ординарцев!

— Я свое дело очень знаю!— отвечал сердито Адам Иванович вслед за удаляющимся городничим.— Иван Иванович, извольте назначить караул, вестовых и ординарцев к его высокопревосходительству.

— Ребята, кому следует на караул? выходи!— скомандовал поручик.

И солдаты завели спор, кому следует идти в караул.

— Не прикажете ли, Адам Иванович, поставить две будки к воротам его высокопревосходительства?

— Непременно, непременно! да не забудьте назначить двух часовых к экипажу его высокопревосходительства.

— Слушаю-с!— отвечал поручик. Адам Иванович отправился, сопровождаемый вестовыми, к его высокопревосходительству.

Между тем все чиновные и служебные люди города, члены купечества и городской голова нахлынули в дом казначея и на цыпочках вошли в малую залу. В мундирах, с подобострастной важностью па лицах, построились они по старшинству у дверей комнаты, держась левою рукою за шпаги, а тремя пальцами правой придерживая по форме треугольные шляпы.

Наблюдая почтительное молчание, они смотрели на притворенные двери гостиной.

Приемная зала есть также сфера солнечного мира, в которой носятся планеты разной величины и свойства. Быстрый и яркий Меркурий носится из кабинета в приемную, из приемной в кабинет, крутится бесом около Солнца, важен чужим светом; чиновный Юпитер, по уши в шитом воротнике, с четырьмя своими спутниками, расставив ноги, глядит на всех свысока; заслуженный, лысый Сатурн, приобретший за долговременную службу и понесенные труды светлый ореол, сидит молчаливо и важно в углу залы; холодный Уран, с синим носом, угрюм и мрачен, стоит в другом углу; он в немилости у Солнца, на него никто не смотрит, никто не видит его, кроме наблюдательных астрономов и семи жалких подчиненных. Марс, в красном воротнике, заложив палец за мундирную пуговицу, надут и рдян, стоит, вытянув неподвижную шею и передвигая вправо и влево зрачки, готовые всегда встать во фронт перед ясными очами начальника. Все прочие малой величины планеты и спутники, как неподвижные звезды, рассыпаны по зале, стоят в почтительном положении, поглядывая на восток, ждут Солнца. Люцифер повешает его... Взойдет оно, и важность планет исчезает, их не видно, в зале как будто никого нет, кроме Солнца.

В зале казначея вся эта процессия была проще, пропциальнее.

Но вот дверь в гостиную отворилась, все вздрогнули, вытянулись...

Вышел казначей.

— Тс! — произнес он тихо.— Его высокопревосходительство не могут принимать теперь, они уснули.

Все на цыпочках подошли к казначею, обступили его, осыпали вопросами; но его начальник, председатель магистрата, имеющий полное право на его особу, воспользовался этим правом, взял своего подчиненного за руку и отвел в сторону для допросов.

— *Боже мой!* — раздался громкий голос из гостиной. Председатель отскочил от казначея, рассыпавшийся фронт чиновников построился снова, казначей бросился в гостиную. Подле постели стоял лекарь с ложкой микстуры, которую он хотел влить в рот больного.

— *Она совсем почти лишила меня рассудка и вольности, похищает то время, которое я обязан посвящать долж-*

ности, возложенной государем и отечеством!.. — произнес больной и продолжал что-то невнятно и вдруг, взбросив голову, вскочив с места, вскричал: — *Что я вижу? это дом Софии? Это храм, где обитает божество души моей!..*

Лекарь взглянул на казначея, казначей весь вспыхнул. «Не понимаю, — подумал он, — когда его высокопревосходительство был у нас и видел дочь мою!»

Городничий, услышав голос его высокопревосходительства, не утерпел. «Я — начальник города, я должен явиться к генерал-губернатору, да и что ж за такая особа казначей, что смеет входить к его высокопревосходительству без доклада!» — думал он и вошел в гостиную.

Больной бросил на него взор и вскричал:

— *Кто ты, дерзкой!*

— Ваше высокопревосходительство... я... городничий... честь имею.

— *Кто осмелился лишить меня первого в жизни удовольствия? Говори!* — продолжал больной грозным голосом.

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство!.. Я не был предуведомлен о вашем приезде... У меня и квартиры готова для вашего высокопревосходительства... постоянно шесть лет исполняю я должность свою с рачительностью...

Во время слов городничего казначей и лекарь стояли в почтительном положении, вперив очи в землю; а больной продолжал что-то говорить про себя и вдруг произнес вслух, прервав слова городничего:

— *Что ж ты мне скажешь?*

— При сем имею честь представить рапорт о благосостоянии вверенной мне должности...

Слова его прервал окружный гарнизонный командир. Вступив в комнату в кивере, он мерными шагами подошел к дивану, приложил руку к козырьку и произнес громко:

— Вашему высокопревосходительству честь имею...

— *Сделайте милость, оставьте меня!* — вскричал больной умоляющим голосом.

Адам Иванович отступил, замолк, затрясся.

— *Неужели все против меня? Неужели все согласилось на мою гибель? Гибель! нет!..* — и с этими словами, кинув грозный взор и сбросив с головы повязку, продолжал скороговоркою бессвязные слова.

Городничий, Адам Иванович, казначей и лекарь молчали, не смея поднять глаз.

— *Что это значит!*— продолжал опять больной явственно.— *Все за мной ходят и не хотят ни на час меня одного оставить!..*

Городничий, Адам Иванович, казначей и лекарь, исполняя волю его высокопревосходительства, вышли из комнаты, а он продолжал говорить что-то громко, с сердцем.

— Пойдемте, господа,— сказал городничий,— его высокопревосходительство предубежден против нас. Это каверзы господина казначея.

— Напрасно изволите говорить, напрасно!— повторял казначей вслед за уходящими.

Глава VII

В спальне казначея был ужасный спор между ним и его женою.

— Полно, сударь! ты думаешь только о своей дочери, а мою ты готов на кухню отправить, сбить с рук, выдать замуж хоть за хожалого. Я своими ушами слышала, как он произносил имя Ангелики.

— Помилуй, душенька, я могу тебе представить в свидетели Осипа Ивановича. Как теперь слышу слова его высокопревосходительства: «Это дом моей Софии, моей дражайшей Софии!»

— Ах ты этакой! Так ты и последний домишко хочешь отдать в приданое своей возлюбленной Софии!.. Нет, сударь, этому не бывать!..

— Прямая ты мачеха! Бог с тобой! По мне все равно: и Ангелика моя дочь; впрочем, кто тебя знает...

С сердцем казначей вышел из комнаты, не кончив речи.

— Лысый черт! Сам в себе *сумлевается!* — проворчала казначейша и кликнула Ангелику.

— Принарядилась? Вот так! хорошо; косыночку-то спусти немного на плечики. Ну, ступай; скажи, что я, дескать, лекарства хочу дать вашему высокопревосходительству.

Вятской породы, рябенькая, одутловатенькая, Ангелика, получив наставления от матери, вошла в комнату больного.

Он лежал в забывчивости, глаза его были устремлены в потолок. Ангелика стукнула склянкой.

Больной оглянулся, привстал и произнес, устремив на нее взоры:

— *Пойду к ней... да не подозрительно ли?.. нет!.. Смее спросить, сударыня, о чем вы изволите беспокоиться?*

— Лекарство вашему высокопревосходительству...

— *Да вы на кого-то жаловались?*

Ангелика вспыхнула. «Боже! — думала она, — оп слышал, как я жаловалась на Софью матушке».

— Никак нет-с, я не жаловалась; у меня нет ни на кого сердца.

— *Если угодно, я могу служить вам своим.*

— Я не стою, ваше высокопревосходительство...

— *Любовь!* — вскричал он, отворотив голову в сторону. — *Теперь вспомоществуй мне!* — и, обратясь к Ангелике, продолжал: — *Ах, сударыня, вы не откажете мне в вашей услуге!..*

— Что вам угодно приказать?

— *Открою вам тайну, меня угнетающую... ужасаюсь!.. Я б хотел открыть вам мое сердце, но язык не повинуется моему желанию...*

— Если вы мне сделаете честь... мое состояние...

— *Не в моей воле открыть вам причину моего беспокойства... Оно началось в тот самый день, как в этом доме было печальное происшествие...*

«Когда умерла бабушка, меня здесь не было; я с матушкой была на ярмопке; только сестра оставалась», — подумала Ангелика и вспыхнула.

— *Я видел божество, которого прелести ввергли меня в это бедствие.*

— Я не знаю-с! — отвечала с сердцем Ангелика. — Может быть, моя сестра София...

— *По крайней мере, в вашей воле дать случай в последний раз на нее взглянуть!* — сказал больной, смотря на нее неподвижными глазами.

— Извините-с! — произнесла, вспыхнув, Ангелика и, присев с презрительной улыбкой, выбежала из комнаты...

— Это ужас! — вскричала она, хлопнув дверью. — Он требует, чтоб я дала случай видеться ему с Софией.

— Видишь ли, мой друг? — сказал казначей, входя в комнату. — Не я ли тебе говорил?

— Очень рада, сударь, что свел дочку свою с вельмо-

жей; она годна на все руки! — вскричала казначейша.

Между тем больной что-то говорил вслух; слова: *«а поспе приведи ко мне доктора, да как можно поскорей!»* — громко раздались.

Казначей бросился к нему.

— Что угодно вашему высокопревосходительству? — произнес он тихо.

Больной, склонясь на подушки и смотря в потолок, продолжал:

— *Слабость моя уменьшается...*

— Слава богу, ваше высокопревосходительство! — сказал казначей, сложив руки и поклонившись. Больной продолжал:

— *Силы подкрепляются какою-то надеждою... Конечно, Софья в безопасности. Ах, если бы исполнилось предчувствие! Всесильное существо! какую принесу тебе благодарность, когда увижу в своих объятиях дражайшую Софью! чу, я слышу ее голос!..*

— София, София! — вскричал казначей, выбежав в спальню и схватив Софию за руку. — Ступай, поднеси его высокопревосходительству лекарство.

София, добренькая, скромненькая девушка, с голубенькими глазами, на которых еще светились слезы от брани мачехи, втолкнутая отцом в комнату больного, остановилась и закрыла платком лицо.

— *Я жив еще, любезная София! жив еще! не мучься!* — вскричал больной, протягивая к ней руки. — *В каком исступлении! а, это от любви ко мне!.. О, сердце мое раздирается болью и досадой!..*

— Куда ты, София! — прошептал казначей, удержав дочь свою, которая хотела выбежать. — Извините, ваше высокопревосходительство, моя София немного застенчива.

— *Не беспокойся, дражайшая! мне оставлена жизнь... благодари providение!..* тьфу, дурак суфлер не подсказывает... Как бишь?..

— Батюшка! пустите меня! — произнесла София, вырываясь из рук отца.

— *Я жив,* — продолжал больной, — *и жив для того, что тебе это драгоценно...*

— Слышишь, глупая! — шепнул казначей на ухо дочери.

— *Теперь помоги мне встать, любезная София! Самому мне не позволяет слабость...*

— Позвольте, я, ваше высокопревосходительство, приподниму вас!— С этими словами казначей бросился помочь больному привстать, а София выбежала вон из комнаты.

Приподнявшись с дивана, больной устремил глаза на казначея, долго что-то шептал про себя; потом вдруг, схватив подушку и приподняв ее, вскричал:

— *Что! Или ты, варвар, затем пришел сюда, чтоб докончить свои злодеяния?*

— Ваше высокопревосходительство! милостивейший государь!.. я ничего-с!..— произнес казначей, затрепетав, как лист.

— *А где государь?*

— Не нам, мелким людям, а вашему высокопревосходительству довлеет знать сие,— отвечал казначей, почти тельно поклонясь.

— *Как можно, чтоб государь дал тебе команду надо мною?..*— вскричал снова больной.

— Не смею и думать, ваше высокопревосходительство; я человек подкомандный, всеми распоряжается сам председатель...

— *Я сам к нему сейчас еду!*— вскричал больной и вдруг вскочил с дивана, накинул на левое плечо сертук, который был сдернут с руки для пускания крови, схватил лежащую шляпу казначея и скорыми шагами вышел вон из комнаты. В передней вскочили с мест слуги, вытянулись во фронт гарнизонные вестовые и ординарцы, у ворот часовые ударили темп на караул, махальный дал знак гауптвахте, которая была вблизи на площади.

Его высокопревосходительство отправляется скорыми шагами по улице на площадь.

Глава VIII

Между тем в городе служебная деятельность необыкновенна, исправность по службе дивная, порядок примерный; во всех усердие, достойное внимания высшего начальства; в магистрате и судах все в мундире и при шпаге, регламент ожил, перед зеркалом *чинят* и *вчиняют* правду по законам, судят и рассуждают о делах, а не о вчерашнем дне и городских новостях; в городской больнице лекари щупают пульс каждого больного, лекарство прописывается не для всех одно, диета не общая; гарнизонная команда на площади, учится учебному шагу; полицейская команда на стороже. Городничий подписывает рапор-

ты, доношения и отношения, квартирные билеты и отправления колодников по этапам; занятия его прерывает вошедший антрепренер театра глубоким поклоном.

— Здорово, любезный! Что это? афишка нового представления?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, просьбица!

— Иванов, возьми и читай! — сказал городничий, продолжая подписывать бумаги.

Письмоводитель начал читать:

— По титуле: вольноотпущенного Якима Прохорова Козырина прошение; а о чем, тому следуют пункты: 1-е. Быв по ремеслу актер и поступив в директоры, сиречь содержатели вольной труппы, я производил на сцене разные пьесы, как-то: комедии, оперы, трагедии, к совершенному удовольствию публики, на ярмарках и в провинциальных городах Всероссийской империи, имел на то повсюду дозволения местного начальства, на собственный кошт, с различными декорациями и костюмами. 2-е. В прошлый год, на Ростовской ярмарке поступил в труппу дирекции моей мещанин Корнелий Иванов Зарецкий по контракту с тем, дабы быть на моих хлебах и играть трагические роли, а когда нужда воспоследует, то и комические; в случае же отсутствия или болезни оперного артиста труппы моей, отставного баса певческой кафедрального собора, имеет он, Зарецкий, и петь. Несмотря на сие, он, Зарецкий, по прибытии в сей город, от должности своей скрылся и снес от меня, содержателя, разные костюмы, а именно: бархатные штаны, сертук синего сукна с красным стамедным подбоем, жилет зеленый шелковый шитый, на сертуке три звезды фольговые, шитые канителью, и сверх того забрал вперед денег сто двадцать рублей; ко его прошу оную полицию отыскать и, поступив по законам, вышеозначенные вещи и деньги мне возвратить. К поданию надлежит в городскую полицию. Прошение сочинял и переписывал со слов просителя сам проситель. К сему прошению руку приложил и т. д.

— Ты, братец, не выставил в просьбе, сколько ему от роду лет, какие приметы, женат или холост, где приписан к мещанству!.. Это вещи, необходимые для полиции; по сим соображениям мы составим отношение в тот город.

— Ваше высокоблагородие! вот его паспорт.

— Все равно, братец, — отвечал городничий, продолжая подписывать бумаги, — в просьбе должно быть все упо-

мянуто. То-то, братец, чем бы самому сочинять и переписывать просьбу, ты бы обратился к человеку, знающему это дело.

— Позвольте, я вам напишу,— сказал письмоводитель,— это пустого стоит.

Вдруг на улице раздался шум.

— Узнать, что там такое!— вскричал городничий, продолжая подписывать бумаги.

Квартальный и служители полиции бросились вон и не возвращались: любопытство и обязанность повлекли их вслед за народом, который сбегался на площадь и сгущался в толпу около неизвестного человека в треугольной шляпе. Сквозь народ заметны были только сверкающие его глаза и движения рук. Исступленным, страшным голосом он произносил:

— *...Великолепный город!.. Какое величие управлять им, блистать над ним подобно царственному дню!.. Погрузить в этот бездонный океан все клочущие страсти, все ненасытные желания!.. Пропасть!.. Повергните в нее все, что только человек имеет драгоценного!.. Ваши победы — завоеватели; ваши бессмертные произведения — художники; ваше сластолюбие — эпикурейцы; ваши моря и острова — мореплаватели!.. Дож! Какое блаженство стоять на этой ужасно возвышенной точке. Взирая на бурную пучину, где колесо слепой обманщицы вертит обстоятельствами людей! Какой восторг испить первому из чаши радости!.. Какое величие укрощать тонкою уздой неукротимые страсти людей, одним дуновением превращать в прах вздымающуюся гордость вассала!.. Раздоби гром на простые звуки, и ты усыпишь им детей; слей их в один внезапный удар, и величественный звук потрясет вселенную!..*

— Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие!— вскричал прибежавший запыхавшись писарь полиции.— В городе страшный беспорядок; какой-то в азарте чинит буйство на площади...

— Как!— вскричал городничий, схватив шляпу и пинагу со стола.— Собрать всю команду!.. Послать к окружному командиру, чтоб шел с солдатами на площадь!.. За мной!..— И с этими словами городничий бросился, как угорелый, на площадь.

Между тем неизвестный продолжал:

— *Неужели я, я, Фиэско, убил жену свою!.. О, заклинаю вас! Не смотрите, подобно бледным привидениям, на*

эту игру природы! Благодарю, всевышний! Есть случаи, которых человек не может страшиться, потому что он человек!.. Кому отказано в восторгах божественных, тому неужели суждено терпеть мучения дьявольские?

— Вот он, вот,— раздался голос в толпе, стоявшей с открытыми головами.

— Вот он! Он убил свою жену.

— *Молчи!.. Куда?..*— продолжал неизвестный, схватив одного попятившегося назад жидка за шиворот и отбросив его в толпу.

— Схватите его, схватите!— кричал полицейский офицер, продираясь сквозь народ.

— *Превратись язык твой в крокодила!*— заревел неизвестный, бросаясь на полицейского чиновника.— *Ступай в бездну адскую!..*

Полицейский чиновник увернулся и с подобострастием замолк, вытянулся во фронт: его испугал не сам неизвестный, но сиявшие на груди его три звезды.

— Схватите его, схватите!— раздался издали голос запыхавшегося городничего. Но народ отхлынул от неизвестного, когда, заскрежетав зубами, он произнес:

— *Прочь, прочь, лица человеков! О! если б мироздание попало в мои челюсти! Человек!.. С какою радостью стоит это гнусное порождение и благословляет судьбу свою, что она не подобна моей!*— продолжал неизвестный, указывая на стряпчего, который, растолкнув толпу, только что выбрался вперед.— *На одного меня обратилась вся злоба ада!.. Брат!*— продолжал он жалким голосом, ударив босого жида в лохмотьях по плечу.— *Благодарю тебя, всемогущий, здесь есть еще один, которого разразил этот гром!..*

— Зарецкий!— раздался новый голос в толпе. Это был содержатель походной труппы.— Вот он, вот он!— вскричал он, продравшись сквозь толпу и обхватив неизвестного.— Он пьянствовал! Я узнал его по монологу из Фиэско! Нашел место декламировать!.. Вот и костюм театральный и мои звезды! Счастье, что не пропил!..

Выведенная содержателем театра из недоумения полицейская команда обсыпала несчастного Зарецкого.

— Скрутите ему руки назад!— вскричал торжественно городничий.— Ведите в полицию для допроса.

Влекут несчастного Зарецкого. Невнятный, отрывистый его голос, сопровождаемый сверкающими глазами, не слышен в шуме преследующей его толпы.

Глава IX

Бедного Зарецкого привели в полицию; толпа народа обступила полицейский дом; крик, шум, толкотня. Городничий, заняв свое место, приказал ввести преступника в судейскую, приказал письмоводителю приготовить бумагу для допросов.

Два будочника ввели Зарецкого; за ним вошел содержатель театра.

Городничий

Имя твое?

Зарецкий (в сторону)

Господи, боже мой! ошибка! и где же? на сцене, во время представления! Он должен был сказать: *имя ваше?* (К городничему). *Конрад Туринский.*

Содержатель театра

Он пьян... ваше высокоблагородие... Он повторяет роль свою из драмы *«Вольные судьбы»*.

Городничий

Тс! Никто не перебивай слов моих! Звание?

Зарецкий

Имперский барон и член сего судилища.

Городничий

Как? что? новый подлог? Хорошо! (К письмоводителю.) Пиши. (К Зарецкому.) По какому случаю прибыл в сей город?

Зарецкий (в сторону)

Боже! Он не знает своей роли! Он и меня собьет с толку! (К городничему.) *Защищать мою невинность и занять место!*

Городничий

Хороша невинность! О, друг, ты займешь место в тюрьме!

Зарецкий (в сторону)

Черт знает, что он говорит! Дураку дали роль Вольного судьы. (К городничему.) *Какое мое преступление?*

Городничий

Как? какое преступление? Запираться! Нет, приятель! Свидетель целый город... Говори, каким образом и с какой целью уговорился ты с господином казначеем сыграть роль генерал-губернатора! А?

Зарецкий (в сторону)

Врет! Я? роль генерал-губернатора? (К городничему.)
Где ж мой обвинитель?

Содержатель театра

Да он, ваше высокоблагородие, спьяна бредит ролями, которые играл в театре.

Городничий

Тс! тем лучше, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. (К Зарецкому.) Отвечай на вопрос: с какою целью? а? Не с тою ли, чтоб похитить казенные суммы и вместе скрыться?.. Да!.. я и позабыл было. (К квартальным.) Извольте отпраздновать немедленно, сейчас же и без малейшего отлагательства арестовать казначея. Если он скростся, то вы будете отвечать. Слышите ли? (К Зарецкому.) Ну, говори, с какою целью? А?

Зарецкий (в сторону)

Не то! (К городничему с удивлением.) *Какой звук голоса!*

Городничий

Говори! Что ты будешь на это отвечать?

Зарецкий

Что судилище слишком справедливо, чтоб наказывать заблуждения или чтоб расставлять сети.

Городничий

Какая дерзость! сети!..

Зарецкий (перебивает)

Да, сети! Всей Германии известны связи дружбы, родства...

Городничий (перебивает)

Связи дружбы и родства! А! наконец! (К писарю.) Пиши: «связи дружбы и родства!..» Пиши! Вот оно что! теперь-то объяснилось.

Зарецкий (в сторону, с сердцем)

Гадит, портит! Не дал всего высказать!

Городничий

А что казначей обещал тебе за это?

Зарецкий (в сторону)

Вместо: вы это обещали? Черт знает, что говорит! (К городничему.) *И сдержал слово; он был мой друг...*

Содержатель театра

Да он, ваше высокоблагородие, декламирует роль из *Вольных судей*.

Городничий

Тс! молчать! Здесь не вольный, а казенный суд!

Зарецкий (продолжает)

Мой гость, а я изгнал его; он простирает ко мне руки, а я умерщвлял его...

Городничий (перебивает)

Позднее раскаяние!

Зарецкий (в сторону)

Совсем сбил меня! Что бишь? да! (К городничему.) *Должен ли он умирать два раза, два раза переносить томление при смерти! Кто б ты ни был... если это твое мнение, то у тебя сердце людоеда!* (Бросается к городничему.)

Городничий (вскочив с места, с ужасом)

Он убьет! Схватите его! Он убьет!.. Закуйте его в желез! Тащите его в тюрьму! колодки на ноги!..

Содержатель театра

Ваше высокоблагородие! он пьян, он спяна это все наделал. Извольте прослушать, он говорит не свои слова, это роль...

Городничий

Рогатку на шею! а завтра в кандалах представить его для вторичного допроса и личной ставки с казначеем! Разбой среди белого дня!

Глава X

Заключение

В тюрьму к Зарецкому тайно приходила *добродетельная преступница*. Она застала его в беспамятстве, бросилась в его объятия, вскричала, как Ангелика:

— *Роланд! взгляни на скорбь мою о тебе!.. успокойся, друг мой!..*

А он отвечал:

— *Здравствуй, здравствуй, благородная дочь дикого Сакрипанта! здравствуй!.. Как! ты одна убежала от твоего отца?..*

А она, видя, что нет надежды возвратить бедному Роланду-Зарецкому рассудок, произнесла горестно, как Ангелика:

— *Несчастный!* — и удалилась из тюрьмы скорыми шагами, чтоб не опоздать на репетицию.

Настоящий генерал-губернатор, до которого дошли слухи об этом происшествии, смеялся над ним от души и велел перевести Роланда-Зарецкого из тюрьмы в сумасшедший дом, а казначея переместить в другой город.

По сию пору казначейша во время ссоры с мужем посылает его навестить зятя своего в Москве в желтом доме; а Зарецкий без отдыха декламирует, то воображая себя честолюбцем Фиэско, заносит преступную руку па Джанеттино, поражает стену кулаком, клянет судьбу над трупом Розабеллы, низвергается в море с кровати и лежит без памяти на полу; то, вдруг очнувшись, является маркизом Лафастом и клянется в любви Софии; то перед лицом Вольного судилища защищает права и невинность имперского барона. Но в роли Неистового Роланда он превосхо-

дит самого себя; все сумасшедшие, находящиеся с ним в одной камере, забывают свою манию — музыкант перестает перебирать на воздухе клавиши; духовидец забывает ловить за хвост чертиков, которые садятся ему на нос; у поэта выпадает из рук воображаемое перо; оратор не откашливает слова, которое остановилось у него в горле, — и все внимательно, безмолвно, разинув рот, дивятся иступленному искусству Зарецкого.

АЛЁНУШКА



I

Приятель мой Северин, по выражению г-жи Жанлис, *произошел на свет от благородных родителей*, от Петра Ильича и Евлампии Федоровны.

Богач Петр Ильич жил открыто, двор его был всегда полон экипажей, передняя полна слуг, часто в *пунической* ливрее. В одной гостиной зеркала во всю стену отражали образы превосходительств и сиятельств с их семействами, в другой гостиной в золотых рамах заключались головы Рембрандта, неблагопристойности фламандские, огородные овощи Шнейдера, извозчики Орловского, море Верпета, баня Тициана, и все это *оригинальное, нисколько не копия*. Тут же бюст Венеры Калипиги, тут же все амурь, порожденные от Юпитера, от Марса, от Меркурия, от Адониса, от Аполлона, от Зефира, от Александра, амурь с крылышками птичьими, мотыльковыми, без крылышек, вооруженные колчаном, лучком и стрелой, и амурь мирные, не вооруженные. В буфете на сто персон серебра, фаянсу и хрусталя, в кабинете натуральная история по части окаменелых грибов, в шкафах в красном переплете фолианты французских писателей прошлого века, за стеклами, и отвратительный крик попугаев по всем окнам, и коверканье африканского *пигмея*.

Много было забот и хлопот у Петра Ильича, но втрое было забот у Евлампии Федоровны. И кто не согласится, что заботы жизни общественной ужасны. Завести знакомства, поддерживать знакомства, хитро уклониться от знакомств, уметь принять гостя, уметь выжить гостя, быть многоречивым и не обмолвиться, не отстать от моды, знать ее тоны и приличия, обратить на себя внимание и не пока-

заться странной; знать, кому оказать на деле честь, кому на словах одолжение, и мало ли, мало ли труда и забот; едва достанет времени на отдых и на туалет: весь день на визитах, вся ночь на выставке моды, только от утра, золотого утра, святого утра, скрываются тени в раззолоченные свои гробы.

Безбожно истреблять богатство жизни и потом жаловаться на бедность сил, на слабость здоровья, на небо!

В роскошном быту родился Северин. За ним ухаживали, его учили подданные трех просвещенных наций Европы, он был вполне предоставлен им; отец и мать жили в водовороте большого света.

Их жизнь стоит описать подробно. Я короток был в доме.

Как ни хорошо, казалось, шли дела Петра Ильича, вокруг него было тепло всем, кто принадлежал к сфере его, однако ж судьба вздумала сделать *надлежащие во всем исправления и перестройки*.

Петру Ильичу не жилось трудами двух тысяч наследственных рук, он вздумал и сам трудиться. Прослышал он, что сосед его, удоблив землю известью, утроил урожай полей, и вздумал удешевить плодородие своих земель. Сам посхал он распоряжаться в поместье. Закупил на наличный капитал и в долг несколько барок извести, выписал арнаутки, убелил известью свой чернозем, засеял и на другой год проклял все нововведения; на третий год сделал заем под залог именья, на четвертый продал именье за половинную цену, пустил капитал в оборот, по совету истинных друзей своих, и оборотил свое благосостояние вверх дном.

Таким образом года в два, в три измерял он шагами высоту прежнего своего состояния от поверхности моря.

У Петра Ильича, как у богатого человека, были и долги, и должники; долги без зазрения совести пришли к нему и, как Бальзак, описали дом и все в доме его до нитки, а должники были искренние его приятели, люди в чести и в ходу, которым не напоминают о долгах.

Как ужасна высота, измеряемая расстоянием излишества от недостатка! В какой продолжительный обморок впала Евлампия Федоровна, когда Петр Ильич предложил ей переехать на новоселье. Он нанял, с горем пополам, мещанский домик на канаве.

Куда делись гувернеры, *dames de compagnie*¹, швейцары, *maitre d'Hotel, valet de chambre*² и весь причет, вся эта моль в человеческих образах.

Затмится счастье, точно как солнце, куда денутся блеск и лучи!

Петр Ильич, как голая истина, перебрался сам-третей из каменных палат под деревянную кровлю. Никто из друзей-должников и не думал спасти его от потопления. А сам он не просил никого подать ему руку помощи; природа создала его предобрый, пребеззаботным существом, он бы и не призадумался при перемене обстоятельств и квартиры, если б не заставляла его об этом думать насильно жена. Но один искренний из искренних друзей его и честнейший должник многих тысяч, Ксаверий Астафьевич, всегда напоминал ему сам об долге своем и говорил: «Погоди, братец, погоди; только что дела мои примут счастливый оборот, первому тебе уплачу».

— Да ты, братец, дал бы мне хоть частицу покуда.

— Нет, любезный Петр Ильич, я по частям не люблю платить; вот, помедли, все вдруг отдам.

Ленивый от природы и неподвижный, Петр Ильич в счастии своем был похож на ресторатора, у которого можно было получить все *gratis*³. При перемене состояния он продолжал любить свой долгополый, домашний сертук. Посещения сократились, и он возлюбил уединение; а уединение есть мать мудрости.

Из всех книг сохранил он, по завещанию отца, письмовник Курганова. «Петруша,— говаривал ему отец,— эту книгу ты, ложась спать, клади под подушку; в ней все есть — и полезное, и приятное! На, на! прочти мне что-нибудь из анекдотов...» Петруша начинал читать: «Старуха, хватя добрую чарку вина, пришла к вечерне и там, задремав, всхрапнула; соседка толкнула ее, чтоб проснулась, тогда она возгласила: подносите внучке, а я более не стану».

И старик хохотал от души: «Да, братец, и забавно, и полезно, тут на всякий случай и предмет есть толкованье; головы ломать не нужно».

В память отца и для того, чтоб иногда извлечь полезное, Петр Ильич берег, как глаз, эту книгу.

¹ компаньонки (*франц.*).

² мстрдотель, лакей (*франц.*).

³ даром (*лат.*).

Из всей галереи картин сохранил Петр Ильич «Леду». Она всегда висела у него в кабинете против волтеровских кресел, и часто, после обеда, он всматривался на нее в кулак и дивился живому изображению замирания Леды.

С мала он был большой политик; но в большом кругу, где большой расход на речи, иначе и не может быть... Журнальные новости — насущный хлеб разговора. Газетная ложь необходима — где же набраться правды на все человечество. Итак, среда и суббота были посвящены чтению газет. Прохор, верный слуга Петра Ильича и Будхаха, должен был в эти дни раным-рано отправляться за газетами в Университетскую книжную лавку... Прохор знал, чем угодить барину.

Почти у каждого человека есть какая-нибудь странная привычка. Обоюние более всего причудливо в человеке. У Петра Ильича оно было пристрастно к сырым газетам. «Как славно пахнет!» — восклицал всегда Петр Ильич, вдыхая в себя сырость печатную. Петр Ильич терпеть не мог сухих газет, и в тот день Прохор был и пьяница, и негодяй, в который приносил ему иссохшие листы газет. В предостережение себя от гнева барского Прохор изобрел средство: возвращаясь с газетами домой мимо пруда, он всегда окунал их в воду.

Удовлетворив обоюние, Петр Ильич принимался разрезывать газеты и сшивать, а потом уже читал от доски до доски. К вечеру становился он глубоким политиком и удивлял новостями всех, кто имел смелость посетить его в бедном состоянии. «Помилуй, Петр Ильич, — говаривали его посетители, — да откуда ты, сидя дома, собираешь такие сведения?»

С улыбкой самодовольствия Петр Ильич тайл, что черпал все тайны политики из московских газет. Часто, однако ж, он грешил против грамматических правил и употреблял вместо настоящего времени давно прошедшее.

Таков был отец Северина; но индийской пословице «он слез со слона», а по персидской — «сел на ковер мудрости». Но жена его, низвергнутая судьбою с бельэтажа в партер, выплакала все слезы и долго обмороками своими нарушала спокойствие мужа посреди патетической статьи о каком-нибудь приезде ученика Пинетти или ultima don-

па¹ Италии или Германии, или отставной скрипки капеллы е. к. в.², или терц-виолыны и даже несносной дуды.

Евлампия Федоровна была очень чувствительная женщина. Перемена состояния еще более раскрыла в ней источники этого чувства: ей часто делалась дурнота и в мраморных стенах, но в деревянном домике, которого стены обклеены были бумажными обоями, ее первые каждое мгновение поражались всеми ужасами деревянных домов, выросших в землю. То черный таракан полз задумчиво по стене, то паук опускался с потолка прямо над головою Евлампии Федоровны, то мышь скреблась под ногами.

Без памяти вскрикивала она; без памяти муж бежал к ней с вопросом:

— Что с тобою, та chége³?

— Не могу я жить здесь! Я не привыкла жить ни в сарае, ни в погребке, ни в черной избе!

Тщетно Петр Ильич превращался в утешение.

— Оставьте, сударь, меня! Оставьте с вашими уверениями; я вижу, что вы хотите дожить свой век в этой лачужке... Вы обманули меня! Вы промотали имение бог знает с кем!.. С какой-нибудь...

— Мой друг,— возражал Петр Ильич,— говори, что хочешь, но чести моей не трогай... я...

— Что вы, сударь?

— Я этого не снесу! Моя постоянная к тебе привязанность не заслужила таких слов.

— Привязанность! Какое нежное слово! К жене ли чувствовать любовь; с нее довольно и привязанности, когда любовь и деньги расточаются на стороне.

— Я вижу, сударыня, что вы из себя выходите,— произносил хладнокровно Петр Ильич, удерживая гнев свой и вставая с места.

— Оставьте же меня!— вскрикивала повелительным голосом Евлампия Федоровна.

— Бешеную женщину поневоле оставишь!— произносил с сердцем Петр Ильич, собираясь выходить из комнаты; но новый вопль, новый припадок останавливали его, и Петр Ильич забывал незаслуженный упрек Евлампии Федоровны, подбегал к ней, придерживал голову, шептал

¹ моднейшей певицы (итал.).

² его королевского величества.

³ моя дорогая (франц.).

про себя: «Господи, что за женщина!» Сзывал людей, требовал воды, одеколону, дул в лицо, тер рукп. Наконец Евлампия Федоровна приходит в себя, отталкивает мужа, всхлипывает, заливается слезами, жалким голосом произносит:

— Боже, боже! До чего я дожила! Муж оставляет меня!

— Полно, милый друг,— говорил Петр Ильич со всею сладостию ласки,— полно! кто тебя оставляет.

— Кто оставляет, сударь? Да я всеми оставлена, всеми презрена, никто знать меня не хочет! И кто пойдет в такую лачужку ноги марать? Вам легко переносить презрение; вы, сударь, родились в мещанском быту, а я не рождена терпеть!.. Я требую от вас приданого!

— Приданого?— произносил Петр Ильич вопросительным тоном.— Не родословное ли древо ярославских князей да красную ливрею? Возьмите их, сударыня.

И Евлампия Федоровна снова катится без памяти. Опять Петр Ильич хлопочет около нее, подносит к посу склянку; склянка оттолкнута, разлетается вдребезги.

— Господи! Что это за женщина!— повторял Петр Ильич, ходя по комнате и заложив руки назад.

Но вдруг карета гремит под самыми окнами.

— Боже мой! кто-то приехал! Кажется, графиня,— вскрикивал суетливо Петр Ильич.

И семейственная картина внезапно переменилась. Евлампия Федоровна приходит в себя, бежит в спальню; Петр Ильич — в свой кабинет.

Евлампия Федоровна торопится простудить глаза, покрасневшие от слез, надевает чепчик, пакидывает платок.

— Боже мой! Идут без доклада! Выбеги, узнай, кто?

— Никого нет, сударыня. Это Прохор подбирает разбитое стекло да вытирает пол.

И Евлампия Федоровна сбрасывает с себя платок, бросается в креслы и опять в отчаянии, в слезах.

Но все это простительно чувствительной женщине; она должна быть такова, в ней должны содрогаться все жилки от пауков и тараканов и от всего холодного, даже от холодного благоразумия мужа.

Со всем человек расстается легко, но не легко расстается с привычками, потому что привычки есть нравственные паросты, полипы. Одно средство — вырезать с корнем.

Евлампия Федоровна не могла решиться на операцию.

Все мещанское здание загромождила она своим гардеробом; все комнаты, даже кабинет мужа, заставила она картонками и шкафами.

Проснувшись в полдень, она садилась перед своим двухтысячным трюмо, с которым также ни за что не решалась расстаться. Два часа продолжался ее туалет; потом садилась она в креслы перед маленьким столиком на курьих ножках; муж и сын подходили к ее руке пожелать доброго утра, которое уже было за тридцать земель; потом, по старому обычаю, она сидела в каком-то тоскливом ожидании визитов. Если чей-нибудь экипаж проносился по мостовой, она звонила в колокольчик и спрашивала у входящей девки: кто там приехал? Скажи, что нет дома.

— Никого нет, сударыня.

— У вас вечно никого нет, а поминутно кто-нибудь входит ко мне без доклада! — произносила Евлампия Федоровна с сердцем.

Таковы были родители Северина-юноши. Таким образом время проходило, а он жил да жил у отца и матери без науки, без дела; при перемене состояния судьба его забылась. Однако же через несколько лет Петр Ильич вздумал отдать его или в ученье, или в службу. Но, кроме недостатка денег, чтобы отдать в пансион, встречалась тема других домашних препятствий.

— Хочу я, мой друг, отдать Северина в ученье... что ему бить баклуши дома? — говаривал иногда Петр Ильич жене.

— Позвольте спросить, какому ремеслу хотите вы учить его?

— Не ремеслу, а наукам, мой друг. Отдам в казенную гимназию, попрошу князя...

— Этого никогда не будет, чтоб мой сын был в гимназии!

— Да что ж тут худого?

— Напротив, все прекрасное, да не для моего сына.

— Как хочешь. Пусть будет сын твой дураком!

— Во всяком случае будет умнее вас.

Чтоб избежать бури, Петр Ильич тихо, не говоря ни слова, выкрадывался из комнаты. Время проходило, состояние Петра Ильича не поправлялось: для глухого не две обедни. Горе Евлампии Федоровны истощалось, как дождевое облако. Северину настало двадцать лет, а он еще ходил в курточке. Отец и мать привыкли считать его не-

обходимым в доме, вроде прислуги, по недостатку слуг; притом же сын всегда вернее и исправнее всякого раба. Северин, то прочти папиньке какую-нибудь мелкую печать, то подай маминьке скамейку под ноги, то кликни Прохора, то позови Настьку, и, следовательно, Северин нужен: без него некому было прислужить папиньке, когда маминька в торжественные дни посылает Прохора разнести по Москве около 200 визитных карточек; без него некому было прислужить маминьке, когда Настя едет на реку или идет в баню.

— Как ты думаешь, мой друг,— скажет иногда Петр Ильич,— пора бы отдать сына в службу?

— Вы так думаете? Я не знаю, чем вам надоел сын! Вы только о том и думаете, как бы его сбить с рук.

— Но рассуди сама, посмотри на добрых людей. У всех дети в службе; все сверстники Северина поручики да ротмистры, а он-то что?

— Он мой сын, и этого довольно, чтоб я не бросила мальчика на произвол судьбы, без надзора, без денег... Нет! этого не будет!

— Мальчик в двадцать лет!

— Лета ничего не значат; один образуется раньше, другой позже.

— Это правда, но...

— Если правда, то ваше *но* лишнее; да впрочем, кажется, я вам неправды никогда не говорила.

— Эх, мой друг, тут дело идет не о лжи. Ну кто тебе говорил, что ты лжешь?

— Ты лжешь! Что за выражение! От вас ничего не услышишь, кроме грубостей! Вы как будто век живали в мещанском быту.

— Тебе говори то, а ты свое!

— Я не знаю, отчего я должна говорить чужое, а не свое! Вы, кажется, не дуру взяли за себя!

— Оставим, пожалуйста, разговор.

— Я вас не просила начинать его.

— Но скажи, сделай одолжение, с кем же мне посоветоваться о судьбе сына, как не с женой?

— Очень нужно для того советоваться, чтоб не принимать советов; но я знаю вашу цель: вы ищете случая, чтоб огорчать меня.

— Помилуй! Что мне за приятность огорчать тебя!

— О, большая приятность! Чем же иначе мужчине

показать свое преимущество пред женщиною, как не правом своим всегда делать ей напротив? Вы вполне пользуетесь этим прекрасным правом.

— Уж если я делаю тебе напротив, то позволь же и слова твои понять напротив, потому что все права мужчин подмыты женскими слезами, ниспровергнуты слабостями и истериками.

— Правда ваша, чувствительность сердца много вредит женщинам; она-то и обезоруживает их против ига мужчин.

— Да-с, точно-с, справедливо-с!— отвечает Петр Ильич; ему не приходит в голову промолвить Евлампия Федоровне или, может быть, не желает он промолвить: избави боже весь земной шар от той чувствительности женщин, о которой имеет право рассуждать медицина. Эта чувствительность ниспослана в числе десяти наказаний на род человеческий.

О воспитание, воспитание! Но что поможет оно тому, в ком природная кровь тщетно борется с чужой кровью, которому нищий может сказать: «Барин, подай милостинку! подай, ты напился моею долею молока!»

— Однако ж должно же подумать о судьбе сына?— настойчиво продолжал иногда Петр Ильич после долгого молчания.— Скажи мне свое желание, и я исполню его... по штатской пустишь сына или в военную?

— Я не знаю, кому лучше знать наклонности сына, матери или отцу?— отвечает Евлампия Федоровна.

— По моему мнению, записать его в первый полк, да и с богом. Теперь же война; отличится, выйдет в чины...

— Это мнение вы можете отложить в сторону. У кого много детей, тот может жертвовать ими, а у меня один только сын. Я не для того мучилась, переносила болезни, заботилась о воспитании, чтоб его изувечили или убили.

— Отдадим в штатскую.

— Вы можете его записывать, куда угодно, но я не позволю, чтоб моего сына записали до чухотки.

Таким образом, дело о Северине тянулось с 12-го по 22-й год. За десятилетнюю давность он как будто потерял права на заботы отца и матери, но Евлампия Федоровна умолкла навеки, и никто уже не противоречил Петру Ильичу определить сына на военную службу.

Вместе с Северином мы сделали кампанию, с ним вместе и приехали в отпуск в Москву.

Надо было видеть, как обрадовался старик приезду своего сына.

Несколько дней сряду не отпускал он его от себя ни на шаг и утомил расспросами про походы в Турции. Наконец, когда любопытство было удовлетворено, жизнь его как будто унялась в первый раз сладостным вином, и он заснул крепким беспробудным сном.

Северин, наследник материнского гардероба и отцовского собрания газет лет за 25, почти случайно нашел в бумагах отцовских заемное письмо Ксаверия Астафьевича, о котором и понятия не имел: заемное письмо на пятьдесят тысяч рублей, с законными процентами.

Северин порадовался находке. Капитал почти удвоился в десять лет. На другой же день он отправился с этим документом к истинному другу своего отца. Был встречен им довольно сухо; воспоминания о дружбе с отцом не согласовались с приемом сына.

— О,— говорил он,— мы были истинные друзья с вашим батюшкой, жили как родные братья: у нас никогда не было счетов между собою.

Эти слова поразили Северина. «Он не помнит о долге!» — думал он.

— Да, да,— продолжал Ксаверий Астафьевич,— мы были с ним друзья, и как жалею я, что не мог отдать ему последнего долга...

Северин ожил и хотел уже вынуть из кармана заемное письмо.

— Да,— продолжал Ксаверий Астафьевич,— не мог, подагра совершенно приковала меня к креслам; не знаю, вспомнил ли он, умирая, о друге своем?

— Я застал его в некотором роде забывчивости обо всем мирском; только радость видеть меня после долгой разлуки оживила его на несколько часов.

Ксаверий Астафьевич в свою очередь ожил.

— Я думаю, он вам не оставил никакого состояния? Признаюсь, положение его крушило меня, я по силам... что мог...

— Все наследство мое состоит в этом заемном письме,— отвечал Северин, вынимая из кармана бумагу.

— Мое?— вскричал Ксаверий Астафьевич, смущаясь.— Знаю, знаю! это обязательство было сделано на некоторых условиях особенных, частию в поддержание кредита вашего батюшки...

Разговор прервался приходом двух пожилых женщин. Девушка лет пятнадцати вбежала вслед за ними в комнату.

— Прощай, братец! Мы едем с Еленою.

— Прощайте, папинька! — произнесла девушка, подбегав к отцу и целуя у него руку.

Северин привстал, почтительно поклонился дамам. Сестрицы Ксаверия Астафьевича кивнули головами: Гюлистан, огражденный огромными шелковыми буклями, заколебался, канительные колосья затрепетали. Но Елена бросила на незнакомца скромный взор, опустила очи, отступила шаг назад и исчезла, повторив: прощайте, папинька!

— Это моя дочь, Северин Петрович, — сказал старик, переменяя тон, когда дамы вышли из комнаты. — Рано оставила ее мать, но божия милость и мой глаз над нею; она у меня добрая девушка. Бог наградил меня счастьем! утешение на старости! Подлинно игрушка в доме! Горе забываешь, смотря на нее!.. Сына бог не дал; ну, да у кого есть дочь, будет и сын.

Ксаверий Астафьевич описывал свое счастье настоящее; Северин также думал о счастье будущем... не о том счастье, которое надевается на голову, на плеча, на ноги, на шею или пришивается к груди, не о том, у которого четыре угла и четыре этажа, прекрасно меблированных, с окрестностями, состоящими из деревьев, рабов и собак, не о том, которое варится, печется и жарится, живет на дне бутылок, стаканов и рюмок, не о том, которое зависит от погоды, не о том, которое похоже на толкучий рынок посреди раззолоченной, разосвещенной залы или гостиной, не о том, которое похоже на подвижные газеты и диссертации, не о счастье, для которого нужны толпы людей и их удивление, но о счастье, которое схватил бы Северин на руки и бежал бы с ним в пустыню, на край света, чтоб там, наедине, впиться своему счастью в уста, утонуть в его объятиях навеки.

Северин думал о Елене.

Посмотрим же и мы на Елену, на эту Перс, облаченную в утреннее румяное облако. Зачем сбросили с нее воздушную одежду? зачем наряжают ее в *мемфис* и в *брильянтин*? зачем эти пестрые *сильфиды* у нее на платье? зачем ее кудри и снежное чело и розы жизни прикрыты *сарацинской* соломой? зачем стап ее обернулся в *гелиополь*?

И она подражает смертным, садится в коляску, садится на откидной скамейке; первые места заняли какие-то две вечности, две археологические статьи, романы прошедшего столетия в новом сафьянном переплете с позолотой и готическими оттисками: это две родные тетки Елены. Они захали за пятнадцатилетней племянницей, ведут ее на благообразные сатурналии, где плодятся грехи, как черви, где ложь — душа и тело, где вздох окован приличием, где тоска о будущем овладела всеми богатствами радости: улыбкой, светлым взором, ласкою... и бросает их повсюду, как мот золото, как тать чужое достояние; где чужбина в переднем углу, а Русь в передней.

Вот скитаются *андрюиды* на паркетных берегах Стикса. Свой ли собственный труд расточают они? или чужой пряник, горсть орехов и праздничный кафтан превращены ими в эту *тьнь одежды*?

Посмотрите, как испаряется жизнь в этих цветах. Вот кашляет 15-летняя старуха: с пяти лет стан ее в оковах. Как плодоносное дерево, которого корень стеснен в небольшом горшке, не образовавшееся еще, дало довременные плоды, так она в 12 лет уже испытала все страдание, пролила все слезы любви.

Но пусть пользуются эти люди мнимым, искусственным счастьем, если нет у них настоящего. Говорят, что счастье живет притаившись, припав к чьей-нибудь груди.

Природа ни для кого не была мачехой, никого не обидела в разделе земного блага: в пирог с кашей столько же поместила она наслаждения, сколько и в страсбургский пирог. Равны для нее люди, каждому задала она работу и сказала: трудитесь! по данному мною плану вы строите для себя же вечную, светлую обитель; кто не участвует в труде моем, тот не найдет в ней места, останется вечным грустным, бесприютным скитальцем; будет томиться земным голодом, и не будет уже земной пищи, будет сгорать от земной жажды, и не будет уже земного упоения.

Вот Елена в блистательной толпе большого света. Лорнеты влекут призрака ее во все стороны. Ее взоры еще робки, как вольные птицы, мелькают, извиваются, как ласочки.

Но злой дух взмахивает уже серебряным крылом, впился очами в красоту Пери — дух света; он стережет, когда музыка повторит второе колено кадрили и кавалер с поклоном выпустит ее руку из своей руки.

Он не пропустил этого мгновения: не успела еще Елена сделать шаг назад и вздохнуть от усталости, он порывисто уже мчится к ней, прожигает себе путь сквозь толпу, протягивает к ней руку в лосиной перчатке, произносит резко: *mademoiselle, plait-il?*¹ и несется с нею в водоворот мажурки, прищелкивает шпорами, вбивает каблуком гвозди в паркет; то схватит руку Елены правой рукой, мчится, вскидывая на воздух левую, то обвивает ее стан, перекидывает на левую руку и, кружась вихрем, бьет такту шпорами, то, выпустив снова из рук, водит летучую деву по кругу, как берейтор какую-нибудь молодую симфонию, и между тем оттирает платком лицо свое, на котором поры обратились в артезианские колодцы.

Сколько ртути сублимата в его словах, сколько опиума, которым Гассан поил правоверных, чтобы во время усыпления показать им искусственный рай.

Неопытность всему верит. Верила и Пери словам Дива. Ему нужна была только ее душа, только благоуханные соты девы.

Что делать юной лани, когда она томится зноем, жаждет упоительных вод? Туман расстилается по долине, стоит, как озеро; невидимые сети стелются по обманчивым берегам его. Юная лань, никем не руководимая, никем не предостереженная, стремится с горы к призраку вод, падает в тенеты, и с этой поры она в руках ловца.

Нужно ли описывать доверчивость Пери, которая пз знает еще жизни и в первый раз слышит примапчивые звуки злого духа? Он завлекает деву, чтобы защекотать ее и потом оставить в темной страшной глуши. Там блуждает она, как звезда, потерявшая свой свет и свое место на небе. Ее душа, как птенец, издыхает в разбитой скорлупе: ей не живется в обезображенном теле.

Между тем Ксаверий Астафьевич, казалось, влюбился в Северина, отпустил его от себя с тем, чтоб он на другой же день обедал у него. Его ласки, однако ж, похожи были на ласки должника, который заговаривает своего заимодавца, чтоб не дать ему произнести слова о долге, чтоб он, выходя от него, подумал: «Какой прекрасный человек Ксаверий Астафьевич! право, такому человеку совестно напомнить о деньгах!» Оно так и было: Северин забыл о тысячах. «Что тебе в богатстве, если ты возьмешь его и расстанешься с Еленой!» — говорило ему сердце.

¹ мадемуазель, разрешите? (*франц.*)

Северин почти каждый день у Ксаверия Астафьевича. Каждый день видит Елену, говорит с нею. Он уже влюблен в нее страстно, доверчиво, перед ним еще нет ни надежды, ни безнадежности, он еще смотрит на нее, как на святыню, не помышляет еще о взаимности, любит ее, как соловей розу Кашемира, он не отлетал бы от нее, цел бы:

«Заря, осыпанная перлами и рубинами! Изумруды садов при появлении твоём сбрасывают с себя черный покров ночи; и я, при появлении девы, питаюсь перлами её уст и согреваюсь лучами очей!»

Северин только еще радовался, что встретил ее, он еще всматривался в красоту Елены.

Первое чувство любви — весна природы, семя, брошенное взглядом на сердце; быстро дает оно отпрыск. Холодные вьюги, не проносите мимо его! пусть возрастет, даст цвет... благовонную ли розу Ширазскую, соперницу румяной зари, которую любят воспевать соловьи и поэты, или пурпуровую розу Китая, без аромата... цвет ли банана, юную надежду на сладкий плод, или колючее терние, ядовитую ягоду, которая потушит румянец и свет очей, убьет радости сердца, охладит уста и душу?..

Но однажды, на балу у одной из тетушек Елены, в Северине вдруг превратилось тихое, счастливое чувство любви в чувство мучительное, излечимое только взаимностью. Он не мог равнодушно смотреть на одного усатого гвардейца, который как монополист овладел общим сладостным правом танцевать с Еленой. Как ни подойдет Северин к Елене, один ответ: я танцую. С этой минуты в Северине родилось желание, чтоб Елена хоть сколько-нибудь переменилась в отношении к нему, чтоб показала хоть ненависть, если не любит, чтоб *быть* или *не быть* вместе с ним — не казалось ей одним и тем же, чтоб хоть исподтишка всматривалась она в него, вслушивалась в его речи, чтоб хоть один раз в день пропела его любимый романс без просьбы и никогда не отказывалась петь, когда он ее просит.

Время проходило; весна любви была бесцветна для Северина.

«Она еще дитя, ей непонятно чувство любви», — думал он, вздыхая глубоко, и, забывшись, часто устремлял на нее задумчивые взоры. Ксаверий Астафьевич замечал это и тайно улыбался.

Однажды Северин сидел подле старика, которого болезнь увеличилась. Северин задумался.

— Об чем вы так призадумались, милый мой? Признайтесь, что за горе у вас? Право, я готов принять в вас участие, как в сыне.

Северин весь вспыхнул от неожиданного вопроса, затрепетал, как преступник, пойманный на месте преступления.

— Послушайте, милый Северин, мы были истинными друзьями с вашим родителем, я давний его должник и желал бы заплатить долг с процентами. Некогда мы шутя обещали друг другу: если у одного родится дочь, а у другого сын... утвердить нашу дружбу союзом детей. Теперь есть возможность исполнить это... Если вы желаете иметь во мне второго отца, а в Елене добрую жену, то я теперь же обнял бы вас как сына.

Северин готов был броситься в объятия Ксаверия Астафьевича, однако же удержал порыв радости и сказал ему:

— Сердце детей не всегда покорно выбору родителей: я могу не нравиться вашей дочери.

— О, выберите только меня в посредники, и я буду надежным ходатаем за вас у ее сердца.

— Нет! того, кто после просьбы может приказать, я не выберу моим ходатаем в деле, где от доброй воли зависит счастье целой жизни.

— Неужели вы полагаете, что я единственно по вашей склонности к моей дочери и по одному моему желанию вздумал бы решить ее участь? Нет, милый мой, я соображаю и с чувствами Елены; от меня они не могли скрыться. С тех пор, как вы посещаете нас, я не узнаю Елены; с нее как будто рукой сняло детскую веселость, часто сидит она задумавшись, в ней проявились все признаки любви: слепота, глухота и немота.

Северин задумался, он поверял мысленно слова старика; ему хотелось вполне ему верить, но не смел ему верить.

Возвратясь домой, Северин провел ночь без сна; завтра решится его участь... сердце тосковало. Когда надежда сомнительна, нам страшно мгновение, разрешающее участь. Пусть бы длился этот мрак, в котором носится любимый призрак наш.

На другой день Северин шел в дом отца Елены и готов был умолять его, чтоб он подождал спрашивать согласия

дочери своей. Но судьба и Ксаверий Астафьевич уже распорядились. Подле кресел его стояла Елена, бледная, с опущенными очами, из которых катились слезы.

Едва Северин показался в дверях, Ксаверий Астафьевич протянул к нему руку.

— Обоймите меня, Северин Петрович, — произнес он.

Северин едва устоял от радости; он бросился в объятия старика, который, взяв руку дочери, сложил с рукою Северина. Северин чувствовал холод дрожащей руки Елены.

— Вот вам рука моей дочери! — продолжал старик. — Мои заботы об ней вознаграждаются исполнением единственного моего желания устроить ее будущность при жизни моей и назвать сыном такого человека, как вы. Мне недолго уже жить... Елена, обними меня... твое доброе сердце стоит счастья, которое я тебе избрал, соображаясь с собственным твоим сердцем... Дети, обнимите меня!

Елена упала в слезах на грудь отца; Северин приклонился также к старику, но в душу его запала какая-то грусть: ему больно было смотреть на слезы Елены. Отчего, думал он, спокойствие ее возмутилось? может быть, болезнь отца? неожиданная перемена?

Все должно иметь весну; любовь и счастье также должны иметь весну; без весны грустно, без весны чего-то вечно недостает... недостает наслаждения, недостает благоухания, свежести, теплоты, недостает какого-то блаженного чувства, которое не заменишь всеми восторгами будущности, ни пышным цветом лета, ни плодами осени. Этой-то весны недоставало для счастья Северина; он еще не насладился ни одним взаимным взглядом Елены и мог уже назвать ее своею.

— Поцелуй жениха своего, Елена, — сказал отец.

И этот первый поцелуй без стыдливого румянца... без волнения в груди, что в нем! и это *вы* жениха и невесты, это грустное *вы*, при котором не смеет вырваться в один голос: я люблю тебя! О, положение Северина было горько! Старик торопился свадьбой; он, как корсар, заботился скорее сковать невольников, чтоб не разбежались.

В тот же еще день ввечеру собрались к старику несколько пожилых его приятелей. Северин был представлен им как будущий его зять. Елена была нездорова, и потому Северин принужден был поневоле разделять пошлую беседу подле глубоких кресел, в которых лежал Ксаверий Астафьевич и охал от боли. А так как всякий об том гово-

рпит, что у него болит, то и общий разговор был о разных средствах и способах лечения: один советовал гомеопатию, другой магнетизм, третий электричество, четвертый паровые ванны, пятый советовал полечиться симпатическими лекарствами.

— Попробуйте, Ксаверий Астафьевич, это *песинное* средство, — сказал один худощавый старец, — за все прочие средства не ручаюсь, а за симпатию поручусь головой. У нас в приходе живет женщина, которая нашептывает в платок; что бы ни болело — все равно: стоит только перевязать этим платком больное место. Да у меня в глазах жена вылечилась. Болели зубы, ни дня, ни ночи покою! Вот и сказали ей про эту женщину. Что же вы думаете, послали к ворожее новый платок, она что-то пошептала в него, завернула и велела бережно нести домой. «Не рассыпь, — говорит, — дорогой или как будешь разворачивать». Вот и принесла горничная к жене; только что подвизала она зубы — как рукой сняло!

— Бог знает, верить или не верить этому. В старину много водилось чудес, теперь перевелись, а перевелись от безверия.

— О, вера больше всего помогает. А скажи теперь молодежи про это, поднимет на смех. Да вот я заметил по лицу Северина Петровича, что он не верит в симпатию.

— Признаюсь, я верю в пользу всевозможных средств, но не верю в колдовство и шепот старух.

— Теперь вообще не верят чудесам, Северин Петрович, однако же больше нежели когда-нибудь употребляют чудные и неизъяснимые средства лечения. Например, что такое гомеопатия? Хотят уверить, что в капле можно утопить точно так же, как и в море.

— Я не буду вам толковать силу дециллионной части, но мне кажется, что зажигательное стекло всю силу целой массы солнца соединяет в одну точку, ибо эта точка может сжечь алмаз.

— Позвольте, позвольте, а магнетизм? этот искусственный сон, делающий человека всеведующим?

— Я не верю в сны, — отвечал Северин.

— О нет, этому верьте, — подхватил тучный сосед сго. — В сны верили все греческие мудрецы.

— После этого греческие мудрецы заставят верить и в привидения.

— А как же? Вы не верите явлению духов?

— Ох! мне кажется, что это может быть,— сказал, вздыхая, Ксаверий Астафьевич.

— В истории сохранилась тьма примеров. Младший Плиний рассказывает, что в доме его водился домовый, который каждую ночь приходил брить бороду слуге его.

— А магия, черная магия, вызывающая духов? *следственно*, она была наукой; и это исторически известно, что магия была в числе таинств египетских. *Следственно*, я сейчас расскажу вам происшествие, которое случилось с известным философом Греции — Евкратом.

Еще в своей юности, когда он жил в Египте, куда отец послал его для изучения наук, однажды вздумалось ему проехаться по Нилу до города Копта и, *следственно*, посмотреть там славную статую Мемнона, издающую при восхождении солнца чудные музыкальные звуки. Во время поездки по Нилу случился между спутниками его гражданин Мемфиса, один из посвященных мудрецов в таинства священных познаний. Об нем рассказывали, что он жил 23 года в подземных святилищах Изида, и, *следственно*, Изида и открывала ему чудеса магии. Прозывали его Панкратом. Сначала Евкрат не имел понятия, до какой степени могут простираться силы магии, но когда он увидел, что Панкрат всякий раз в полдень, чтоб прохладить себя от жара, бросался во всем платье в Нил, отдыхал на прохладном дне реки, догонял потом судно верхом на крокодиле и выходил из воды весь сухохонек, *следственно*...

— Позвольте, позвольте!..— вскрикнул один внимательный слушатель.— Извините, что перерву рассказ ваш... Мне кажется, что спать в воде можно и без посредства магии, потому что у нас простые колдуны мельники это делают. Вы мне напомнили один случай. Я еще был мальчиком, когда отец мой, отправляясь по должности на Мелекесские винокуренные заводы, взял меня с собою. Как теперь помню посреди страшных лесов большую мельницу и *став* несколько верст в окружности... ужас! извините... я невольно содрогаюсь, когда вспомню эти места и *чувашей*, которыми меня пугали... Насмотрелся я на чудеса! Вообразите себе, там был мельник... как вы думаете? бывало, возьмет подушку, да и в омут, и спит себе в воде часа два, три... Выйдет оттуда и как будто ни в чем не бывал...

— Так вот-с...— начал было рассказчик египетской повести...

— Извините-с, сейчас кончу... Этого мало; бывало, пустишь в ход все поставы да велишь глаза закрыть, чтоб не испугаться... Чудеса, да и только!.. Все колесы до одного закрипят плясовую песню, жернова точно как вири-сядку пляшут, а шестерня в лад прищелкивает... Но если б вам порассказать все, что он делает и чему я сам был свидетелем, никто не поверит!..

— Так вот-с...— продолжал первый толстяк, который с сердцем и с нетерпением ждал, когда кончится рассказ, прервавший его повесть...

— Извините меня, еще одно слово... Представьте себе, что в мучные анбары без него никто не смел ходить: крысы заедят... заедят!..

— Так вот-с,— произнес наконец тучный господин решительным тоном.— В Евкрате родилось желание короче познакомиться с этим дивным человеком. Вскоре он в этом успел, сделался его другом, научился у него многим тайнам. В Мемфисе он предложил Евкрату оставить всех своих слуг. «Это излишняя тяжесть,— говорил он,— и мы, *следственно*, обойдемся и без них». И в самом деле, каждый раз, когда останавливались они в гостинице, Панкрат брал веник или помело, надевал на него платье, произносил какие-то магические слова, и помело начинало прислуживать; никто не сомневался даже, что оно было не человек.

Этот чудный слуга всегда приносил им свежей ключевой воды, готовил кушанье, прибирал в комнате и, *следственно*, вообще служил с необыкновенной расторопностью и ловкостью. Когда же не было в нем необходимости, то Панкрат посредством таинственных слов снова обращал его в первобытный вид, в веник или помело. Как ни хотелось Евкрату узнать тайну подобного превращения, но никак не мог он успеть в этом. Египтянин скрывал ее. Однажды, засев в темный угол и, *следственно*, так, что Панкрат этого не заметил, Евкрат подслушал заклинания: это было слово, состоящее из нескольких таинственных букв.

На другой день, когда Панкрат пошел на торжище, Евкрат, нарядив помело в свою одежду, произнес магическое слово и приказал помелу принести воды. Помело пошло за водой, принесло воды и снова отправилось за водой. «Постой! — кричал Евкрат.— Довольно уже воды, больше не нужно!» Но помело не внимает ему, знает себе но-

сит да носит воду и, *следственно*, затопило бы весь дом. Евкрат испугался; не зная, что делать, схватил он топор, перерубил помело надвое; глядь — оба конца берут по ведру и начинают снова носить воду. Евкрат сзывает домашних людей, чтоб уняли водолеев. Все бросились на них, ухватили за платье, за руки, за ноги, а так как водолей было помело, то, *следственно*, растянули его на части по пруту; глядь — прутья подхватили клочки одежды, накинули на себя, вбежали к бочарю, жившему по соседству, растащили у него все ведры и коромысла, пошли за водой на реку, носят воду. Евкрат со страха, убоясь мщения Панкрата, скрылся; народ пал на колени и просил Изиду и Озириса, чтоб они взяли двух водолеев обратно в зодиак небесный и, *следственно*, спасли бы город от потопления. К счастью, пришел Панкрат, понял, в чем дело, и унял водолеев, обратив их в помело.

— О, это древнее чудо! — вскричал Ксаверий Астафьевич.

— *Следственно*, видите, господа, о каком происшествии упоминает древность. Это мне рассказывал человек достоверный, читавший древнюю греческую рукопись.

— Напрасно вы так подробно рассказывали эту греческую басню, ее можно короче прочесть у Гете, — сказал Северин.

— Басню, вы полагаете? *Следственно*, вам покажутся невероятными и чудеса, которые делал Брюс? Однако ж мой дед собственными глазами видел *песчаного человека*, и, *следственно*...

— Пожалуйста расскажите, я что-то слыхивал про это, да не верится...

— А вот видите... Должно знать, что дед мой был в денщиках у Петра Великого. «Ну, Филат, — сказал он однажды ему, — поедем-ка к колдуну Брюсу». У моего деда так и затряслись поджилки. Как это, думал он, *следственно*, его величество едет к колдуну? Приехали к Сухаревой башне, вошли под самый шатер; вдруг показался из другого покоя высокий, бледный, тощий человек и поклонился низко государю. Дед мой так и вздрогнул, как увидел сквозь дверь скелета да разные каббалистические инструменты. Только что государь вошел в комнату, двери захлопнулись, заперлись на ключ. Мой дед, как ни боялся колдуна, подкрался, однако же, на цыпочках к двери, прислушивается... говорят что-то непонятное, *следственно*, на

тарабарском языке. Потом государь Петр Великий громко сказал: «Ну, Брюс, вели-ка своему *песчаному* сварить мне кофью». — «Сейчас, ваше величество!» — отвечал Брюс. Не прошло минуты, вдруг слышит дед мой, что идет *песчаный человек*, стучит стопами об пол.

— Здорово, *песчаный!* Что твоя голова? — спросил государь.

— Болит, государь, точно как будто кто булавку воткнул в темя, — отвечал *песчаный человек*.

— Славный кофий! Ай да *песчаный!* — сказал государь и с этими словами встал с места, и, *следственно*, дед мой отскочил от дверей и ничего уже не слышал, что происходило потом... Однако ж из этого вы можете видеть, что анекдот известный про Брюса, что он делал из песку людей и оживлял их, втыкая в голову булавку, действительно справедлив...

— О, я верю, что у Брюса был денщик Песчаный, которого, однако же, верно, не он сделал, — сказал Северин.

— Как угодно, так и думайте; но я полагаю, что вы также слышали, что в шатре Сухаревой башни есть комната, в которой волшебные книги Брюсовы залиты свинцом. Это так верно, как я сижу на этом месте, и, *следственно*, удивительно ли, что Брюс, зная черную магию, делал людей из песку и оживлял их, втыкая магическую булавку в голову.

— Достоверность, конечно, и в этом есть. Но я вам и забыл было рассказать чудное событие с моим шурином; уж этому я, живой человек, свидетель. Прежде всего должно сказать вам, что в южных губерниях отдаются деревни на посессию. Вот шурин мой и взял одну деревню на посессию и сверх того купил заочно в этом же имении лес на вырубку, так дешево купил, что и сказать нельзя. Объехав имение, он порадовался покупке: огромный лес над самым Бугом!

«Ну, ребята, — сказал он, собрав весь мир сельский, — падо приниматься рубить рощу, чтоб успеть к зиме отправить водою в Одессу». — «Как можно, пане? — отвечают ему староста и старики, — да в этом лесу отцы наши сука не срубили, и мы не срубим». — «Как?» — «Да так, лес заповедный». — «Заповедный или незаповедный, а он мой». — «Какой твой, то панский лес». — «Да я купил его у папа». — Купил у пана грабе¹, да не купил у *Каменного*

¹ графа (*польск.*).

пана». — «У какого Каменного пана?» — «А что, люди говорят, стоит на высоком холме *модла его пиреная*¹». — «Что за *модла пиреная*?» — «Да, примером сказать, чертов болван, красный; отцы наши носили ему десятину волею, а мы неволею носим со скота, с дворовой птицы, с посева, с печеного хлеба, масла, молока, словом единым, со всего; продашь ли что в городе, со всего неси долю десятую, а не понесешь десятую, весь хлеб погорит, весь скот опаршивеет, у всей птицы типун на языке сядет, вместо молока у коров сукровица, куры начнут кричать петухом, а уж то не добро, пане».

Шурин захохотал, услышав про эти чудеса. «Ну, — сказал он, — с этого дня не будем платить болвану десятины». — «Бог ведает, боярин, — отвечает ему, — лучше бы ты оставил добром чертов лес да послал от себя в дар *модле пиреной* пары две коров из стада; уж были у нас такие два ксендза, что стращали выжить *Каменного пана* с холма, да не рады были жизни своей». — «А что же случилось с ними?» — спросил шурин. «И сказать не можно». — «Говорите!» — «Не можно, никак не можно, пане!»

«Плутовство!» — думал шурин мой. И на другой же день приказал он отправиться всей деревне с топорами рубить рощу.

Вечеру староста со всем сельским миром пришел к нему, все охают.

— Измаялись, боярин, топоры притупились, переломались, а деревья не срубили: железо, да и только! а сами руки не поворошим, словно кто кости перебил...

«Мошенничество!» — думал недоверчивый мой шурин. — Завтра сам я еду, будете при мне рубить!

— Как изволишь, ни сил, ни мочи, ни топоров нет, — отвечают ему.

В самом деле, у всех топоров до одного лезвие, как обух, тупо.

— Коня! — вскричал мой шурин на другой день, но вдруг приходят пастухи, бросаются ему в ноги. — Что такое? — Стадо панское ушло за черный яр, сгнуло, да пропало! — Как пропало? — Пропало; люди говорят, оттуда возврата нет. — Коня! — повторил мой шурин вне себя, — все за мной верхами!

¹ идол каменный красный (прим. автора).

Все бросились в ноги.— Помилуй ты нас, отец родной! *Модла* всех нас передупит.

Не слушает шурин, велит подавать копя. Конюхи бросились в конюшню... Ни один конь в руки не дается... не подпускает... бьет и задними, и передними. Поднялось страшное ржанье. Все вон из конюшни.

Как шурин мой ни был недоверчив ко всему сверхъестественному, но призадумался: не знает, что делать. Настал вечер, страшно стало ему одному в огромных покоях панского дома, но, преодолев страх, лег он спать... Вдруг, около полночи, слышит... что-то идет по комнате, точно как огромный камень... с места на место переступает, пол так и трещит, на дворе старый пес залаял, потом завыл.

Не успел шурин мой дернуть за колокольчик, чтоб кто-нибудь пришел... вдруг точно гора упала и сдавила его своей тяжестью...

С этой минуты он уже ничего не помнил.

В страшной горячке и в бреду только и слышно было от него: вот, вот он, *Красный каменный пан!* Ох, да помогите ему, чтоб не сжег меня! скажите, что я дам ему десятину со всего!..

Выздоровев, он стал молчалив, ни с кем ни слова, только одно повторял: скорее, скорее собирайтесь в дорогу!

Нечего было делать, собрались, уехали; деньги, отданные за посессию и за лес вперед, пропали.

Долго не говорил он нам причины, по которой оставил посессию. Наконец года через два, поправившись совершенно, с ужасом рассказал он все случившееся с ним в том виде, как имел я честь изложить. Согласитесь же сами, тут есть что-то сверхъестественное?

— Так много сверхъестественного, что я полагаю большую часть из всего этого бредом горячки! — сказал Северин.

— Вы, я вижу, рождены с тем, чтобы ничему не верить; вы не верите даже в симпатию? — сказал рассказчик.

— Вы ошибаетесь, я верю в симпатию душ.

— А! так вы верите в симпатию любви? верите в то, что испытали сами, верите, что между вами и невестой вашей есть какое-то сродство душ?

Северин вспыхнул, не знал, что отвечать, как будто эти слова показались ему колкой насмешкой.

— Отчего же вы не верите симпатии лекарств, снам и привидениям? Привидения также есть явления симпа-

тии; душа бессмертна, она может и за гробом любить и не любить.

— Ох, это правда! — произнес, вздохнув, будущий тесть Северина. — Прежде я и сам не верил снам и тому, чтобы люди после смерти навешали тех, которых любили в жизни, но теперь верю, верю непреложно. Вот уже две ночи покойная жена моя является мне, и я недаром заболел...

— Каким это образом?.. Полноте, Ксаверий Астафьевич, это воображение, что вы это придумали? Возможная ли это вещь? — вскричали все верователи в привидения по очереди, желая разуверить старика.

— Нет, не придумал... не воображение, — продолжал старик. — Две ночи сряду садовник видел женщину в саване, которая входила в самую полночь в дом, между тем как дверь в сад заперта внутри... Жучка бросалась было на нее с лаем, но только что подбежит... вдруг начнет ластиться и визжать от радости. Покойница любила ее, да и садовник сказал: «Ну вот, словно покойная барыня, сударь...» Я бы и не поверил ему, если б и сам не видел... Только что заснул вчера, вдруг покойная жена подходит к постеле моей... вот как теперь смотрю на нее... в любимом моем капоте с фалбарой да в чепчике с алыми лентами, а в руках ридикюль да носовой платок; подошла да и говорит: «Где, мой друг, моя золотая табакерка? дай понюхать хоть своего табачку». Я было схватился под подушку достать табакерку, глядь, она исчезла; меня так и обдало ужасом, до утра не мог глаза сомкнуть...

— Да это просто сон, Ксаверий Астафьевич.

— Нет, сударь, не сон. Во сне человек не говорит, а я, как теперь, слышу ее слова. Мы дружно жили. Бывало, покойница говорит: «Смотри же, мой друг, как умру, душа моя придет навестить тебя и дочь...» Вот и исполнила слово свое! О, меня никто в этом не разуверит.

— Если привидение являлось две ночи сряду, то должно явиться и в третью ночь, — сказал Северин, — так водится у привидений. Позвольте мне провести эту ночь в вашем саду: если садовник мог видеть привидение, то и я, верно, буду столько же счастлив.

— Пожалуй, мой друг, я не препятствую твоему страшному желанию; к чему только это послужит?..

— Полноте, Северин Петрович, оставьте, милый, ваше намерение. Вы знаете, какие несчастные случаи бывали от испуга: покойник не то, что живой.

— Живые страшнее покойников, — отвечал Северин. — Притом же мне хочется посмотреть на ходящих покойников.

— Нам, я вижу, не отговорить вас; но если б знала об этом намерении ваша невеста, достаточно было бы ей нежно взглянуть, чтобы вы поверили всему на слово.

— Я, однако же, прошу, чтоб об этом никто не знал до завтра, — сказал Северин.

Все дали слово хранить молчание.

— Кстати, рассказал бы я вам случай с одним из моих знакомых, но уже поздно, одиннадцать часов, а в полночь вам должно быть на стороже.

И гости Ксаверия Астафьевича пожелали ему покойного сна, а Северину бодрствования, обещая на другой день приехать осведомиться о последствиях его предприятия.

Когда все удалились, кроме Северина, Елена вошла в комнату.

— Прощайте, батюшка, — сказала она тихим голосом, целуя руку отца.

— Покойной ночи, милая Елена! — произнес старик. — Что это? ты как будто не в себе? нездорова, мой друг?

— У меня ужасно голова болит, я хочу раньше лечь, — отвечала Елена. — Прощайте! — прибавила она, обратясь к Северину.

Северин поцеловал у нее руку.

— Поцелуй его, мой друг, как должно; что за церемония между женихом и невестою.

Но Елена уже скрылась.

Северин остановил взоры на дверях и вздохнул.

— Она, бедная, что-то очень нездорова вот уже третий день.

— Прощайте, — произнес Северин почти таким же томным голосом, каким сказала это слово Елена.

— Куда? домой?

— Нет, — отвечал Северин, удаляясь.

— Добрый молодой человек, — заговорил сам с собою старик, охая от боли. — Елена, однако ж, кажется, не любит его... Оно и не удивительно: армейские мундиры не в силе в столице. Разумеется, что девушке хочется, чтоб муж, кроме молодости и ловкости, имел также и богатство, и вес в свете, ну а Северин хорош, да прост: все состояние

его в моих руках, жених, а поневоле пешком ходит и носит старенький мундирчик. Я бы и не выдал за него, да сто тысяч отдать в чужие руки! избави боже! да это все, что я скопил на приданое дочери. Конечно, если б минул десятилетний срок заемного письма... я бы даже медлил свадьбой... потихоньку дело бы разошлось, срок бы между тем прошел... О, тогда от моей бы воли зависело!.. стал бы платить частями... кто бы меня принудил!.. а теперь, избави боже, отступится сам, да протестует... Ох! бог знает, что в голову мне идет... Ай! что это? Господи, Иисусе Христе!.. Покойная жена из головы не выходит, так и кажется, что идет за мной...

Свалившийся нагар с почника вдруг осветил комнату и был причиною испуга старика, но он скоро забылся беспокойным сном.

Между тем Северин, вместо того чтоб идти домой, пробрался тайно в сад и скрылся за кустом синели подле самого крыльца. Ночь была лунная, но темная; густые облака заволокли небо, городской шум утих, не мешал соловью заливаться между столетними деревьями старинного сада; только изредка проносился зыблущийся стук дрожек. Это было время кипения страстей в большом свете, время, которое мирит красоту с безобразием.

Северин не сводит глаз с каменной лестницы, боится, чтоб привидение не промелькнуло даже во время мгновения ока. Он уже теряет терпение, внутренно смеется сам над собою, что хочет видеть наяву сны суеверных.

Но вот эмблема *Софии Премудрости*, превращенная в сову, захлопала крылами на соседнем дереве и устала горящие очи на Северина; в глуши что-то взвыло, струя холодного ветра зашелестела листьями... что-то щелкнуло, как будто ключ повернулся в замке... Северин вздрогнул... ему показалось, что двери, ведущие в сад, отворяются... Луна выкатилась из-за тучи, из дверей появилось что-то похожее на привидение... на привидение, не отжившее еще на земле.

Это было *не покойное существо*, ибо оно беспокойно осматривалось во все стороны: нет ли кого живого?.. тихими шагами спустилось с крыльца, чуть прикасаясь к земле, понеслось вдоль крытой аллеи. Едва переводя дух, Северин крадется по опушке между деревьями вслед за ним.

В конце аллеи, из густой клумбы появилось другое

привидение; но это было мрачно, как дух-соблазнитель, окутанный в ночь.

— Елена! — произнесло оно шепотом.

Северин это слышал.

Оба привидения слились в одно, исчезли в глубине дерев и ночи.

Северин это видел.

Глухой стон вырвался из груди Северина. Он сложил руки на груди, прислонился к дереву, стиснул очи, как будто весь мрак и все прошедшее озарились перед ним яркою молниею.

Вот и счастье! Любишь, любишь, любишь... и вдруг — нельзя любить.

В этом положении, опустив голову на грудь, Северин без мыслей, без памяти, простоял до восхода солнца, которого первый луч блеснул на слезе его, скопившейся под зеницею.

Лай собаки вывел его из этого беспамятства; преследованный ею, он шел по аллее к дому.

Может быть, это сон, блеснула мысль в душе его... Он приблизился к крыльцу... Двери отворены.

— Нет, не сон! — произнес он решительно и, переломив грусть свою, вошел в комнату.

Ксаверий Астафьевич уже проснулся. Человек, посланный от него, встретил Северина и просил в спальню к барину. Бледный вошел к нему Северин.

— Что с тобою сделалось... Северин Петрович? — произнес старик. — Ты видел!..

— Видел, видел! — отвечал Северин глухо, задыхаясь от прилившей к сердцу крови, и как изнеможенный бросился на стул, закрыв лицо руками.

— Полно, мой друг, да не-уже-ли покойница?.. Полно, мой друг, мы шутили... Возможное ли дело, чтоб покойницы являлись.... тебе показалось со страха... слышалось.

— Нет, не показалось, не слышалось! Прощайте! — вскричал Северин, вскочив с места. Он сжал старику руку и вышел скорыми шагами вон.

Старик остался в недоумении и ужасе: он как будто видел уже перед собою и смерть, и все разрушенные планы свои.

В этом положении застали его все приятели, приехавшие узнать о последствиях предприятия Северина.

— Ну что? Ксаверий Астафьевич, каково провел ночь? Где же храбрец Северин? А? что с тобой?

Старик не отвечает, мутными глазами смотрел он на всех; наконец, как будто получив слабое употребление языка, промолвил:

— Дочь мою позовите ко мне!

Слуга бросился в комнату Елены. Девушки забежали. В доме поднялась суматоха.

— Где барышня? — спрашивают все друг у друга.

— Елена! — повторил старик.

— Пойдемте, господа, — прошептали друг другу приятели Ксаверия Астафьевича. — Пойдемте! здесь не будет добра. — И все, один за одним, на цыпочках выкрался из спальни... Они поступили по турецкой пословице: «Во время беды ищи двери».

Прошло около двух лет, во время которых вспыхнувшая новая война открыла Северину путь к почестям. Но Северин не искал почестей; он был мрачен, равнодушно смотрел на жизнь. В битвах шел он на видимую смерть как в объятия друга, но и смерть, как привидение сада, бежала от него.

После кампании полк его расположился на временные квартиры в одном из местечек Каменец-Подольской губернии.

Однажды грустный, полный воспоминаний, ходил он по местечку. Столпившиеся близ корчмы уланы и народ обратили его внимание.

— Что такое?

— Да вот, ваше высокоблагородие, дурочка; а как важно поет да пляшет.

— Ну-ко, спой еще, Аленушка!

Дурочка запела:

Зовут меня Аленушка,
И сиротинка я;
И далека сторонушка
Родимая моя.
Как птенчик, сер воробушко,
Упала я с гнезда,
Скатилась, словно с небушка
Падучая звезда.

Ужас пробежал по членам Северина, когда он взглянул на Аленушку. Это была девушка лет осьмнадцати,

Бледная, со впалыми очами, в рубище, длинные волосы висели почти до колен, на руках держала она как будто младенца, завернутого в платок.

— Боже мой! Не она ли это? — произнес Северин почти вслух, пристально всматриваясь в Аленушку.

— На кусочек хлебца, Аленушка, — сказал один из толпы, подавая ломоть.

— Не надо, — отвечала она, — дай молочка ребеночку, мне нечем его покормить: вот посмотрите сами, все высохло в груди...

Вся толпа захохотала, а в сердце Северина копились слезы.

— Попляши, так дам молочка, — кто-то сказал.

Аленушка заплясала, припевая:

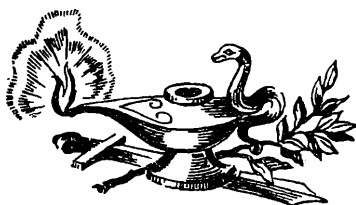
Во сыром ли во бору,
Ранымь рано поутру,
Я сбирала мухоморы
Про милова моего!
Каково!
Во зеленом во саду
Я плясала под дуду,
Я ногой плела узоры,
Становилась на дыбы,
Ай грибы!

— Нет, не она! не она! — произнес Северин, тяжело вздохнув и медленно удаляясь от толпы.

Из ближнего дома вынесли молока в чашке и подали Аленушке.

Она присела на землю, откинула платок, у нее на руках был тощий котик; она посадила его к чашке молока и зацела!

Котенька, котенька,
Серенькой, серенькой,
Изогнулся кот кольцом,
Лапу поднял костылем.
Моется котенька,
Ластится серенькой,
Кот мурлычет, кот поет,
Кот гостей неожиданных ждет.



Бедная! Кто узнает, что у нее на сердце? Она молчит: у нее нет друга. В 16 лет так свойственны душе мысли, сердцу чувства и желания: они переполняют края и не смеют излиться, они кипят, как в водовороте, и не смеют шуметь посреди шума людского. Бедная! Везде для нее уединение. Благоединие приютило ее с малолетства, обуло, одело, кормит ее, учит всему, учит быть добродушной, покорной, учит жить не по своей воле, внушает в нее скромность, вкореняет чувства благодарности. О, сколько задолжала она своим благодетелям; ее природная красота взлелеяна, ум развернут, одарен всем блеском образования, ее понятия благородны, душа готова сочувствовать любви и дружбе, но это все принадлежит не ей: она ничем не имеет права располагать, ничем не может пользоваться; в ней все под замком, и она сама, как ключница, подает то из вверенных ей богатств, что потребуют. Ее всю закупило светское великодушие. Спросите же у него, кто она: амбра или мускус? «Это грязь,—скажут,—но она папилась нашим благовонием». Как прекрасен стан ее, который так осторожно носит роскошную одежду из боязни, чтоб не упрекнули в небрежении чужого добра; как хороши ее каштановые волосы, причесанные гладко, скромно; но они не распустятся локонами, чтоб не назвали это кокетством. Как томны ее черные глаза; но взоры, эти стрелы без лука, падают к собственным стопам. Как цветущи уста ее, но они как будто созданы только для ответа. Как чист, приятен звук ее голоса; но не орган ли она, который заводят по воле и на веселую и на грустную песню? А вся она — милое существо! Если б жив был Аппеллес, он на-

рисовал бы ее посреди общего пира, облеченную в золотые ткани, но окованную не цветами, а железом. Дитя-любовь припало к ее стопам, обняло их, прилегло головкой к плечу и плачет.

Она со всеми и отстранена от всех; в толпе сверстниц она не подруга, в гостиной без голоса, повсюду без воли. Прилично ли ей участие в жизни того круга, в котором она приемыш, к которому привило ее благодеяние? У ней нет родных, но есть благодетели, для нее нет ни судьбы, ни счастья, но есть покровители; и какого счастья желать ей более? Оно уже излило на нее все дары свои: бесприютная сирота принята в дом, одарена всеми потребностями жизни; чего ж желать ей? Она за одним столом с богатством и почестями, для ночлега ей отведена теплая комната, ей платья шьют иностранки, ее возят с собой в карете. Чего еще ей остается желать, если она сравнена по образованию и по одежде с людьми значущими в свете? Нужно ли ей желать богатства, этого всеобщего идола, если она пользуется всеми дарами его? Как она счастлива! Счастлива; только ей нельзя забываться: она бы забылась, если бы решилась обнаружить свои чувства, ум и желания; она бы забылась, ей бы напомнили не то, что она есть, но что была, если бы она дала себе цену; ей бы напомнили о чем-то страшном: несколько слов, сказанных безжалостно о милосердии, совершившемся над ней, могут заставить увянуть цветущую ее молодость. Бедная! Кто из окружающих тебя понял тебя? Кто из свидетелей твоего молчания, посреди общего шума, был свидетелем твоих чувств? Кто был глух к ликованию беспечных и прислушивался к внутреннему голосу твоей души?

Есть ли о чем ей грустить: ей говорят, что она всем снабжена, всем одарена. Ее не учили грустить, но где же научилась она грусти? Может быть, с пятнадцати лет сама природа нашептала ей про иное счастье? может быть, сравнила она свою участь с участью подобных себе, равных ей по красоте тела и души? может быть, она попыла, взвесила себя? Но грусть ее была так тиха, так молчалива и таинственна для всего окружающего. Заботятся ли люди понять душевные нужды? или думают они, что только тело требует пищи и приюта, а у души нет жажды, а сердцу не нужно постороннего пламени?

Тиха была ее грусть, мирна была жизнь ее; она, кажется, приучила душу свою ко всем недостаткам, привыкла жить по чужой воле, по чужому вкусу, по чужим желани-ям, применилась ко всему. Но вдруг однажды, едва ру-мяное утро прояснило природу, вбежала она в избу садо-вого сторожа, бледная, испуганная, в слезах; волосы ее в первый раз распустились в беспорядке по плечам.

— Ольга Владимировна! — вскричал старик Андреян, увидев ее как неожиданную гостью.

— Андреян, Андреян! — проговорила она.

— Барышня, что с тобою?.. чего ты испугалась?..

— Скрой меня до ночи...

Она не могла продолжать и, как изнеможенная, в бес-памятстве, припала на колени перед стариком.

— Боже, царю небесный! Что с тобой сделалось, ба-рышня!.. Ох, да встань же... Да чему случиться?.. ты, верно, нездорова, барышня? постой, я кликну...

— Нет! — вскричала Ольга, схватив его за полу.— Я здесь останусь до ночи, ночью уйду отсюда, куда глаза глядят!..

— Ольга Владимировна,— продолжал испуганный Андреян,— послушай старика... не огорчайся... Если ба-рин или барыня рассердились на тебя, то простят... Они же тебя любят как родную... ей-ей любят! пойдем, Ольга Владимировна, я сам готов упасть за тебя в ноги госпо-дам, чтоб умилились, весь дом станет молить за те-бя... Да встань же, Ольга Владимировна!..

И старик повалился в ноги перед стоящей на коленях Ольгой.

— Обещай исполнить мою просьбу...

— Да встань же!.. Ну, божья святая воля! Что хочешь, только встань!..

— Скрой меня! — повторила Ольга.

— Ольга Владимировна, ты, верно, сроду не видала над собой грозы...

У старика капнули крупные слезы из глаз; он не знал, что подумать о бедной Ольге, он никогда не видывал та-ких слез.

«Верно, барыня рассердилась на нее, приказала оста-вить дом...— думал он.— Да за что ж на нее сердиться? Господи! Если уж на нее сердиться! Да нет, барыня... нет, она не то, чтобы добра, да не сделает этого... разве барин вспылит... он зол... Оба любили ее как родную дочь... То-то,

не свое, верпо, детище! и жалости нет! Вот, да и только!..»

В избе Андреяна, которая находилась в глубине сада, была только лавка да койка, на припечке горшочек, на столе сукрой хлеба, обвернутый в чистое полотенце, в переднем углу висел медный складен... Под ним села Ольга, закрыв руками лицо...

Бедная! кто узнает, что у нее на сердце? Она молчит, плачет без жалоб, у ней нет друга. Зачем она здесь? Отчего покровители ей только бог да старый Андреян? Надолго ли приютило ее великодушие под свой роскошный кров? обеспечило оно ее судьбу, чтоб одно мгновение лишило ее этого временного мирного сна посреди мнимого довольствия жизнью? Кто знает причины, по которым с ужасом взглянула она в последний раз на сень своего младенчества? Все оставила она в нем, что ей не принадлежало, вынесла только душу и тело, но и то прикрыто чужой одеждой, за которую могут упрекнуть ее... И еще она унесла с собою образование, чужое образование, и память о прошлой жизни, унесла с собой привычки, не свойственные хижине, в которой она ищет теперь убежища.

Вдали послышались голоса.

Ольга очнулась с испугом, прислушалась...

— Идут, идут!.. — вскричала она. — Андреян... скажи, что меня здесь нет... скажи это...

И Ольга сложила руки на груди, встала перед ним с безмолвной, пламенной молитвой.

— Ольга Владимировна! — раздался женский голос близ самой хижины.

Старик испугался, вышел навстречу.

— Не видал ли, Андреян, Ольги Владимировны? Барыня спрашивает, а ее нет... Бог знает, где она!..

— Нет, не видал... не видал, — отвечал старик, стараясь произнести эти слова твердым голосом.

Заботливая беготня людей по саду для отыскания Ольги становилась более и более слышна... Андреян стоял подле дверей своей хижины, как окаменелый.

Несколько человек пробежало мимо его, повторяя вопрос: не видал ли ты барышни?

— Не видал, — отвечал он, — не видал!..

Сердце старика сильно билось: никогда не произносил он несправедливого слова, никогда не знал такой боязни. Но вот послышался голос самого барина. Старик, схватив метелку, начал мести около хижины. Несколько минут сто-

ял он, не двигаясь с места и не смея поднять глаза; но наконец вокруг него все утихло, он осмотрелся, перекрестился, и глубокий вздох облегчил его душу.

Он вошел в хижину, осмотрел все углы... никого нет.

— Ольга Владимировна! — прошептал старик.

Никто не отвечает.

Вышел в сени, осмотрел все углы, снова повторил: Ольга Владимировна!

Нет ответа.

— Царю небесный, где же барышня!.. Верно, ушла она... ушла! Умири, господи, гневное сердце!.. помилуй ее!

Успокоясь, старик разложил огонь, стал готовить себе скудный обед... Пообедал, лег соснуть; после отдыха принялся за работу — чинить свою обувь. Между тем день потух. В единообразной жизни старик не жаловался ни на долготу, ни на краткость дня. Когда потемнело, он снова принялся раскладывать огонь. Вдруг дверь скрипнула, приотворилась тихо; он вздрогнул и в первый раз перекрестился от страха: что-то белое мелькнуло сквозь приотворенную дверь, блеснули чьи-то глаза.

Дверь отворилась более; это была Ольга, но она боялась войти, чтоб окно, освещенное огнем очага, не изменило ей.

— Андреян! — произнесла она тихо.

— Ольга Владимировна! Где ты была?

— Андреян, — повторила Ольга, — благодарю тебя за приют... Но еще просьба моя к тебе: отвори мне калитку сада...

— Куда ты пойдешь?.. Помилуй меня старика, выслушай праведное слово, воротись домой!..

— Ты обещал исполнить мою просьбу...

— Нет, не пущу!

— Ты погубишь меня! — продолжала жалобным голосом Ольга.

— Не пущу, не пущу одну!.. Бог накажет тех, кто обидел тебя. Ты теперь сирота, да и я старик-горе; уж если нет тебе приюта в этом доме, пойду и я с тобой, бог помилует нас; а одну не пущу!

— Нет, не хочу этого! У тебя есть своя кровля, ты здесь на родине...

— Где она, моя кровля, когда только и видится во сне, что не в добрый час скажут: чтоб твоя нога не была

здесь!.. Пойду; не хочу дожидаться, покуда стонят с пригретого места... Чтоб тебя пустил я одну! Да у меня хлеба душа не примет... Ты идешь—пойдем вместе. Бог с ними! На свете не без добрых людей.

— Что мне делать?..— проговорила Ольга.— Ты мой покровитель...

Бедная девушка припала к груди старика и окропила ее слезами.

Андреян также прослезился.

— Барышня,—сказал он, проникнутый неведомым для него чувством,— я еще до сих пор не знал, как сладко иметь детей! В жизни не слышал такого ласкового слова, какое ты сказала мне!..

Слова его прервались от рыдания.

— Да как же ты пойдешь, барышня, в этом платье? Люди признают тебя...

— И эта одежда не моя...

— Знаешь что? пойду я, возьму у кумы свиту, скажу, что племянница пришла... Она ни слова не скажет... Обожди же меня, барышня.

И старик, схватив шапку, побежал. Ольга присела в углу: горящий в печке огонек слабо освещал скудную избу. Душа Ольги наполнена не воспоминанием, не сравнением прошлой жизни с настоящею участью; ни о чем не жалеет, а желает только одного: скорее удалиться, бежать от счастья, которым наделяли ее люди. Грудь ее стеснена не боязнию о будущей судьбе своей, но страхом, чтоб ее не воротили к подножию милостей, требующих страшной платы: бесчувствия к самому себе.

Андреян скоро воротился, принес наряд Ольге: белую новую свиту, шитую в узор снурками, принес повязку и покрывало.

— Оденься скорее, Ольга Владимировна; покуда не взошла луна, уйдем отсюда, чтоб не встретить кого...

И он помог Ольге надеть свиту сверх платья. Ольга повязалась, надела сафьяновые черевички, накинула покрывало; а между тем Андреян собрал в котомку все свое богатство, запасся хлебом, перекинул тулуп через плечо, взял костыль... готов — и Ольга готова.

— Присядем же, барышня, на дорогу. Благослови, боже, сирот бесприютных, «живый в помощи выпшнего, в крове бога небесного...» — И старик прочел весь псалом, перекрестился, припал к земле... а Ольга, в крестьянской

одежде, как дочь, последую примеру отца, также молилась, также припала к земле.

Кончив теплую молитву, Андреян, сняв образ, поцеловал его, дал поцеловать Ольге и повесил на шею.

С трепетом вышла Ольга, придерживаясь за старика, из хижины. Вдали сквозь деревья виден был свет в окнах дома. Боязливо отклонила Ольга взоры свои от этого света. По дорожке, идущей подле забора, пробрались они до калитки. Осторожно отпер ее Андреян, а Ольга торопливо выбежала в нее из-под мрачных навесов деревьев. Перед нею широкое поле; свет лунный зарит из-за дальнего леса; по равнине местами разостлался туман. Ольга не узнает знакомой ей природы, ей кажется, что перед нею стоят пространные озера.

— Куда идем мы? — спрашивает она, придерживаясь за Андреяна.

— До света нам дойти бы до лесу, а там хоть в погоду за нами.

Берега мнимых озер удаляются от Ольги. Вот она оглянулась... и сад и дом ее благодетелей видны уже как будто на острове посреди вод. Не принимая пищи в продолжение целого дня, истомленная горем и непривычкой ходить, Ольга едва переступает.

Молча идут они, как будто боясь еще говорить, чтоб кто-нибудь не узнал их по голосу и не выдал беглецов.

С востока небо стало проясняться, туманы слились в облака и заставили отдаление, как седые хребты гор. Путешественник, посетивший разнообразную природу земного шара, проезжая тоскливо по плоской возвышенности, принял бы их за подобию Альпов, обитель фей, где рыцарство свивало некогда на неприступных скалах гнезда свои, обвивая их лозами винограда, или за священный Гималай, этот великий храм бога Шиве, усеянный молебницами, чудными пещерами и ликами божеств, иссеченных из громадных скал, или за холмы Галлии, над которыми раздавались бряцания невидимых арф, удары мечей в звонкие щиты и тихие песни Сельмы в мерцающих посреди утренних туманов хороводах дев Локлинских. Или, может быть, очарованный путешественник принял бы чудные образы облаков за Гиперборейские горы, в которых обитали некогда земные счастливцы, не знавшие ничего в жизни, кроме радостей, пиров и песен.

Но очарование исчезает с восходом солнца; утренний

ветерок развеивает облачные горы; лучи дня стелются по равнине, как по поверхности моря во время затишья.

Вот уже близок лес. Старик поддерживает усталую Ольгу. Под первым навесом дерева она падает на разостланную Андреяном свиту.

— Устала, Ольга Владимировна?

Ольга не в состоянии отвечать; склонясь на руку, она, как упоенная опиумом, засыпает.

Старик присел подле нее, вздохнул, как няня над больным ребенком, который наконец заснул после долгих страданий. Но, увидев восходящее солнце, Андреян осторожно приподнялся на ноги и стал читать про себя обычную утреннюю молитву, потом взглянул на Ольгу и стал молиться за нее.

«Как однообразно идет время!» — ропщут одаренные всем, что завидно в человеческой жизни. Перед ними блесит золото, за ними ухаживает дружба, увивается лесть, им кланяется в землю зависимость, платит десятину заемщик, молится нужда... а для них единообразно время! Сравните же прошлый день с настоящим, смотря на эту святую девушку: злобно выбросила ее судьба из высоких хором, как вещь лишнюю в обители избранных; вчера еще она дышала по милости людей ароматами гостиных, а сегодня, под кровом божьим, дышит прохладой утра.

Но недолог был мирный ее сон. Быстро повторилась в сновидении вся прошедшая ее жизнь, и вдруг вскрикнула она, с испугом вскочила с земли, бросилась к старику, озираясь мутными взорами в глубину леса.

— Господи помилуй! Чего ты испугалась, Ольга Владимировна?

— Его,— произнесла она, прижавшись к старику и еще боязливее оглядываясь.

— Эх, барышня, неужели ты веришь в леших? Ведь это просто сказки! Покушала бы ты теперь; спасибо куме, дала пирожка. Кушай, Ольга Владимировна, да не прогневайся, каков есть.

И вот Ольга полуднует, сидя на траве. Перед ней разостлано полотенце, на полотенце Андреян разложил разрезанный пирог, хлеб, в одной чистой тряпочке творог, в другой — соль.

— Кушай, Ольга Владимировна,— повторял он.

— Не зови меня так, зови меня просто Ольгой, своей дочерью...

— Не приходится, барышня. При людях дело иное: люди не знают тебя, а я знаю, что ты боярского рода...

Эти слова, как упрек, были неприятны для Ольги: и Андреяна она не могла называть отцом, и он отказывался от ее родства. К какому же состоянию принадлежит она? Где ей равные? Там не удостоивали, а здесь не смеют называть ее дочерью.

И Ольга промолчала на слова старика.

— Благодарю тебя за хлеб, за соль,— сказала она, вздохнув.

Андрейан собрал скудную трапезу, уложил в котомку, и они пустились далее по дороге, которая шла опушкой леса...

— Куда же пойдем мы? — спросил он.

— Не знаю; куда-нибудь, только дальше отсюда.

— Пойдем в город; там можно трудами добыть пропитанье.

— Я согласна; пойдем.

Несколько дней шли они до города, останавливаясь на ночлег в деревнях.

Подходя к заставе, Андрейан хватился паспорта, холодный пот обдал старика: паспорт остался у барина. Как испуганный, он вдруг остановился.

— Что с тобой, Андрейан?

— Ничего, барышня, ничего... На заставе, может, нас спросят: откуда? Мы скажем, что здешние. Слышишь, барышня, здешние.

— А если нас остановят?

— Ну, бог даст, не остановят... Бог поможет... Его небесная сила покров наш и заступник...

— Откуда? — спросил часовой у заставы.

— Здешние! — произнесли с трепетом и Ольга и Андрейан в один голос.

Их пропустили. Андрейан перекрестился, входя в город, однако же паспорт не выходил у него из головы. Что делать отставному солдату без вида? Везде его примут за беглеца, нигде не дадут другого приюта, кроме острога. А воротиться за паспортом уже нельзя: нельзя оставить Ольгу одну. И Андрейан не говорит Ольге о горе своем, идет городом в раздумье: что делать?

«Положусь на волю божью! — думал он. — Что пошлет, то и будет!»

Они зашли на постоянный двор. Андрейан не смел

просить особой комнаты для Ольги; заплатить было нечем.

— Хозяюшка, — сказал он тихо содержательнице заездного дома, — если б ты взяла мою дочку на свой покой? Она, бедная, не привыкла к черному пароду, жила все с господами, а вот теперь пришло с отцом горе мыкать... Уж я б тебе заслужил, хозяйюшка!.. А она у меня мастерица шить и в тамбур и всяким золотом и бисером.

— Да куда ж это ты ведешь ее, бедную?

— На свою родину, хозяйюшка, не останется от отца.

— Изволь, изволь. Пойдем, голубушка, ко мне. Как звать тебя?

— Да уж, хозяйюшка, и покорми мою дочку Ольгу.

— Вестимо.

— А что, кто здесь у вас начальник в городе?

— Городничий есть, да исправник.

— А что, добрый человек городничий?

— А бог его знает, добрый или нет; добр, как с поклоном придешь.

— Ну, а исправник?

— Вот уж это ангельская душа, на чужой кусок не зарится.

— Смотри ж, хозяйюшка, у тебя на руках моя дочка; я пойду паспорт предъявлю.

И старик, сдав Ольгу на поечение хозяйки, расспросил, где живет исправник, и отправился к нему. Страх волновал старика. Остановившись перед храмом, он прочел молитву.

Без затруднений впустили его к исправнику. При входе в комнату холод пробежал по членам, но, взглянув на человека, от которого он желал веры словам своим, старик ободрился.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — произнес он твердым солдатским голосом.

— Что тебе, старик? — спросил исправник.

— Вашего милосердия пришел просить.

Не говоря ни слова, исправник вынул из кошелька серебряную монету и протянул руку к Андреяну.

— На, возьми и ступай с богом.

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие.

— Что ж тебе?

— Милостыни не собирал, жил службой, а теперь в беду попал: потерял паспорт, ваше высокоблагородие.

— Что ж мне с тобой делать? Я тебе паспорт дать не могу.

— Поручительства вашего прошу я до присылки из полка другого паспорта... Бог милостив... Ваше высокоблагородие поверите служивому, а полиция не поверит, засадит в колодки до справок... В остроге ничего не выслужишь, а у меня на руках дочь, девушка-невеста, бесприютная... Жила в господском дворе, полюбила сначала господам, ее и воспитали, как родную, научили всем рукоделиям, словно барышню вели... а потом рассерчали и давай гнать... Вот я и не утерпел, взял ее да и пошел по свету горе мыкать. На грех оброни дорогой паспорт; ходил, ходил, искал, спрашивал у людей: не нашел ли кто? Нет! да и только... Помогите, ваше высокоблагородие, хоть бы какое местечко, чтоб прокормиться... Хоть в сторожка... не из большого...

И Андреян поклонился в землю исправнику.

— Изволь, мой друг, я сделаю это для тебя; если твоя дочь честная девушка, то и ее пристрою.

— Ах, ваше высокоблагородие, если б вы знали, что это за девушка! Бог свидетель, что я еще такой благочестивой и разумной на своем веку не видал...

— Если отец так хвалит дочь свою, то должно верить. Приведи ее сюда.

— Сейчас, ваше высокоблагородие! — вскричал обрадованный старик.

И он побежал в заездный дом.

— Ольга Владимировна, сударыня, пойдем вместе к исправнику: добрейший человек! Бог послал его нам.

— К исправнику! Зачем я пойду?

— Ах, барышня! Он обещал пристроить тебя к месту. Говорил я, что на белом свете не без добрых людей: что бы мы стали делать без него? Милостыню просить не приходится и старому служивому, не только что тебе, барышня.

Слово *милостыня* отдалось в сердце Ольги; убегая от вещественного довольствия в жизни, из дома, где слово нужда было непонятно, она еще не успела подумать о том, что предстояло ей в будущем. Слово *милостыня* вдруг напомнило ей все, предстоящее девушке, у которой ничего нет, кроме жизни, жизни цветущей, но которой легко увянуть без родства и покровительства. У ней есть покровитель, он все для нее готов сделать, готов пожертвовать со-

бою, он уже озаботился об ее счастье, он уже рекомендовал ее как дочь свою доброму человеку. Она нравится, ей предлагают место горничной — должность нетрудная: ходить за барышней, угождать ей, вести себя честно, не рыскать, не вести знакомства... И эти слова говорятя девушке образованной, которая может украшать собою круг избранных, просвещенных, и она должна это слушать, молчать, скрывать свои чувства, скрывать себя.

— Уговор лучше денег, — повторяет ей будущая ее барыня. — Прошу у меня не лениться, быть расторопной; белоручек я не люблю! Пять рублей в месяц жалования, а хорошо поведешь себя — к празднику на платье; случится, за хорошую услугу и свое отдам. Что ж ты, моя милая, молчишь? Хочешь или нет на этих условиях?

Андреян тут же стоял; и в нем эти слова перевернули сердце, и он почувствовал в эту минуту положение Ольги.

— Барыня, — сказал он, — уж без условий примите мою дочку; она не знает еще этих обрядов, бог не приводил еще ей терпеть нужду...

И старик поклонился в ноги важной супруге исправника, а у Ольги покатались из глаз невольные слезы.

— Изволь, пожалуй и без условий, по службе буду и награждать. Перевези же, милая, свой скарб: ты мне понравилась.

— Все, сударыня, что есть богатства, то на ней, — сказал мнимый отец Ольги.

Ольге велит барыня идти в переднюю.

И Ольга выходит в переднюю.

Прослезившись, и Андреян вышел.

Вот окружают Ольгу новые подруги. Называют ее также *милой*, приглашают обедать на кухне.

— Благодарю вас, я не хочу обедать, — отвечает им Ольга. Ее самолюбие начинало страдать, но судьба посвятила ее уже в новое состояние, и должно довольствоваться своей судьбой и этим новым состоянием, на каждом шагу сбавлять с себя цены, зажимать уста ропщущему сердцу, вытравлять зародыш каждого желания, слепнуть, глохнуть, неметь перед всем, что соблазняет чувства, тушить зарю каждой надежды и, довольствуясь недостатками и нуждами, принести себя добровольно на жертву ничтожеству.

С участью нет тяжбы. Предавшись участи своей, можно жить и в людской; оглашенные изгоняются из храма

не за преступление: можно молиться и на паперти. Но тяжело жить между враждующими, тяжело молиться посреди соблазнов. Можно знать свою обязанность, не отступать от нее, но трудно исполнять обязанности посреди хаоса; посреди хищных животных не место агнцу. Так и Ольга в первый день грустного новоселья своего испытала все, что убивает мир души. Толпа новых подруг ее учит уже ее всем ухищрениям нового быта, рассказывает ей подробно всю домашнюю подноготную, все отношения господ своих к городу, к семье и к дворне, все события, которые могут поселить ненависть к ним, все недостатки их и слабости, которыми можно пользоваться.

Ольга поневоле слушает, что говорится в четырех стенах, где судьба бросила ей войлок вместо ложа. Ольга молчит, смиренно покорствуя воле госпожи своей, другой день нейдет на зов к обеду. «Барышня!» — шепчут про себя ее товарки. И вот чрез несколько дней барыне уже пересказано, что Ольга белоручка, ни за что не примется, не идет на кухню обедать, хочет, чтобы ей носили обедать на девичью.

— Я тебя, сударыня, не в компаньонки наняла, чтоб за тобой ухаживали служанки! Для тебя особенного стола не будет! Прошу обедать вместе с прочими, на кухне!

Ольга покоряется. Ее усаживают за стол. Подле нее нет Андреяна, ее покровителя: он сторожем в загородном саду. Она краснеет посреди толпы дворни.

— Кушайте, Ольга Андреяновна, — говорит ей сосед ее, и Ольга вскрикнула, вскочила с ужасом из-за стола, бежит вон: грубая рука прикоснулась к ее плечу.

Проходит еще несколько дней. Ольга изнемогает от слез, которые льет она во время бессонных ночей. Она питается только черным хлебом.

«Нет, — думает она, — я пойду просить милостыню посреди дороги! Не останусь здесь!» — С нетерпением ждет она Андреяна, который через день навещает ее, но несколько дней Андрейн уже не является; Ольга в отчаянии.

Вдруг призывает ее к себе исправник.

— Милая моя, — говорит он ей, — отца твоего взяли в полицию; я поверил старому служивому, а он обманул меня: городничий получил уведомление, что отец твой скрылся без паспорта от господина своего и снес разные вещи...

Ольга, пораженная этой новостью, оцепенела.

— Нет, это неправда! — вскричала она. — Он ничего не взял чужого!.. Я порука за него!

Слезы брызнули из глаз Ольги, а лицо после мгновенной вспышки ужаса помертвело.

— Поручительство дочери, милая, не поможет.

— Спасите его! спасите! — произнесла она трепещущим голосом, скрестив руки на груди и устремив полный слез взор на исправника. Она поразила его этим взором, он с удивлением и с жалостью смотрел на Ольгу.

— Послушай, друг мой, — сказал он ей, — в подобном случае никто не может спасти отца твоего, кроме его господина; его только можешь ты просить, и он только может дать другой оборот этому делу. Я читал бумагу, доказательства явны: шесть лет панимался он у него и вдруг, оставив паспорт, без аттестата, скрылся. Что ж это значит?

— Он не виноват, не виноват; я знаю, что это значит... — вскричала Ольга.

— Так ступай и объясни в полиции, оправдай своего отца.

— Оправдать! — произнесла Ольга, не изменяя своего положения. Слезы ее вдруг остановились.

— Впрочем, милая, — продолжал исправник, — тебе не поверят; городничий и тебя задержит. Лучше последуй моему совету: торопись скорее к барину и проси за отца.

— Пойду, — произнесла Ольга, закрыв лицо руками, — пойду! Я хочу его видеть... я его погубила! — И она убежала из комнаты.

— Бедная девушка, — сказал исправник, провожая ее глазами, — она не похожа на солдатскую дочь.

— Что же ты нашел благородного в ее слезах? — спешиво произнесла исправница.

— Я тебе растолковать не умею, — отвечал он, — но, по крайней мере, за две недели службы ее у нас надо ей что-нибудь дать... У ней нет никакого вида.

— Да, — произнесла исправница колко, — но у нее приятная наружность и очень много благородства: она гнушалась даже садиться за стол с дворовыми людьми...

— Послушай, — сказал исправник посыльному, — ступай и вороти Ольгу ко мне.

Между тем как посыльный собирался отыскивать Ольгу, она прибежала к полицейскому дому.

— Скажи мне, где содержится Андриян... солдат? — спросила она у полицейского инвалида.

— Солдат? беглый?

— Да...— произнесла шепотом Ольга.

— Эге!.. Далеко он теперь: еще поутру отправили всех беглых в губернский город.

— Боже! — вскрикнула Ольга, всплеснув руками и обратив взор на небо.

Слезы копились и вдруг хлынули двумя потоками по бледному ее лицу.

— Что ж ты, сударыня, плачешь? а? Слезами не воротить милого дружка.

И полицейский солдат хотел взять ее за руку, приласкать... Ольга вздрогнула, бросилась от него... Как потерянная идет она по улице.

— Где почта? — спрашивает она у проходящих и бегом торопится к почтовому двору.

На почтовом дворе звенят колокольчики, ямщики запрягают и отпрягают лошадей. Ольга бросается к толпе их.

— Мне нужно нанять лошадей,— говорит она.

— Куда, голубушка?

— В село Р..... Только поскорее.

— Скоро ты больно! Аль по курьерской надобности?.. Изволь, я наймусь. Барыня, что ль, какая едет?

— Нет, я... я одна...

— Большая поклажа?

— Никакой!.. Довези меня, добрый человек, я отдам тебе все, что имею...

— Двадцать рублей дашь, так поеду.

— Возьми золотой мой крест, он стоит двадцать рублей, только вози меня скорее.

И Ольга сняла с шеи крест, отдала его в руки ямщику. Удивленная толпа окружила ее.

— Что, ребята, везти или нет?

Ямщики задумались.

— Да она, может, какая бегляшка?

— Где ж ямщик? — вскричал офицер, выходя с станции и садясь на повозку.

— Сейчас, ваше благородие.

— Что там такое?

— Да вот, бог весть, какая-то девушка нанимает везти ее, а заплатить нечем: доведи ее за крест золотой; мы и подумнились: верно, беглая...

— Стой!

Офицер соскочил с повозки, подошел к Ольге, которую окружили ямщики.

— Пустите меня! — кричала она, пробиваясь сквозь толпу.

— Полно! Сказывай, чья ты?

— Прочь! — вскричал офицер, растолкнув толпу. — Что тебе нужно, милая?

— О, защитите меня! — повторила Ольга жалостным голосом.

— Не бойся, милая, тебя никто не обидит!.. Что тебе нужно, мой друг?

— Ничего не нужно мне!..

— Ты нанимала лошадей? тебе нечем было заплатить?

— Вот крест отдает, ваше благородие; только, говорит, доведи до села Р.....

— До села Р.....? — повторил офицер с удивлением. — В село Р....., миленькая?

— Ах, да... Мне нужно туда скорее... я просила их...

— До села Р..... я доведу тебя даром; мне по дороге... Садись со мной и будь спокойна... Где твоя поклажа?

— Благодарю вас!.. — произнесла Ольга, взглянув на офицера недоверчиво, но взором, полным слез.

— Не бойся меня, мой друг... Где же твоя поклажа?

— У меня ничего нет.

— Крестик-то свой возьми, голубушка, назад.

Офицер с жалостию смотрел на Ольгу; черты ее лица и красота поразили его; он помог ей сесть в повозку подле себя, велел ехать. Лошади двинули с места, понеслись, колокольчик зазвенел.

Придерживаясь одною рукою за тряскую повозку, а другою прикрыв лицо, Ольга молчала. Офицер продолжал рассматривать ее. Любопытство узнать, кто она и для чего едет в село Р....., томило его. Наконец он не вытерпел, прервал молчание:

— Можно знать мне, миленькая, причину, которая заставляет тебя торопиться в село Р.....?

— Я не могу этого никому сказать, — отвечала Ольга.

— На мою скромность ты можешь положиться; может быть, какое-нибудь несчастье... Я желал бы подать помощь.

— О, если б вы знали, сколько я уже вам обязана, — отвечала Ольга.

Взгляд Ольги и голос, каким она произнесла эти слова, еще более убедили офицера, что Ольга не из низкого состояния.

— Подобную помощь я мог подать всякому, но для вас я хотел быть более полезным,— продолжал он.— Скажите мне причину слез ваших... Я заметил, что они и при исполненном вашем желании не перестают течь...

— Не могу! — отвечала Ольга.

Решительный ответ прервал слова офицера, но он не сводил глаз с Ольги.

Две станции проехали; от последней село Р..... только в двух верстах.

— В село Р.....,— сказал офицер ямщику.

— О, благодарю вас! я дойду пешком отсюда.

— Я взялся довести вас до села Р..... и довезу; притом же и моя дорога лежит через это село... Прикажете ехать в дом помещика?..

— Ах нет! — вскрикнула Ольга с ужасом.— Нет! Я становлюсь на постоялом дворе.

Это восклицание, казалось, удивило офицера.

— У вас есть там родные?

— Нет! — отвечала Ольга, глубоко вздохнув.

— К кому же вы едете? — продолжал настойчиво офицер.

— Я имею просьбу к помещику...

— Так он вам знаком?

Ольга вспыхнула.

Офицер это заметил.

— Да, я его видала...— отвечала она, стараясь скрыть смущение.

Вот лошади примчались к постоялому двору. Офицер помог Ольге сойти с повозки.

— Благодарю вас! — произнесла Ольга, взяв за руку офицера.— Благодарю вас! — повторила она и, накинув платок на лицо, хотела идти.

— Позвольте же мне оказать вам последнюю услугу: я распоряжусь, чтоб вам дали приличную комнату; здесь люди грубы...— И офицер шепнул денщику на ухо: — Не говори здесь, кто я! Слышишь?

— Слушаю-с,— отвечал денщик.

Когда услужливая хозяйка показала Ольге маленькую комнату, она снова распростилась с офицером, и молодой человек поневоле должен был ее оставить; но, кинув по-

следний взор на ее болезненное лицо, — нет, — подумал он, — я шагу не сделаю отсюда, куда не узнаю, кто она и зачем здесь!

Заняв комнату рядом, он призвал хозяйку.

— Послушай, милая, — сказал он ей, — что бы ни потребовала девушка, приехавшая со мной, я за все плачу вперед.

И он отдал хозяйке несколько червонцев.

— Я спрашивала ее, сударь, да ничего, вишь, не хочет; потребовала только пера да бумаги, а у меня на горе нет: хоть к писарю беги; разве вы изволите дать, да уж кстати и сургучику.

«Она пишет!» — подумал офицер. — Хорошо, я дам бумаги...

Он велел внести шкатулку свою.

— Она, верно, посылает записку в двор?

— Да уж вестимо, — сказала хозяйка, выходя.

— Послушай, милая: когда будешь посылать записку, то уведошь меня; кстати и мне нужно послать к помещику...

— Хорошо, сударь, хорошо.

Офицер с нетерпением ждал посыльного. Вскоре хозяйка привела с собой мальчика...

— Вот, сударь, он снесет записочки ваши.

— Пусть же он подождет здесь; я сейчас напишу. Хозяйка вышла.

— Куда же ты дел записку, которую тебе поручили отнести? — спросил вдруг офицер мальчика.

— Да вот, — произнес испуганный мальчик, вынимая из-за пазухи завернутое в платок письмо.

— Покажи сюда! — И он взял письмо, сложенное запиской, взглянул на надпись: написано по-французски «à monsieur d'A...».

— Опа, вишь, не велела никому отдавать, кроме барина.

— Неси скорее, да смотри, отдать в руки самому барину...

Мальчик ушел.

Беспокойно ходил офицер по комнате и, часто подходя к запертой двери, которая вела в покой Ольги, прислушивался. Все было тихо, только иногда приходила хозяйка с предложением, не прикажет ли Ольга что-нибудь покушать. Один ответ: нет.

Наскучив ожиданием, офицер вышел проходиться, пошел по направлению к роще, которая прилегала к помещицкому саду.

Вскоре возвратился посланный Ольги, отдал ей ответ.

— Боже! — вскрикнула она, развернув записку. — Этот человек хочет моей смерти!..

Голова Ольги склонилась на руки, слез не было в очах ее: она уже выплакала их; и к чему слезы — эти родники несчастного сердца, когда они уже не могут ни утолить болезненной жажды, ни утушить огня, сжигающего внутренность?

Бедная! у ней нет друга, которому она могла бы сказать хоть «прости!» Нет друга, который спросил бы ее: «Куда ты идешь, Ольга?»

Уже смеркалось; офицер возвращался домой. Подходя по тропинке рощею, вдруг заметил он Ольгу: она пробиралась опушкою к ограде сада. Скрываясь от нее, он шел за ней следом.

Она села под густой липой на дерновой скамье и закрыла лицо руками.

Не прошло нескольких минут — вдали скрипнула садовая калитка; вышел мужчина в плаще, осмотрел вокруг себя и пошел прямо к роще. Он приближался к липе. Его шаги вывели Ольгу из онемения; она сжала руки, с ужасом взглянула на неизвестного, которого глаза, казалось, загорелись, увидев ее.

— А, Ольга, ты думала уйти от меня, — произнес он со злобной улыбкой, подходя к ней и намереваясь сесть подле нее на дерновой скамье. Но Ольга упала перед ним на колени, с умоляющим взором сложила накрест руки, хотела говорить и не могла произнести ни слова.

Неизвестный взял ее за руку. Она отдернула руку.

— Пощадите бедного старика!.. — произнесла она наконец задыхающимся голосом.

— Изволь, мой друг, я для тебя все сделаю, Ольга...

— Клянись мне, клянитесь, что вы избавите его и дадите ему приют по смерти...

— Клянусь тебе, Ольга, клянусь! — И он схватил снова руку ее, но снова она отдернула.

— Еще одна просьба... — И Ольга бросилась в ноги к нему: — Пощадите меня!

Неизвестный, не отвечая ни слова, обхватил Ольгу, но она была уже без чувств, тяжела, как камень.

— Отец!! — раздался вдруг голос подле.

Ольга выпала из рук неизвестного.

— Отец! — повторил офицер и, бросившись к беспмятной Ольге, он схватил ее на руки и исчез в завороте тропинки, ведущей к селу.

Бедная, кто узнает, что у нее на сердце? Она молчит; молчание ее так уныло, сердце ее так сжато. Что сделала она худого, что вышла замуж, что муж любит ее более себя, что она любит мужа более себя? За что ж совесть ее упрекает, а люди говорят про нее недоброе? Люди говорят, что она свела запрещенные связи с молодым человеком, сыном своих благодетелей, бежала с ним из дома, что через нее лишен он наследства...

— Ольга, о чем ты грустишь? Признайся мне, у тебя что-то лежит на душе? Любовь не таит сердца...— сказал однажды ей муж.

У Ольги полились из глаз слезы.

— Признайся, друг мой! — повторил он.

— Мое признание не поможет,— отвечала Ольга,— но я должна тебе сказать... Если б я знала, что ты сын его, я бы не вышла за тебя замуж; но ты скрыл от меня... и... твоё благодеяние лишило тебя наследства и любви отцовской, а меня спокойствия. Я буду несчастной причиной будущего твоего раскаяния...

— Ольга, Ольга! Если бы твои благодетели назвали тебя своей дочерью и, по капризу на родных, вздумали тебя сделать наследницей своего богатства, захотела ли ты пользоваться этим счастьем?

— Нет, оно чужое.

— И мне чужое все в доме их; я был прививное дерево, носил не свое имя; с малолетства взяли они и меня, как тебя, на воспитание и отдали в корпус; я, может быть, не узнал бы этого никогда, если б, к счастью, наш общий благодетель в гневе не уведомил меня сам. Ольга, меня хотели лишить отцовского имени! Я его не променял бы никогда на мнимое право владеть чужим богатством и благодарю судьбу, что тайна раскрылась прежде, нежели совершилась несправедливость. Может быть, я уронил бы чужое имя, может быть, чужое наследие жгло бы тайно, мучило мою душу... Может быть, я бы пал под чужой ношей. Нет! — малое свое дороже, вернее незнакомо величия.

Ольга обняла мужа своего.

— Мы равны и несчастьем своим,— сказала она.

В это мгновение раздался в другой комнате голос:

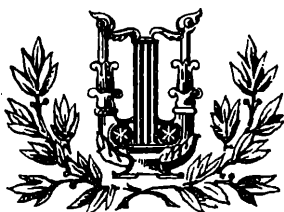
— Где моя барышня, Ольга Владимировна? Пустите меня взглянуть на нее...

— Андреян! — вскричала Ольга, выбегая из комнаты.

Старик стоял в дверях... Ольга обняла его со слезами радости.

— Тебя освободили, Андреян?

— Да что ж бы они сделали правому? — гордо спросил Андреян.



I

В один из прекрасных июльских вечеров 1315 года Гюи Бертраи, славный церопластик, недавно приехавший в Тулузу, сидел задумчиво подле открытого окна в своей рабочей <комнате>. Он жил против самого портала церкви св. Доминика. Заходящее солнце освещало еще вершину башни. Гюи Бертраи смотрел на эту вершину. Тень поднималась выше и выше по туреллам¹, лицо его более и более омрачалось, и казалось, что все надежды его уносились вместе с исчезающими лучами солнца на башне.

Он имел все право предаваться отчаянию: кроме тайного горя, которое отражалось во всех чертах его, искусство, доставлявшее ему пропитание, было запрещено под смертной казнью после суда над шамбеланом Фрэнции Энггераном Мариньи, его женою и сестрою, обвиненных в чаровании короля Людовика X.

— Вот последнее достояние! — проговорил Гюи Бертраи, вынув из кармана серебряную монету и хлопнув ею по косяку окошка. — Жена придет за деньгами на расход... я отдам ей все, что имею, а она скажет: этого мало!.. Завтра голодная жена и дети будут просить милостыню, а я буду пропитаться на счет моих заимодавцев в тюрьме Капитула²!

И с этими словами Гюи Бертраи схватил лежащий на окне резец и волил его глубоко в дерево.

В эту самую минуту кто-то постучался у дверей.

¹ башенкам (*итал.*).

² здесь: в тюрьме инквизиции.

— Вот она! — произнес Гюи Бертран, вставая с места и отдергивая задвижку.

Но вместо жены вошел неизвестный человек в широком плаще, бледный, худощавый, высокий, с впалыми глазами.

— Гюи Бертран?

— Так точно.

Неизвестный, входя в рабочую, припер за собою дверь.

— Угодно вам принять на себя работу?

— Очень охотно приму... разумеется, скульптурную.

— Нет, работа будет относиться собственно до вашего искусства... — сказал неизвестный, вынимая из-под плаща небольшой портрет. — По этому портрету вы должны сделать восковую фигуру.

— Восковую? Не могу! — и Гюи Бертран, осмотрев с ног до головы неизвестного, невольно содрогнулся.

— Вы, может быть, думаете, что я фискал инквизиции, ищущий вашей гибели? Нет! Впрочем, я найду другого церопластика, который будет снисходительнее...

Неизвестный взял под плащ портрет и хотел идти.

— Позвольте... Если вы мне скажете, для какого употребления заказываете...

— Вот прекрасный вопрос!

— Но... вы знаете, что можно сделать злое употребление...

— О конечно, из всего можно сделать злое употребление; однако же, покупая железо, не давать же клятвы, что оно не будет употреблено на кинжал. Впрочем, будьте покойны: это для коллекции фамильной. Угодно взять?

Гюи Бертран думал.

— Извольте отвечать скорее!

— Берусь... но... мне не дешево станет эта работа... и вам также.

— Насчет этого не беспокойтесь: вот вам в задаток... здесь в кошельке двадцать луидоров. Через неделю должно быть готово... только сходство разительное...

— Можете положиться...

Неизвестный удалился.

Гюи Бертран запер двери, спрятал портрет в шкаф, бросил кошелек на стол и сел снова подле окна в раздумье.

Вскоре вошла жена его.

— У тебя, Гюи, кто-то был? Не для заказов ли?

— Да! — ответил Бертран.
— Слава богу!
— Да! — отвечал Бертран.
— Это что такое?
— Деньги.
— Слава богу... — повторила жена, — двадцать луидоров!.. Это все твой?
— Да! — отвечал Бертран.
— Я возьму на расход?..
— Возьми.
— Ты, верно, обдумываешь заказанную работу?.. Я не буду тебе мешать.
Она вышла, а Гюи Бертран просидел до полуночи перед окном.

II

На другой день рано утром Гюи Бертран вошел в свою рабочую, вынул портрет, поставил его на станок и, заложив руки назад, стал ходить из угла в угол.

— Какое очаровательное существо! — сказал он, смотря на портрет. — Так же хороша была и дочь моя! Где ты теперь, неблагодарная Вероника!

У него хлынули из глаз слезы. Он закрыл лицо руками и отошел от портрета, сел подле окна в безмолвии...

Когда в нем утихло горькое воспоминание, он подошел снова к портрету.

— Чувствую, что не на добро заказано это!.. — повторял он, говоря сам с собою и посматривая на портрет. — Бедная девушка! Может быть, и тебя преследует соблазн или мщенье? Если я буду средством к твоему истязанию? Этот человек в оборванном плаще так похож на черно-книжника!.. Нет сил приниматься за работу...

Долго ходил Гюи Бертран по рабочей, то посматривал на портрет, то на распятие, которое стояло на столе в углу комнаты.

— Нужда! — вскричал он наконец и, заперев двери, принялся за работу.

Через неделю, поздно вечером, незнакомец явился; восковая фигура была уже готова и уложена в ящик.

— Вы ручаетесь за сходство?

— Ручаюсь.

— Вот еще тридцать луидоров: помогите вынести.

Гюи Бертран с трепетом помогал выносить ящик на улицу, где стояла уже готовая фура.

— Прощайте,— сказал неизвестный; и фура и он исчезли в темноте.

III

Солнце склонилось уже на запад, и тени как будто украдкой приподнялись из земли, из-под гор, холмов и зданий, построенных на кладбищах давних поколений, и потянулись к западу. Медленно сливались они друг с другом и застилали мрачной одеждой своей вечерний свет на красотах природы. Вдоль Пиренеев, по обе стороны *пролома Роландова*, казалось, что гиганты стали на стражу вокруг своих старшин с белоснежными главами, озаряемых последними лучами утопающего света в океане.

В это время в комнате со сводами и окном с узорчатой решеткой, сквозь которое перед потемневшим небом видны были за шумным порогом Гаронны влево Тулузский замок под горою, а вправо — пространные луга, предметы потухли, все тут было черно и казалось пусто, безмолвно.

В углу только светило еще распятие над Адамовой головой, но против него, в боку комнаты, мрак, казалось, шевелился. С трудом можно было рассмотреть, что подле ниши, задернутой черной занавеской, сидела женщина.

— Теперь... ты готова, Санция! — раздался ее голос. — Недостает только Раймонда, чтобы полюбоваться в последний раз на красоту твою!.. Но кто знает!.. Может быть... он... О! если б он обнимал тебя в эту минуту!.. нежил, клялся в любви, осыпал поцелуями... и вдруг невидимая рука...

В руке женщины что-то блеснуло.

Кто-то постучался в двери.

Женщина вздрогнула, на второй стук она подошла к дверям и отперла.

Вошел монах.

— Мир ищущим утешения в завете Христа! — произнес он.

— Отец! — сказала женщина. — Я призвала тебя прочитать отходную над умирающей.

— Кто она такая?

— Моя ближняя...

— Как ее имя?

— Санция.

Монах подошел к ложу с молитвой; женщина припала подле на колени.

Монах стал произносить исповедь.

— Отец, она не может отвечать, но я за нее порука... Она безгрешна!..

Монах читал отпущение грехов и отходную и потом прикоснулся распятием к челу лежащей на постеле, накрытой белым покрывалом.

Женщина встала, положила деньги в руку монаху, и он тихо вышел.

Женщина заперла за ним двери, подошла снова к ложу.

Потухавшая лампада перед распятием ожила и мгновенно бросила томный свет на бледное, но прекрасное лицо женщины; она была в черной одежде. Взглянув с содроганием на отпускаемую с миром в мир горний, она откинула назад свое покрывало и бросилась в кресла подле ложа.

— Теперь ты готова, Санция!.. возлюбленная моего Раймонда! — сказала она дрожащим, но твердым голосом. — Выслушай же Иоланду... Она хочет оправдать сердце свое... Ты можешь играть любовью Раймонда... ты дитя... ты дочь высокородного капитула... А я, я не могла играть его любовью... Для меня любовь его была священна!.. Я дочь бедняка, но я боролась с будущим своим несчастьем еще в то время, когда на этом несчастьи была маска земного блаженства... Я говорила Раймонду Толозскому, когда он обольщал чувства мои: «Оставь меня у отца и матери! не увози в Тулузу, где есть Санция, которую будут венчать в образе Изауры Толозской... Вот невеста тебе... Ей предайся... Представительница Изауры бросит на тебя взор любви с золотого престола!..» — «Нет! — сказал мне Раймонд. — Санция — восковая фигура, я тебя люблю, Иоланда!..» Он заглушал слова мои клятвами, пресмыкался змеей... целовал колени мои... а я верила, пригрела его на груди!.. Но и в минуту безумия собственного я еще говорила: «Оставь, не срывай бедную фиалку, возвратись к розе!..» А он оковал меня!.. Я говорю правду... Верь мне, дочь высокородного капитула!.. Вот свидетель мой!.. Видишь, Санция? Я хочу воротить Раймонда не к сердцу своему, а к собственной его

крови!.. Хочу разлучить его с тобою; но кто может разлучить два сердца, кроме смерти!.. Да, только смерть... Смерть тебе, Санция!..

И с этими словами она бросилась к ложу. Три раза, посреди окружавшего ложе мрака, блеснули струи молнии.

Она остановилась, зашаталась на месте и с диким криком упала без памяти подле ложа.

Из рук ее выпал кинжал и зазвенел.

IV

В зале аббатства св. Доминика, за длинным столом, накрытым сукном, сидел главный инквизитор, сидели и члены инквизиции толосской. Окна были задернуты зелеными занавесами, от которых все лица казались помертвевшими. В простенке задней стены, между впадинами, возвышалось до самого свода распятие.

Стол судилища стоял на некотором возвышении. Дьяк судилища сидел в конце стола, на табурете, с непокрытой головой; члены же и инквизитор сидели в креслах, на спинках которых было красное изображение креста.

Все они были в черных с белыми полосками мантиях, застегнутых спереди и покрывавших только грудь, в шапках четвероугольных, расходящихся кверху.

После тихих совещаний главный инквизитор стукнул молотком по столу.

Вошел сбирро¹ в красной мантии и в красной высокой шапке, с булавой в руках.

Вслед за ним вошли несколько стражей в подобной же одежде, но с секирами в руках; они выстроились по обе стороны двери.

За ними ввели под руки женщину в черной одежде; лицо ее было завешено покрывалом.

Ее подвели к самому столу и посадили на табурет.

Инквизитор подал знак, стражи вышли.

— Сбрось покрывало! — сказал ей инквизитор.

Женщина откинула покрывало.

— Кто ты такая?

— Иоланда! — ответила она тихим голосом.

¹ низший служащий инквизиции (*итал.*).

- Откуда родом?
- Женщина молчала.
- Зачем ты здесь?
- Я призвана инквизицией.
- Что имеешь ты сказать?
- Ничего.
- Читайте показание.

Дьяк читал:

«Показание хозяина Иегана Реми.

Иоланда, не объявляющая ни места своего рождения, ни роду, ни племени, по показанию жителя Толозы Иегана Реми, ремеслом мельника, проживает у него реченного в доме более года в тишине и неизвестности, платя исправно за постой; посещал ее реченную Иоланду по вечерам неизвестный молодой мужчина и неизвестные люди, приносившие ей съестные припасы, а с недавнего времени посещал ее и другой неизвестный человек подозрительной наружности. Третьего же сентября 1315 года, в ночь, услышав вопли в ее половине, реченный Иеган Реми пошел к ней, но двери были заперты изнутри, почему и поторопился дать знать о сем городской страже, которая, прибыв в дом во время ночи, разломала запертые двери и взяла с собой реченную Иоланду, после чего реченный Иеган Реми и не видел уже сию женщину».

— Кто такие люди, посещавшие тебя? — спросил снова инквизитор.

Женщина молчала.

Инквизитор подал знак.

Из другой комнаты внесли носилки, накрытые черным покрывалом.

— Это чьих рук дело? — спросил инквизитор, показывая на носилки и приказав сдернуть покрывало.

Иоланда оглянулась, вздрогнула с криком и затрепетала.

Ее поддержали.

На носилках лежала очаровательной красоты девушка, на щеках румянец не потух, уста улыбались, но глаза ее были неподвижны, окованы смертью.

— Читайте обвинение.

Дьяк читал:

«Иоланда обвиняется принадлежащей ко второму разряду преступных.

Второй разряд преступлений составляют демонские

науки: черная магия, порча, колдовство, чары, заочные убийства.

Иоланда обвиняется в заочном убийстве: в нанесении трех ударов в сердце дочери высокородного капитула Бернхарда де Гвара, как то признано отцом и матерью и всеми капитулами. Реченное убийство явно подтверждается тем, что дочь реченного капитула Бернхарда де Гвара, Санция, в ту ночь из замка Гвара внезапно исчезла, что и заставляет полагать утвердительно, что демонская сила исхитила ее из объятий родительских, чтобы предать чарам Иоланды».

— Сознаешься ли ты в убийстве?

Но Иоланда не отвечала: она без чувств лежала на руках двух сбирров.

— Приговор свой услышишь ты в свое время, — продолжал инквизитор и подал знак, чтобы ее вынесли.

Иоланду положили на носилки подле Санции, накрыли покрывалом и вынесли.

V

Настал день ауто-да-фе, день торжества инквизиции, в который министры мира сжигают жертвы человеческие во славу Милосердного, во спасение людей и скупление их мукою времени от муки вечной.

Еще до света раздался в Тулузе печальный, унылый звон колоколов, повещающий народу великое зрелище.

Со всех концов города стекались любопытные.

Процессия доминиканцев выходила на площадь; несли шитое и окованное золотом знамя с изображением св. Доминика, учредителя инквизиции, с мечом и миртой в руках и с надписью «*Justitia et misericordia*»¹.

Вслед за знаменем шли рядами преступники, обреченные казни, босые, в одежде печали и отвержения; в руках каждого был факел из желтого воска, подле каждого шел нареченный отец и исповедник с крестом в руках.

Но за этими рядами преступников несли распятие, которое, склонясь над головами их, означало надежду на милосердие; только одна жертва, шедшая позади всех, была лишена этой надежды.

¹ «Правосудие и милосердие» (лат.).

Эта жертва была женщина. Ее вели под руки; на ней был черный балахон, а сверху его сагата, или парамник серого цвета, испещренный изображениями демонов и ада; на передней полости его был нарисован портрет преступницы посреди костра, обнятого пламенем. На голове ее была сагочас, остроконечная высокая шапка в виде сахарной головы, с подобными же изображениями нечистой силы.

Преступников провели во внутренность храма св. Доминика и посадили на лавки; подле каждого заняли место нареченные отцы и исповедники. Посредине алтарной стены возвышалось распятие, по обе стороны на хорах под балдахином сидели инквизиторы, в стороне была кафедра дьяка.

По совершении молитвы дьяк стал читать обвинение и приговор каждого из преступников, после чего главный инквизитор объявил не обреченным на сожжение милосердное отпущение грехов и назначение на галеры. На сожжение обречена была только женщина.

— Как хочешь ты умереть: христианкой или отступницей? — спросил ее член судилища.

Она упорно молчала на этот вопрос, несколько раз повторенный.

Ее сдали исполнителям казни и повели на площадь.

Там был уже костер с столбом посредине.

Когда процессия исполнителей казни остановилась подле костра, проповедник произнес к обреченной казни увещание, хотел поднести к устам ее распятие, но она отклонила руку проповедника и сказала тихо:

— Я не достойна.

Ее ввели на костер. Палачи привязали ее руки к столбу. Факелом, который она несла, один из доминиканцев зажег костер; костер мгновенно весь вспыхнул.

— Раймонд!.. — простонала несчастная.

Пламень обвил ее.

Никто не знал, кто она такая.

Все смотрели на нее, как на чаровницу, без сожаления. Но вдруг купа дыму и пламени как будто раздалась мгновенно, послышался вопль младенца, стон несчастной жертвы заглушил его.

Все содрогнулись.

Но, может быть, народу, окружавшему костер, это почувдилось.

На другой день у входа в храм св. Доминика народ толпился и смотрел на портрет сожженной женщины: изображена была голова на пылающих головнях, с надписью:

*Чародейка Иоланда, сожженная
за заочное убийство Санции,
дщери высокородного капитула
толозского Бернхарда де Гвара.*

Гюи Бертран видел из своего окна эту толпу, любопытство повело его посмотреть на портрет преступницы.

Он подошел, взглянул и грохнулся на помост.

В это время прогремел по мостовой фиакр, перед которым бежал скороход и за которым ехали два рейтара. В нем сидели: прекрасный собою мужчина в одежде капитулов тулузских и необыкновенной красоты женщина в голубой бархатной одежде и в такой же шапочке с белыми перьями.

Заметно было, что любопытство ее было причиной остановки фиакра против портала.

Мужчина подал ей руку, и они вошли на помост храма; толпа раздалась перед ними.

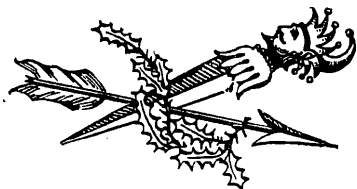
— Он умер, умер, — говорили в толпе. — Гюи Бертран умер!

— Раймонд! — вскричала женщина с ужасом, прочитав надпись. — Что это значит? Мое имя!..

Но Раймонд стоял уже бледный и немой. Глаза его безумно двигались, весь он дрожал.

— Раймонд! — повторила женщина, взглянув на него.

Не говоря ни слова, он увлек ее за собой к фиакру; фиакр загремел вдоль по площади, но мужчина и женщина, сидевшие в нем, были уже бледны, как мертвецы.



I

Вскоре после покорения Варны приехал я в эту крепость. Жители, турки, еще не выбирались из нее по условию; они еще, собираясь в дорогу, продавали свое движимое и недвижимое имущество грекам, армянам и русским. На площадке давка, толкучий рынок — дешевизна, соблазн ужасный: турецкие шали, персидские ковры, чубуки жасминные и черешневые в сажень, роскошные янтарные мундштуки, арабские кони, бархатные седла, шитые золотом, пистолеты и ятаганы, одежда восточная и утварь... Как не купить чего-нибудь турецкого на память Варны и не вывезть в Россию? «Что стоит шаль? *Кэс пара?*» — «*Алтыюз лева*». Шестьсот левов турецкая шаль! Шестьсот левов составят только двадцать червонцев, а у меня их полный карман!.. Давай!.. «Что стоит конь?» — «*Бин лева*». Тысячу левов арабский конь, белый, как снег, шерсть, как атлас, смотрит орлом, крутится вихрем, мчится стрелой! Давай!.. Греческая женская фермеле, на горностае! «*Кэс пара?*» — «*Юз лева*». Сто левов!.. Давай!..

В день, в два турки увидели, что у нас нет левов, а есть только червонцы и что эти *червенца*, тридцатипленики, для нас дешевле шелухи, выбиваемой на монетном дворе его султанского величества. И вот на другой же день о левах и речи нет. *Кэс пара?* — *Ики червенца, он червенца, юз червенца*. Ни один разумный *османлы* про левы и слышать не хочет.

С досадой в душе, что не удалось купить прекрасной розовой шали за *бин лева*, потому что ее цена, в честь щедрых победителей, превратилась вдруг в *ики юз червенцы*,

я отправился верхом на арабском жеребце, которого удалось мне купить у Тегир-паши на левы.

Насмотревшись вдоволь на Черное море и не заметив в нем ничего черного, я заехал в арсенал, где свалено было оружие всего турецкого гарнизона, защищавшего Варну... Тут были горы сабель, ятаганов, ружей, пистолетов, и можно было ходить по этим горам, как по иглам железного ежа, колоть и резать себе руки и ноги и выбирать что угодно на турецкую голову и на украшение стен над ложем почивших от трудов героев. Выбрав с десятка ятаганов *Анадоли*, пар пять пистолетов и ружей *Шешене* и *Дели-Орман* да с дюжину сабель *Килич*, подобных поворожденной луне, я отправил свой трофейный арсенал на квартиру и пустил плясать коня вдоль торговой узенькой улицы. Гордо неся конь мой, согнув в крутую дугу выю и кивая головою; пунцовые шелковые кисти рассыпались на все стороны над благополучными знаками лба его. Душа так и радовалась доброте коня!

Остановясь подле лавки, где жгли кафэ, мололи его в прах и сыпали, как муку, в закромы вроде яслей, я велел отвесить себе *бир ока*. *Базаргян* отвесил одно око¹, вынул из ящика сверток бумаги, оторвал лист, свернул воронкой... Ба, ба, ба! Писано по-русски!.. «Отдай мне это!» Турок покачал головою и сказал «*Иок!*» — «Пожалуйста, отдай!» — «*Иок, иок!*» — «Ну, возьми *пара: кэс пара?*» — «*Элли червенца!*» — «За сверток оберточной бумаги пятьдесят червонцев! Ах, ты *бир-адам* проклятый!» У меня волосы стали дыбом, но любопытство... и можно ли жалеть денег за русскую рукопись, найденную в Варне, в руках *базаргяна*? «Возьми бир червенца». — «*Иок! Элли червенца!*» Что делать! Он, злодей, всю русскую рукопись скорей употребит на обертки, чем уступит хоть одну пару из пятидесяти червонцев. Вздохнув, я отсчитал пятьдесят червонцев, схватил свернутую тетрадь и кафэ, завернутый в отодранный лист, поскакал домой...

И вот посреди бывшего гарема с резным потолком и стенами, с решетчатыми окнами раскинулся я на ковре спокойствия, как *Улема* с *китабом* в руках, с чубуком в зубах, и стал читать рукопись без заглавия и без начала.

«Хм,— сказал я сам себе,— что это? Былое это или просто сочинение какого-нибудь русского повествователя, по-

¹ старинная мера веса (ок. 400 г) и жидкости (ок. 1,14 л.).

павшего в плен к туркам со всем व्यюком повестей и романов?»

В продолжение кампании денщик мой часто покушался употребить эту тетрадь без заглавия точно так же, как *базарян*, но я отстаивал ее и просил убедительно, чтобы он не смел ни сапогов, ни эполетов, ни даже аксельбанта заворачивать в листы свертка синей исписанной бумаги.

— Да что им сделается?— повторял он мне всегда с сердцем.— Во что ж я заверну?

— Вот тебе на обертки,— говорил я, бросая ему десть бумаги.

За белую чистую бумагу денщик мой ужасно как был зол на сверток синей бумаги и при укладке вещей во व्यюченные чемоданы с презрением всегда выкидывал его и нехотя укладывал снова.

«Бедная повесть неизвестного сочинителя!— думал я, возвращаясь в Россию.— Отстоит ли тебя судьба от употреблений на обертки, когда ты будешь напечатана?»

«...колени, и другой старался напроказить, чтобы стать на колени подле товарища; в классе и за столом рядом, сочинять стихи: Ура! вакация пришла! — Вместе...

II

Мемнон познакомил меня с отцом, с матерью, и со всею своею роднею. Когда я увидел в первый раз его двоюродную сестру Елену — прощай, восторженная любовь к наукам! Напрасно повторяли мне, что «науки юношу питают, отраду в старости дают». При Елене я стыдился названия ученика и думал только о военном мундире: какое наслаждение явиться перед ней в колете, гремя саблей и шпорами! Но едва возвращался домой — поэзия обуревала душу, стихи лились потоками... Черные, огненные глаза, темно-русые локоны, коралловые уста, ланиты, перси и зависть к тому праху, который попирает она, и ревность к тому корсету, который так крепко сжимает ее... и

Как звезды по небу, рассыплю по тебе
Милльоны страстных поцелуев!

Соловей не воспевал на столько голосов своей любимицы розы. В то время слово *поэт* много значило в понятиях женщин: поэт был в глазах их воплощенными чувствами

пламенной и постоянной любви, бескорыстным жрецом добра. Тогда говорили все друг другу: «Смотрите, смотрите, вот поэт!» — «Неужели?» — разносилось шепотом в толпе, и все смотрело благоговейно на поэта и думало: это не просто человек, который пишет стихи! И все ожидало: вот, вот посыплется из уст его рифмы!

Когда Елена узнала от Мемнона, что и я поэт, — «напишите на меня сатиру», — сказала она мне, подавая перо и розовый листок бумаги. Я зарделся зарей, присел, задумался и написал:

Желал бы я на вас сатиру написать,
Но даже выдумать не в силах укоризны:
Я мог бы вас капризною назвать,
Да вы, как ангел, и капризны.

Елена прочитала и взглянула на меня так нежно, так упоительно, что от полноты блаженства сердце как будто всплыло во мне, стеснило, завяло дыхание, и я стоял подле Елены как беспамятный, не слышал, что она говорила мне, не видел, как она отошла от меня.

Эта минута совершенно помутила во мне все чувства; я ходил, как потерянный, с каким-то убеждением, что Елена любит меня. Я сторожил ее взоры, прислушивался к задумчивости — Елена вздыхала!.. Мне хотелось сказать ей: я вас люблю! Только и думал я, каким бы образом сказать ей эти три слова, но никак не придумал: то пеловко, то нелзя, то некстати. Часто я давал себе клятву: «Сегодня ни слова не скажу Елене, кроме «я вас люблю, Елена!» — и всегда изменял клятве досадным вопросом: «Как ваше здоровье?» Начинала ли она говорить со мною — я торопился отвечать: кровь бросалась в лицо, язык немел. Молчала ли Елена — я не смел прервать ее молчания: может быть, она думает в это время обо мне!

Чувства свои, однако ж, заботливо тайл я от Мемнона. «Можно ли сказать брату о любви к его сестре?» — думал я и при нем старался быть как можно равнодушнее с Еленой. К счастью, замечая мою рассеянность и задумчивость, он допрашивал меня о причине и говорил только: «Ты, я вижу, рожден поэтом».

В напрасных покушениях сказать Елене «я вас люблю!» прошло несколько месяцев. В одно воскресенье я пробыл почти целый день с Мемноном у дяди его; со вздохом взял уже шляпу, взглянул на Елену грустным взором, шаркнул, пеловко повернулся уже к дверям — вдруг она

остановила меня словами: «Вот вам на память моя работа», — и подала мне прекрасный бумажник, на котором была вышита беседка и посреди ее жертвенник с пламенем.

Помню, что я бросился к руке Елены, но что сказал, как вышел из комнаты, приехал ли домой или пришел пешком — ничего не помню.

Горячо расцеловал я подарок Елены, бережно уложил его в шкатулку, запер, снова вынул, еще раз поцеловал, снова спрятал... Мне хотелось сказать кому-нибудь: как я счастлив! — встретить кого-нибудь, кто бы спросил меня: чему ты так радуешься? И я пошел, сам не зная куда, и вдруг мне стало страшно: что, если кто-нибудь украдет шкатулку мою! Бегом пустился я назад, запыхавшись прибежал в свою комнату, бросился к шкатулке, вынул из нее мое сокровище, расцеловал, положил в карман, пошел опять и дорогой почти на каждом шагу ощупывал, тут ли мой бумажник. Поздно уже было, когда я очнулся и заметил, что стою против дома с закрытыми ставнями. «Елена уже спит!» — подумал я и медленно пошел домой. Ложась в постель, я положил подарок Елены в изголовье... задумался о ней... Едва сон начнет оковывать чувства — вдруг мысль: тут ли он?.. спугнет сон, и рука тянется под подушку. Так прошла вся ночь, так прошла вся неделя. Нетерпеливо ждал я воскресенья; наконец оно настало, и я отправился к Мемнону, чтоб ехать с ним вместе в дом его дяди.

— Их уже нет в Москве, — сказал Мемнон. — Они уехали в деревню, — продолжал он, не замечая впечатления, которое произвели на меня его слова.

Скрывая внутреннее волнение от Мемнона, я присел к фортепьяно и в первый раз почувствовал, как музыка необходима для сердца, убитого горем; в первый раз стал фантазировать и высказывать жалобы души звуками. Флегматик Мемнон не понял моих звуков.

— Полно, братец, бречать, — сказал он. Я вскочил, ушел от него и опомнился над листом бумаги, на котором написано было: *На разлуку*.

Голова моя лежала на левой руке, в правой держал я перо; слезы катились по лицу.

— Да ты, я вижу, поэт! — сказал мне однажды и отец, замечая мою рассеянность и задумчивость. — Жаль! я думал, что из тебя выйдет что-нибудь порядочное...

III

Мысль — скорее прославить себя и явиться достойным любви Елены — преследовала меня. Отец не противился желанию моему служить в военной службе; меня определил в корпус, расположенный в Московской губернии, но я перепросился в Кавказский корпус и полетел на поприще своей славы.

Несколько экспедиций в горы были счастливы для меня. Любовь сильнее честолюбия жаждет офицерского чина; вскоре я получил его. Еще чин поручика, думал я, и мне не стыдно будет сказать Елене: я вас люблю!

Но другой чин не так легко достался мне: я был взят в плен черкесами. Целый год пробыл в неволе у узденя Аллагюко и умер бы в неволе, если бы добрая Мазза, дочь его, не спасла меня. С помощью ее я бежал, но был ранен вдогонку пулею в плечо. К счастью, казачий пост был близок, и меня привезли в Тифлис. Едва вышел я из опасного положения, как встал с постели и мне подвязали руку черным платком. Черный платок как будто оживил меня; гордо взглянул я на себя в зеркало. Если бы видела меня теперь Елена! О, скорее в отпуск для излечения ран! Я боялся, чтобы рана моя не зажила совершенно до приезда в Москву.

Разумеется, получив отпуск, я не медлил ни минуты и, несмотря на совет медика дожидаться весны, поскакал по мартовскому ухабистому пути.

В продолжение трех лет все переменялось, кроме моего сердца. Я мог попасть в плен, но моего сердца не пленила черноокая, пламенная черкешенка: я был тот неблагодарный *кавказский пленник*, который даже не оглянулся на бедную Маззу, когда воздух свободы обвеял его и надежда видеть Елену оживила душу.

По приезде в Москву я застал Мемнона уже хозяином дома, владельцем, помещиком.

— Тебе остается только жениться, — сказал я ему.

— Это одно мое желание, — отвечал он.

— За чем же стало дело? Мало ли в Москве невест! Выбирай любую: ты богат, молод, хорош собою.

— Не выбирать хочу я... встретить ее. Я не верю ни сравнениям, ни испытаниям, сердце и рассудок могут быть обмануты; только одно не обманет: голос души при неожиданной встрече. Душа говорит, душа скажет: вот *она*, вот *та*, для которой создано твое сердце!

— Ты прав, Мемнон! Я испытал уже такой голос души,— вскричал я невольно.

— Не в ущельях ли Кавказа? Не в сакле ли во время плена? Бедный! мне жаль тебя, но, верно, свобода милей взаимной любви черкешенки: ты бежал от твоего счастья...

— О, нет, Мемнон! Мое счастье здесь, может быть, в Москве! — сказал я со вздохом и признался Мемнону, что люблю его сестру, что время не изгладило моей любви к Елене, что моя любовь к ней будет первой и последней в жизни.

— И ты скрывал свои чувства от друга и брата! — сказал Мемнон с упреком.

— Друг и брат! — повторил я, обнимая его.

Елены не было в Москве, но, по словам Мемнона, она должна была скоро приехать.

В продолжение целого месяца я изнывал от ожидания и от боязни, что должен буду явиться Елене без повязки, без явного признака моих подвигов под стопами Кавказа.

Я жил у Мемнона, и мы по десяти раз в день посылали в дом его дяди узнать: приехали ль?

Нет и нет!

— Приехали! — произнес наконец неожиданно вошедший слуга. Если бы сонному вскрикнули над ухом: пожар! — он не так бы испугался, как испугался я, когда раздалось в дверях слово: приехали!

На другой же день Мемнон отправился с визитом один и вскоре возвратился.

— Я попросил позволения представить своего постояльца,— сказал он мне.— Сестре ужасно как хотелось знать, кто этот постоялец, но я утаил, чтобы удивить и обрадовать ее твоим неожиданным появлением.

Страшна была для меня минута готовности ехать; я медлил — Мемнон торопил меня.

Можно быть лучше всех, но если бы кто-нибудь сказал мне, что можно быть лучше самой себя, то я бы смеялся над тем. Красота четырнадцатилетней Елены врезалась в моей памяти. Я так привык в продолжение трех лет любить ее и верить, что ничего не может быть совершеннее ее, и вдруг я должен был разочароваться, изменить ей для Елены восемнадцатилетней.

— Вы ранены! — вскричала она, узнав меня и взглянув на подвязанную руку.

— И как опасно ранен! — заметил Мемнон, улыбаясь.

Участие Елены и встреча были так обольстительны!

Внимательно расспрашивала она меня обо всем, что случилось со мною после отъезда из Москвы.

— Сохранили ли вы мою память? — спросила она между прочим.

Можно ли было не ласкать себя надеждой и не торопиться дать отдых сердцу в сладкой задумчивости?.. Для первого шага к счастью слишком было довольно. Я хотел унести с собою всю полноту впечатления, встал, раскланялся, взглянул на Мемнона, но он с улыбкой дал мне знак, что останется. Я понял этот знак, и сладостное чувство, наполнявшее меня, вдруг исчезло: оно заменилось страхом. Я бросил на Мемнона умоляющий взор, чтобы он помедлил решать мою судьбу, но Мемнон не понял меня; я уехал. Как мученик собственных чувств ждал я возвращения Мемнона. Когда он вошел, я вскочил с дивана из тучи дыму, которым обдавал себя, не замечая того, взглянул, и — сердце замерло.

— Говори, Мемнон, убей меня! — вскричал я, схватив его за обе руки. — Говори! — повторил я с отчаянием, заметив, что он медлит, обдумывая, что ему сказать.

— Успеха еще нет, но надежда не потеряна, — отвечал он, обнимая меня. — Я говорил с теткой своей: ты ей нравишься, она желала бы...

— О, довольно! Не продолжай!.. Я понимаю: Елена не любит меня!

— Напротив, — сказал Мемнон сурово, — если бы это зависело только от Елены...

— Правду ли ты говоришь, Мемнон?

— Дядя всему преграда. Он, не заботясь ни о согласии жены, ни о сердце дочери, выбрал зятя по своему вкусу и праву.

Если бы можно было высказать, какая ненависть вдруг вспыхнула во мне к неизвестному суженому Елены...

— Кто он такой? Говори! — вскричал я истощенным голосом. Но Мемнон скрыл от меня его имя.

— Мне не сказали, кто он такой, — отвечал он, — но тетка уверена, что это все переделается. Скоро они едут обратно в деревню, и я с ними... Не теряй надежды!

Его слова только увеличили мою безнадежность. «Нет, — думал я, — Мемнон щадит мое самолюбие; меня отвергли, мне отказали в руке Елены! Я не могу уже показаться в доме!»

Напрасно Мемнон обнадеживал меня: я молчал на все его слова, и какой-то внутренний ропот на судьбу мучил меня; я изнемогал. Боль сердца отозвалась в ране. Доктор советовал мне ехать на воды за границу. Мемнон то же советовал мне, и я решился ехать. Друг не щадил обольщений сердца, чтобы успокоить меня.

— Сестра кланяется тебе,— говорил он, прощаясь со мной.— Она не могла скрыть грусти своей, как я заметил. Она желает скорого твоего возвращения, а мать ее поручила сказать тебе, чтобы ты не терял надежды, если любишь Елену.

«Не слова ли это, внушающие опасную надежду? Не значит ли это: кинься в пучину — может быть, счастье выбросит тебя на берег рая?» — думал я, смотря пристально в глаза Мемнону.

IV

Мемнон уехал, и я отправился, оживленный несколько обнадеживаниями друга и уверенностью, что я любим. Мемнон обещал уведомлять меня об Елене.

Не описываю моих путевых впечатлений: мои впечатления были нераздельны с Еленой. В Дрезденской галерее, смотря на Роксану Рафаэля, я сравнивал ее с красотой Елены и видел все недостатки дочери Ирода.

Но чтобы вполне блаженствовать в мечтаниях любви, надобно ехать по Рейну, надобно видеть истоки его. В таинственных недрах зарождаются они, как взаимные чувства юноши и девы, торопятся, ропшут на все препятствия, пробиваются сквозь них и падают в объятия друг друга, чтобы течь вместе, неразлучно посреди роскошных и диких берегов жизни.

Смотря на отдаленные вершины Альпов, вспомнил я Горную дорогу нашего златоуста поэта:

Четыре потока оттуда шумят —
Не зрели их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат,
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе, родясь, расстаются,
Бегут без возврата и ввек не сольются.

— И ввек не сольются! — долго повторял я. Неприступные скалы, окруженные садами и увенчанные развалинами древних рыцарских замков, как лики Дианы Ефесской, отвлекали душу мою от одной печальной мысли

к другой. Теперь и прежде! *Теперь* тело развязно, свободно, а дух в оковах; *прежде* — тело было оковано в латы, а дух был свободен; легко дышалось на неприступных верхах гор и скал, над волнами, над пропастями, посреди лесов и виноградников, за гранитными бойницами, за подъемными мостами, под сводами великолепных добровольных темниц, посреди таинственности и чудес предрассудка, неразлучно с мечом, вином, любовью и неутолимой жаждою к славе. Минстрель¹ пел *сирвентес-римот*:

Кто мне внушит благозвучную песнь,
Кто воскресит, оживит мою память
И свиток прошедшего в ней разовьет?
Кто расцветит мои мрачные мысли
И дивные звуки из струн воззовет,
Как голос от сна восстающей природы?
Ах! есть на земле, есть одно существо!
Его светлый взор, как небесное солнце,
Туманы и мрак с отдаленья сорвет
И свиток времен предо мной разовьет!

На берегу быстрого Неккара, впадающего в Рейн, посреди садов, мне слышалась эта песнь минстреля. Я смотрел на заросшую дорогу, которая извивалась к величественным стенам замка... и забывался...

Вот... рыцари стекаются со всех сторон... знамена их плещут в воздухе; оруженосцы отягчены щитами, раскрашенными девизами чести, любви и славы; на оружие сыплются лучи солнца, дробятся радужными цветами... Кривой рог зазвучал... На востовой башне с развевающимся флагом в облаках приветливо отвечают гостям теми же звуками; цепи подъемного моста загремели, кольца железных ворот брякнули, скрипнули засовы и веревки... Герольды повещают приезжих... Гордые кони стучат тяжкими копытами по дубовому помосту... Пажи сбегают с крыльца встречать гостей...

На просторном дворе устроены павильоны вокруг поприща; драгоценные восточные ковры свесились через перилы... Судейская ложа украшена оружием, гербами, девизами, и знамена плещут над нею...

Судьи-джюджедуры заняли места. Серебряные власы их рассыпаются по пурпурным мантиям юношескими кудрями... Речи старцев звучны, как кованое оружие во время боя, важны, как голос вопрошаемого оракула...

¹ мепестрель.

И вот... она... божество, венчающее победу... появилась, как солнце посреди алмазных, изумрудных, яхонтовых лучей... Трубы грянули, герольды засуетились, рядят чин всему, оглашают закопы поединков: «Любовь красоте, слава мужеству, хвала победителям! Настал час храбрых; оружие их омоется потом и кровью!»

Герольд умолк, подал знак; раздался хор минстрелей, сопровождаемый цитрами, бандурами и кастаньетами югларов:

Рыцари! вскипьте взоры на ограду,
Где восседает джюджедуров ряд,
Где дамы сердца мужеству в награду
Бантами чести грудь приносят!

В ком изнеможет в бою дух врожденный,
Сердце остынет, сила изменит,
Взгляд животворный девы несравненной
Душу пробудит, сердце воскресит!

Новый звук труб. Начинается поле.

Ряды рыцарей в роскошных бронях, сопровождаемые щитоносцами, приближаются к рогатке на копьях, покрытых латами; едут медленно, с важностию; забрали опущены. Подле них, на парадных конях, едут дамы сердца; они ведут горделивых своих невольников на цепочках, свитых из лент и цветов. Проехав барьер, они развязывают оковы кавалерам сердец своих и потом продолжают путь к помостам, разбрасывая по поприщу цветы, шарфы, узлы из лент, браслеты, сплетенные из собственных их волос, перья с головы... Рыцари подбирают дары с земли, осыпают их поцелуями и готовятся заслужить оружием звания рыцаря сердца, шарф и девиз своей дамы.

Рыцари становятся строем на двух оконечностях поприща, ждут сигнала, прислушиваются к словам джюджедура, который повторяет закон турнира: «Рыцари! да не поранит никто из вас коня противника своего; мета копьём — лицо и грудь; меч рубит, но не колет. Поднятому или разбитому забралу — пощада!»

Джюджедур ударил три раза в ладоши; сигнал к общему бою раздался. Пришпоренные кони ринулись с мест, земля дрогнула; два строя всадников, приклонив голову, уставив копыта вперед, налетели друг на друга... Казалось, что посреди поприща разразилась громовая туча, рассыпалась искрами и треском; взвилась пыль... Две противные стороны то столкнутся, то расступятся.

Но общий бой прерван сигналом — строи разъезжаются. Теперь один на один — по вызову. Вскипела во мне жажда победы... Я пришпорил коня, перелетел через ограду... Кто на меня? Вызываю! Нет создания в природе лучше Елены! Пой, минстрель! славь Елену!

Минстрель запел лей Елене, вместо вызова:

Кто в истомлении, в восторге сердца,
Елены не видав, осмелится промолвить,
Что видел божество любви и красоты,
Кисть хмеля принял тот за грозд пурпурный
И хладную луну за пламенное солнце.
Слепец! я исцелю тебя от слепоты!

Неизвестный рыцарь, в черной броне, без гербов, без шарфа дамы сердца и девиза, выехал на средину поприща... Это противник, соперник мой — суженый Елены!

Злобно взглянул он на меня, я на него; разъехались, повернули — сигнал подан... Вот он! Брызнули искры из стальной брони... А! вон он! Подо мной суженый Елены! Моли о пощаде!..

«Коня убил! Преступник закона!» — раздалось вокруг... Стрелы со всех сторон готовы были поразить меня, но знамя пощады распростерлось надо мною, и герольд повестил, что конь противника моего убит по неосторожности.

Меня ведут к венчающей победу... это Елена!.. Я преклонил колено... Громкий хор запел славу, а Елена увенчала меня... подала руку, и мы пошли, сопровождаемые хором, джюждедурами и рыцарями. В просторной зале сели мы за круглый стол. Передо мной поставили жареного павлина, которого, по обычаю, победитель должен был распластать на сто частей; потом поднесли огромный бокал векового Гейдельберга. Я поднял бокал... «За здравие Елены!» — хотел сказать я... Где ж она? Нет ее? О, на сто частей разорвалось мое сердце, когда я взглянул вокруг себя... Мрачный замок Гейдельберг, разгромленный самим небом, воздымался на горе, как на острове, посреди моря тумана. По чешуйчатому небу разливался свет луны. Я лежал под деревом на берегу Неккара, смоченный холодной росой ночи...

V

Я приехал в Эмс, начал курс лечения. Вдруг письмо... Рука Мемнона! И только две строчки — только, но сколько блаженства почерпнул я в них! Как они были красноречивы! как исполнены дружбы!

«Приезжай,— писал он,— Елена будет твоею; все препятствия устранены».

Можно представить себе, с каким нетерпением желал я лететь в Россию, но, предполагая ехать обратно, по обещанию брату, через Бессарабию, где он в то время находился, я не мог переменить намерения и, сверх того, я хотел видеть Дунай и взглянуть на Бухарест, где был с отцом своим во время войны в 1810 году. Кажется, сама судьба влекла меня по этому пути, чтобы развязать повесть моей жизни.

Из Эмса приехал я в Вену, потом в Буду и оттуда на небольшом купеческом судне, отправлявшемся в Галац, решил я пуститься по Дунаю.

Нисколько не заботясь о современных политических обстоятельствах, я совершенно не знал, что делается на берегах Дуная. Я думал только об Елене. Наслаждаясь природой, слушал по вечерам заунывную песню матроса и, проехав таким образом до Галаца, я был бы принужден сделать около четырехсот верст лишних, чтобы попасть в Бухарест. К счастью, хозяин корабля спросил меня, куда я еду, и сказал, что я могу выйти на берег при Журжинской переправе и проехать в Бухарест прямым путем. Это был подарок для рассеянного. На лодке переехал я в Слободзею и там, наняв *почту*, отправился в столицу Валахии. Никто не спрашивал меня, кто я, откуда, куда еду и есть ли у меня какой-нибудь вид.

Подъезжая к Бухаресту вечером, вдруг увидели мы на самой дороге, сквозь деревья, разложенный огонь и вокруг него толпу людей. Шум и песни раздавались по лесу.

*Суруджи*¹ прпостановил лошадей, со страхом произнес:

— *Чи есть?*²

— Это, верно, табор цыганский?

— *Нуй, нуй, боерь!*³ — повторял он, продолжая медленно подвигаться вперед.

Едва проехали мы заворот дороги, толпа вполне открылась перед нами. Над огнем, на козлах, висел котелок, а вокруг него лежали и ходили вооруженные люди в мантах, в скуфьях, в кушмах, в чалмах, в албанской одежде. Страшные, смуглые лица их с отвислыми усами казались от блеска огня раскаленными.

¹ кучер (молдав.).

² Что это? (молдав.)

³ Нет, нет, боярин! (молдав.)

— *Талгарь! Талгарь!* Разбойники! — проговорил суруджи, с ужасом остановив лошадей. — Недобре, недобре! — прошептал он еще и готов уже был свернуть с дороги в лес, но стук и дребезг *каруцы*¹ и топот лошадей обратили на себя внимание толпы. Несколько человек вскочило на коней, и мы были окружены какими-то чудовищами, вооруженными с головы до ног.

— *Стэ!*² — закричали они, заскакав вперед. Я выхватил пистолет.

— Русский офицер! — крикнул мой слуга, вообразив, что спрашивают: кто?

— *Офицер русяск?* — повторил один из наездников: — *Хэ! Мой!*³ капитан Пендедека!

И он поскакал к толпе, между тем как двое стояли спокойно перед лошадьми, а прочие разъезжали вокруг *каруцы*.

Поздно было требовать пути одним выстрелом у целой толпы вооруженных. Я полагал, что явится кто-нибудь знающий по-русски для расспросов, но вдруг тучный всадник, похожий на атамана шайки, подлетел на лихом коне и закричал мне:

— *Офицерь?*

— Да! — отвечал я.

— *Хайд, мерже ла Калентино!*⁴ — прокомандовал он без дальних расспросов.

Суруджи приударил по лошадям; меня повезли. Вся толпа поскакала вслед за мною, и не прошло нескольких минут, как я увидел новые толпы вооруженного сброда вокруг огней близ селения. Мне казалось, что меня везут на шабаш нечистой силы.

Со всех сторон раздавались дикие голоса, которые пели:

*Ипсиланти фетмаршал,
Дука маре инарал!
Пом-пом-пом-померани-пом!*

Каруца моя и провожатые остановились подле освещенного боярского дома.

Тут только узнал я, что меня привезли в селение Калентино, главную квартиру Ипсиланти, предводителя этеристов.

¹ телеги, повозки (молдав.).

² Стой! (молдав.)

³ Восклицание: мой! — то же, что: ей! (прим. автора.)

⁴ Эй, давай в Калентино! (молдав.)

— *Фетмаршалу а кас?* Дома фельдмаршал? — спросил капитан Пендедека, которого я принял за атамана разбойничьей шайки.

— *Хэ! Ипсиланти содус ку тога армия ла Тырговешти; нума эфор¹ Дука а кас!* — отвечали двое арнаутов, стоявших на крыльце, подле входа в сени, с саблями наголо.

Я понял смысл сказанных слов: «Ипсиланти со всей армией удалился в Тырговешти, и в селении Калентине только эфор Дука». Его-то величали этеристы в песне своей *маре инарал*, великий генерал.

Меня ввели в дом. В передней комнате подле дверей, завешанных красным сукном, стояла толпа арнаутов, в роскошной своей одежде. Они заняты были продуванием, *накладыванием* и раскуркой трубок.

Вслед за капитаном Пендедекой вошел я в комнату, где на диване, свернув под себя ноги, сидел Дука, эфор этерии. *Антерия²* из шелковой с золотыми полосками ткани распахнулась на полы; красные широкие шаровары переливались под нею, как полымя; все туловище его было обернуто турецкою шалью, за которую заткнуты были на толстой золотой цепи *часорник³* с огромною связкою печатей и *басман⁴*; на голове была скуфья из шелковой материи, обшитая бумазеей. Перед ним стоял ломберный стол, а в жирной руке его утонула колода карт; он метал *фараон*. Несколько бояр в серых смушковых *кочулах⁵* сидели вокруг стола, пыхтели дымом и гнули углы на пэ и транспорты.

— *Чи есть?* — спросил Дука.

Не ожидая объяснений Пендедеки, я подошел к Эфору, сказал по-французски, что я русский путешественник и что на дороге к Букаресту остановлен его арнаутами...

Я хотел высказать свое неудовольствие за это насилие и просить, чтобы он приказал проводить меня в Букарест или из круга расположения этеристов, но он не дал мне кончить речи, обратился к своим собеседникам, сказал им

¹ командир (*греч.*).

² богатая верхняя одежда.

³ часы (*молдав.*).

⁴ платок (*прим. автора*).

⁵ шапках (*молдав.*).

что-то по-гречески, и они вышли из комнаты. Потом, приглашая меня сесть на диван, хлопнул три раза в ладони. Явились два арнаута, один с трубкой, другой с *дульчецом*¹ и с кружкой воды на подносе. Я не отказался от азиатского обычного предложения — усладить горечь свою, прохладить сердце и питаться дымом надежды.

Когда мы остались одни, Дука таинственно спросил меня:

— Позвольте узнать, к кому вы ехали?

— Я просто проезжал из Австрии в Россию, — отвечал я.

— Хм! через Австрию! Здесь не дорога, вам надобно было ехать на Черновец, прямо из Австрии в Россию...

— Я хотел проехать по Дунаю, видеть Бухарест...

— Нет, скажите, вы можете мне сказать... К кому едете? Или к князю Ипсиланти?.. Вероятно, депеша...

— Уверю вас, что я просто еду как путешественник, без всяких поручений.

— Теперь не время путешествовать без цели, — сказал Дука, усмехаясь. — Но все равно, мы понимаем... И во всяком случае, я обязан отправить вас к князю Ипсиланти. Его главная квартира в Тырговешти.

— Помилуйте! зачем мне ехать к нему? — вскричал я.

— Ни для чего больше, как для объяснения ему причины вашей поездки в Бухарест. Теперь, милостивый государь, нет сношений ни с господаром, ни с Диваном мимо князя Ипсиланти. *Хэ! мой! капитан Алеко!* — вскричал Дука после сих слов.

Явился капитан Алеко в казацкой одежде из черного сукна.

— Вот этот господин проводит вас в Тырговешти, — сказал мне Дука, отдав приказание капитану Алеко.

Нечего было делать; я вышел.

— Где мой слуга? — спросил я у арнаута, не видя подле крыльца ни *каруцы* своей, ни слуги.

— *Нушти!* не знаю, — отвечал мне арнаут.

— Где каруца?

— *Нушти!* — повторил арнаут.

— Ни моего слуги, ни *каруцы* нет! — сказал я капитану Алеко.

¹ варенье, похожее на конфеты *romade* (помадка) (*прим. автора*).

Он стал расспрашивать у разного сброда людей, которые стояли на крыльце и ходили по двору.

— *Нушти!* — отвечали все. — *Суруджи* сел и поехал, а слуга пошел вслед за ним.

Я выходил из себя. Слуга мой вскоре пришел весь в слезах и сказал, что почтарь ускакал, а чемодан, положенный на крыльце, пропал.

Я воротился к Дуке и просил его приказать отыскать мои вещи.

— Не наше дело отыскивать ваши вещи, — отвечал эффор этерии. — Подайте прошение в Диван.

Взбешенный, я сел на коня, которого Дука велел дать мне, и поехал под конвоем безобразных воев Ипсилянги. На другой день уж к обеду стали мы приближаться к местечку Тырговешти. С высот над рекою Яломицей я увидел главную квартиру этеристов. Она походила на табор и толкучий рынок; повсюду копошились вооруженные люди в молдавской, сербской, арнаутской одежде, в лохмотьях и в кованных золоченых нагрудниках, парамниках и набедренниках.

Въезжая в Тырговешти, я увидел тот *Священный батальон*, который под знаменем возрожденного Феникса готовился пожать славу и бессмертие. В черных полукафтаньях, с высокими черными мерлушковыми шапками, загнутыми набок и украшенными серебряною Адамовою головою спереди, воины бродили по городу в ожидании великой своей будущности.

Мы приехали к одному дому с большим крыльцом под навесом. Тут развешалось знамя этерии, на котором вышит был феникс с греческою надписью: «Возрождаюсь из собственного праха». У входа подле дверей стояли двое часовых с сложенными накрест ружьями.

Это был *курте господаряск*, двор, или дворец господарский. Соскочив с лошади, я хотел идти на крыльцо, но капитан Алеко удержал меня.

— Не сюда, — сказал он, — это *священное крыльцо*, по которому никто не смеет всходить, кроме самого фельд-маршала.

«Плохо, — подумал я, — если к идолу храма ходят с заднего крыльца!»

— Что за люди? — спросил капитан Алеко, увидя нескольких человек верховых в мантах подле бокового подъезда.

— Пандуры!¹ — отвечали они гордо. — От *вайводы* Тодора Владимиреско, с капитаном Фармаки.

То были передовые начальника, или, лучше сказать, атамана пандуров Малой Валахии, который, пользуясь возникшими после смерти валашского господаря Каражди смятениями, по случаю этерии, или греческого восстания, собрал пандуров, сербских гайдуков, валашских талгарей и все, что было дружно с темной ночью да с острым ножом, объявил себя воеводой и защитником отчизны от ига греческих господарей, назначаемых Портою, проник с шайкою своей в Букарест, овладел Диваном, заставил воротиться Каллимахи, назначенного в господари Валахии, казнил бояр, привел всех в ужас и заставил разбежаться на все четыре стороны.

Ипсиланти думал в нем найти поборника и встретил противника, который, однако ж, решился приехать к добровольному *архистратигу*² Греции.

Взойдя по крыльцу *профанов*³, я ожидал, что меня введут в *Периурантириа* и окропят водою, как вступающего в храм громовержца Зевса, но очутился в передней, где было несколько, вероятно, значительных лиц штаба этерии. Пока доложили обо мне Ипсиланти, я присел подле какого-то чиновника в казакине. Посмотрев на меня, он как будто отгадал, что я русский, и обратился ко мне с вопросом, не служить ли я приехал к Ипсиланти. Разговорившись с ним, я желал знать, что за особа в больших шитых эполетах, спасенных, вероятно, от выжиги и прицепленных к мундиру не мундиру, а к чему-то вроде кацавейки.

— Это Орфано, *фичеру ди кына*⁴; он был в Одессе служителем у купца Бокара, а здесь *инарал*. А вот другой — это Лассапи; был фактор в Песте, а здесь комендант Терговишта. *Драку шти*!⁵ Черт знает, зачем я приехал сюда! Тут все начальники. Правду говорит греческая пословица: «Где соберутся три грека, там всегда четыре начальника: их трое да черт четвертый». Вот князь Георгий лихой, а это... хм!

¹ отряды легкой кавалерии на Балканах.

² военачальнику, вождю (*греч.*).

³ простонародья (*греч.*).

⁴ собачий сын (*прим. автора*).

⁵ Черт знает! (*молдав.*)

Собеседник мой не успел еще сказать мне имен и происхождения всех *стратигов, эфоров, капитанов*, тут бывших, как меня позвали к Ипсиланти.

Пройдя одну комнату, передо мной отворили двери кабинета; я вошел. В широких креслах подле стола сидел смуглый, худощавый генерал; на плеча его накинута была греческая пурпуровая мантия, с длинными до полу рукавами.

— Какую новость привезли вы нам? — сказал он, обращаясь ко мне, и, не дожидаясь ответа, приказал выйти сидевшему подле стола писцу, которому, как казалось, что-то диктовал.

— Вы откуда? — спросил он торопливо по выходе писца.

— Я русский и ездил за границу на воды, — отвечал я и рассказал все приключения свои со времени вступления на берега Валахии.

Казалось, что Ипсиланти надеялся видеть во мне какого-нибудь тайного к нему посла. Глаза его горели ожиданием приятной новости, но, выслушав меня, он принял пасмурный вид и хотел что-то спросить еще, как вдруг вошел кто-то вроде адъютанта и доложил о приезде Тодора Владимиреско.

— Пусть войдет, — сказал Ипсиланти важно. — Извините, — продолжал он, — мне нужно переговорить; войдите в эту комнату на время.

И он показал на двери. Я вошел; это была спальня. Справа между печкой и стеной был широкий, крытый густым пунцовым трипом диван, заменявший ложе; на свернутом в головах шелковом матраце лежал ночной колпак; влево от двери другой диван; напротив — стенные шкапы и посредине *образная*.

От нечего делать я развернул лежавшую на столике книгу, переплетенную в бархат. То был «Триодион, повелением и иждивением Всесветлейшей Княгини Елены, божиею милостию начальницы и владычицы земли Влашкою, супружницы Пресветлого господара Иопа Матфия Бесарабы, в Господарской их типографии, яже в Столечном граде Терговишти. В лето бытия мира 7157».

Едва я успел прочесть это, как раздался громкий голос: — *Мы фоарте букур, кы вы вѣдэ сенатос, рѣинсел!*¹ — Это

¹ князь (франц.).

обыкновенное молдавское приветствие: «Очень рад, что вас вижу в добром здравьи».

Любопытство заставило меня сесть на диване подле самой двери, так что весь разговор Ипсиланти с Тодором был мне слышен.

— Садитесь, господин Владимиреско,— сказал Ипсиланти по-французски.— Нам давно пора переговорить с вами лично.

— Готов слушать,— отвечал Тодор.

— Вы знаете уже ту великую цель, для которой я сюда прибыл?

— Как видно из ваших собственных прокламаций, вы приняли на себя труд освободить Грецию от ига турецкого.

— Так точно. Приняв на себя начальство над этерией, я воззвал к народам, угнетенным игом варваров, и на первом шагу встречаю противоречие — в ком же? В тех, которые должны были торопиться под знамена свободы!

— Диван княжества желал знать: кто возложил на вас великое дело освобождения Греции и кто уполномочил вас к воззванию на общее восстание против турков? Диван послал к вам депутата Павла Македонского...

— Полно-те, сударь: этот депутат был от вас, а не от Дивана!

— Это ваше предположение... Не я, а Диван просил вас сообщить ему ваше полномочие.

— Кто уполномочил меня? — сказал гордо Ипсиланти.— Вы знаете, кто я?

— Знаю. Вы служили в русской службе генералом, я служил поручиком, но здесь не Россия.

— Неужели вы думаете, что я обязан открывать Дивану Валахии тайны европейских конгрессов? Неужели Диван не постигает, к чему клонится столько уже лет политика всех европейских держав?

— Для исполнения целей своих европейской политике не нужно было поручать вам собирать в Молдавии и Валахии бродяг и нищих, чтобы избавить Европу от турок.

— Вы, сударь, дерзки! Вы враг своего отечества! Ваша цель пользоваться смутами и водить своих бродяг, пандуров, на грабеж!

— Ваши титулы не лучше моих!.. Да что об этом говорить! Вы делайте, что знаете; я буду делать, что я знаю.

— У нас общий враг, сударь, и мы должны действо-

вать общими силами, а не допрашивать друг друга о правах.

— Ваши враги — турки, а паши — греки фапариоты. Разница видна из ваших и моих прокламаций... Ваше поле в Греции — идите за Дунай, и наше дело спровадить греческих господарей туда же. Здесь им не место — довольно им собирать *дязму*¹ с княжеств; пусть идут под ваше знамя освобождать Грецию от ига и избавить нас от своего ига. Что мы за ферма для вас! У вас есть свои земли и рабы — дерите с ним хоть три кожи!

— Господин *слуджар*...²

— *Вайвода*, а не *слуджар*, господин Ипсиланти, — сказал Тодор, стукнув саблей о пол.

— Извольте молчать!

— *Сараку да минни*!³ Как я вас боюсь!

— Я вас скоро заставлю бояться!

— Ну до тех пор прощайте!

— Остановитесь, господин Владимиреско!

— Я стоять не люблю; если угодно, сяду. Языком биться также не люблю.

— Собственно из предостережения вас и чтобы предупредить раздоры, я должен вам сказать...

Ипсиланти стал говорить тихо, я не слышал ни слова. Вдруг он подошел к двери спальни; я отскочил от нее и сел на диван.

— Пожалуйста сюда, — сказал он мне по-русски, отворяя дверь.

Я вошел в кабинет и с любопытством взглянул на Тодора, сидящего на диване в лиловом бархатном, шитом золотом фермеле; за поясом его торчали два пистолета. Турецкая сабля золотого чекапа, осыпанная дорогими камнями, перегнулась через колено. На голове была красная феска, а подле, на диване, лежала одноцветная с фермеле капа, или скуфья, также шитая золотом. Он был смуглый, с длинными усами человек, с глазами, как уголья.

— Вы отправитесь обратно; я дам вам прикрытие до Леова, — сказал мне Ипсиланти, хлопнув несколько раз в ладоши.

¹ *Дязма* — десятая часть (прим. автора).

² Чин Тодора при князе Валашском (прим. автора).

³ Это выражение слово в слово: «бедный я!» Но от тона, которым произнесено, значит почти то же, что «черт меня возьми!» (прим. автора).

Вошел прежний докладчик.

— Капитан Христиари! назначьте отряд из двадцати человек проводить их до Леова,— сказал Ипсиланти.— Кланяйтесь моим знакомым в России,— продолжал он, обращаясь ко мне.— Скажите им, что дела мои идут хорошо. Прощайте!

«Драма кончилась комедией»,— думал я, выходя из кабинета.

Христиари проводил меня из *курте* на квартиру, в дом какого-то боярина. Тут до изготовления к отъезду угостили меня обедом.

— Нет, боярин, здесь умрешь с голоду! — сказал мне мой Иван, возвратясь из кухни, где также угощали его обедом.— Нет! я не едок с цыганами! Да это просто зараза... прости господи!.. Намесили какой-то черной муки в котле да и вывалили на грязный стол комом; принесли вонючего творогу в засаленной тряпке да и говорят: *пуфтим!*...¹ «Нет, господа! Я не могу есть этого *пуфтим!*» — сказал я, да и встал из-за стола; помолился богу, да и пошел.

Жаль мне было смотреть на голодного Ивана, но нечем было помочь. Лошади были уже готовы.

VI

Мне дали доброго коня, оседланного турецким седлом. Арнаут подвел его, держа за мундштук; я взял шелковый повод и засел, как в вольтеровских креслах. Мой новый капитан с 20 арнаутами гарцевал уже по двору в ожидании, пока усядусь я на седле и двинусь с места.

Мы отправились вдоль по Яломице на Урзичени. Почти в каждом селении мой капитан требовал себе *ватаву*², требовал *фатир ши манынк*, а потом *ракю ши жин*³.

Эти частые закуски ужасно бесили меня; зато мой Иван был сыт и доволен.

— Ей-богу, здешняя *ракю* гораздо лучше нашего пенника,— говорил он каждый раз, когда ему подносили большой пагар фруктового спирту.— А жизнь дешевле лавочной воды!

Народ здесь, кажется, привык к посещениям и требо-

¹ просим (*молдав.*).

² приказчика (*молдав.*).

³ Квартиру и обедать; водки и вина (*прим. автора*).

саниям неожиданных и незваных гостей, которые распоряжаются в деревнях, как в своем доме. Беспрекословно поили и кормили нас и лошадей наших, не спрашивая, что мы за люди. Двадцати человек каларашей¹, и особенно арпаутов, достаточно было, чтобы меня везде величали *мариета*². — Здесь наружность человека служит вместо вида, а умение приказывать есть уже право на всевозможные беспрекословные требования.

Ни *малай*, ни *плачинды*, ни *лапти-акру*, ни *брынза* не нравились мне; до самых Урзичень питался я только яйцами и *лапти-дульче*³. В Урзиченях заехали мы в кафэнэ, но и тут я должен был довольствоваться жареной бараниной, соленой рыбой, каракатицами, маслинами, чашкой кофе и трубкой. На третий день мы приехали в Римник, памятный победою Суворова в 1789 году, и остановились в доме одного бояра, где квартировал начальник небольшого отряда войск Ипсиланти.

Без дальних церемоний проводник мой передал меня ему, как пароль, а сам, закусив и осушив *око* випа, уехал, не пожелав мне даже доброго пути.

Новый капитан, которому я был сдан на руки, чтобы доставить меня здрава и невредима в Леово, был довольно молодой мужчина, смуглый, но приятный, хотя и суровой наружности, в черной венгерке, перепоясанной шелковым снурком — португеей турецкой сабли, в черной скуфье, шитой серебряными снурками.

Я удивился, когда он подошел ко мне и сказал:

— Капитан Раджул казал мне, што вы русский; едете от князя Псиланта до Каподистрия.

— Я русский, — отвечал я, — еду в Россию, но не от князя Ипсиланти и не к Каподистрию. — И я рассказал ему случай, который занес меня в Валахию.

— Хм! — произнес капитан, пыхнув дымом. Тем и кончился наш разговор. Поездка отложена была до утра, потому что уже смерклось. Усталость от верховой езды томила меня, и я уснул мертвым сном на мягком диване.

— Время на конь! — сказал мне капитан чем свет, и я должен был расстаться с спокойным ложем.

¹ вершник, верховой (*прим. автора*).

² Ваше величие (*прим. автора*).

³ М а л а й — хлеб из кукурузной муки; п л а ч и н д ы — слоенные пироги; л а п т и - а к р у — кислое молоко; б р ы н з а — творог; л а п т и - д у л ь ч е — сладкое молоко (*прим. автора*).

— *Коня крылатого!* — вскричал он, сходя с крыльца, и, не ожидая меня, вскочил на коня, которого ему подвели, и поехал, распевая:

— Што ти е, Стано,
Што ти е, кузум?
Ах! беним Стано,
Тъ болпа лежишь!..
— Глава мъ боли,
Треска мъ втреси!
Ах! бишим Аго,
Ке-да я умру!
— Не бойсе, Стано!
Не бойсе, кузум!
Ах! беним Стано,
Иа ке-тъ пишу
Три хаймалишки,
Но то за треска,
Друго за глоба,
Троти за зло-болезь!¹

Я заучил его песню, пока мы поднялись на гору за местечком. Влево вздымался Карпат; вправо, по равнине, исчезал в тумане Рымник.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я капитана, — неужели в такой маленькой речке могло потонуть целое войско?

— Мутна тече риека валовита,
Она валья древлье и каменье, —

отвечал он мне и потом запел снова:

Што ти е, Стано...

— Вы, верно, из болгар? — спросил я снова, желая завести с ним разговор.

— Сербин, — отвечал он мне отрывисто и начал муштровать своего лихого коня и разговаривать с ним.

К обеду приехали мы в Фокшаны и остановились в монастыре, обнесенном высокими стенами.

Один из монахов знаком был моему сербу. Радужно встретил он нас и угостил сладкими постными блюдами

¹ — Что с тобой, Стано?
Что с тобой, друг мой?
Милая Стано,
Ты заболела!
— Голову ломит,
Холод по членам,
Ах! милый Аго!
Если умру я!

— Не бойся, Стано!
Не бойся, друг мой!
Я приготовлю
Три талисмана.
Один от лому,
Другой от дрожи,
Третий от язвы —
От злой болезни.

(Пер. автора.)

из рыбы и плава... Целую баварилку вина принес он из погреба. Серб пил вино, как воду; оно его развеселило.

После обеда я взошел на стену монастыря и наслаждался видами окрестностей. К северу тянулись на нет отрасли Карпата, ограничивая собою реку Сырет; к востоку ровная площадь, ограничиваемая в сипей дали Задунайским берегом и возвышениями над крепостью Мачпном; к югу безграничная степь, как море, а запад весь загражден лесистым Карпатом; у подножия его, верстах в десяти от Фокшан, по холмистому скату расстилались славные виноградники Одубештские.

Когда я воротился в келью, на столе стоял уже огромный стакан светло-янтарного цвета.

— Пие, брате! — сказал мне серб, подавая стакан. — Пие! меж нама здравье и веселье!.. В раз!.. Так! — прибавил он, поглаживая усы.

— Еще! — вскричал он, протянув ко мне одну руку и наливая другою вино.

— Теперь пие, брате, за здравье моей сестрицы Лильяны! Пие руйно вино! Была у меня сестра, да не стало!

Эти слова произнес он так, что голос его как будто ущемил меня за сердце; из глаз его капнула слеза в стакан. Он приподнял его и смотрел долго на свет, как будто ожидая, чтобы слеза — горечь сердца — распустилась в вине лекарством от боли его; потом он чокнулся со мной и выпил залпом.

— Где ж ваша сестра? — спросил я невольно, взяв его с участием за руку.

— В Русспе, — отвечал он.

— Вы были в России?

— На службе.

— Зачем же вы оставили Россию?

— Так надо было! — сказал он, садясь на диван. — Так надо было, — повторил он и замолк, по заметно было желание его облегчить себя от скопившихся воспоминаний рассказом.

— Отчего же надо было? — спросил я его.

— А вот, — отвечал он, — отец мой жил в особитом приятельстве и побратимстве с отцом Лильяны; еще в годину сербского воеванья с турками дали они друг другу слово породниться по детям, а в десятую годину отец Лильяны взял меня в полк свой, и жил я у него, как родной, и приехал с ним в Москву, а потом пошли на воеванье

с французом. По возврате из Парижа отец Лильяны покинул службу, а мне сказал: аиде служить еще царю и царству, пока будет твоя невеста на возрасте. Любил меня он, как сына, да не любила меня его *жентурина*, откинула сестрицу от сердца, разладила слово, раздружила дружбу, змея люта, божья отпаднице!.. А как любила своего жениха моя Лильяна: звала златом, соколом, милотцем! Давала залог за сердце!.. Вот ту был тот залог... ту был лик божий да образ сестрицы, да обреченья перстень... Все возвратил ей... Сестра, сестра, моя сладко *рано*!..¹ — Говоря сии слова, он показал мне пустую ладонку, висевшую у него на шее на голубой ленте.

— Вот прошли три года еще на службе. Два года не видал я сестрицы; минуло ей восемнадцать лет. Мыслию: скоро будет она моею! Да приехал ко мне брат Лильяны и говорит: любит она другого, не ездит, не бери ее в жены по отцовской воле... «Правда ли то?» — спросил я. Он положил руку на сердце. «Ну! будь счастлива, Лильяна, — не насилуй сердце!»

— И она изменила? — вскричал я, тронутый рассказом его.

— Над сердцем две воли, брате, — своя да божья. Я отписал к отцу, дабы не ждал меня, а сестрице возвратил залог... Бог с нею! Ту ни каке надежде, ни другого суда, ни спасенья нема! Ништа не поможет, кад сердце от сердца отпаде!

— Может быть, ее принудила мать отказать от вас?

— Кад нема у своего сердца совета, чуждое сердце правит его на все четыре страны!

— Что ж вы: писали к невесте своей и ее отцу?

— Отписал кратко: «Отчизна моя Сербия вздымает оружие на своего притеснителя турка; не время мне думать теперь о женитьбе, еду на родину, на воеванье; *бритка сабля* моя невеста!.. *Нек погинет юнак² на юнашству!*»

Этими словами он прервал рассказ свой и упорно молчал. С сожалением смотрел я на его суровое, но приятное лицо. Странны казались мне высказанные им понятия, по сколько было в них снисходительности к слабому сердцу! Без жалоб на судьбу и на людей он покорялся предопределению, несмотря на то что для души его не оставалось уже счастья на земле. С Лильяной все для него погибло;

¹ зоря (*прим. автора*).

² у балканских народов — храбрец, удалец.

по так решительно отказаться от всех надежд, так сурово поступить с самим собою... то было бы непонятно, невозможно для каждого, кто сколько-нибудь дорожит жизнью и ее соблазнами!

На другой день рано мой добрый серб сказал мне: «Ну, аиде путем с миром! Не забудь сербина Радоя Вранковича!»

— Не забуду! — отвечал я и пустился в дорогу, сопровождаемый двумя арнаутами из сербов.

VII

Через два дня я был уже в Леовском карантине. Шестнадцать дней, проведенных в нем посреди атмосферы, изобретенной Гитоном де Морво, показали мне столетиями, во время которых повторилось все прошедшее, со всеми своими загадками, радостями и горем.

Эту тоску вознаградило свидание с братом в Бендерах. Но я у него недолго пробыл; он был снисходителен к торопливому моему сердцу. Через две недели я уже подъезжал к Москве. Сердце не находило места в груди. Близость к счастью выразилась во мне страданием, черные мысли пугали меня: то думалось мне, что я уже опоздал, Елена влюблена в другого, — и я приказывал ямщику ехать тише; то отец выдал ее насильно, и она умирала от тоски, молила меня, чтобы я торопился, — и я гнал ямщика.

Подъезжаю к дому Мемнона; ворота заперты, ставни притворены... я вздрогнул... Что это значит? Где Мемнон? Дворник не знает.

Я остановился у своих родных. На другой же день узнал я, что Елена в Москве. Но каким образом явиться мне в дом?

Я решил написать письмо к ее матери: просил ее уведомить меня о Мемноне. С нетерпением ждал я ответа; ответ принесли... «Одеваться!» — вскричал я, как безумный. Мать Елены писала: «Ожидаю вас к себе и лично хочу поговорить с вами о вашем друге».

Через несколько минут я уже был перед нею. Она приняла меня как родного, представила мужу своему как друга его племянника Мемнона и поразила меня известием, что Елена больна и что они приехали в Москву для пользования водами. Я едва мог продолжать разговор, когда она сказала мне о том.

Тщетно ожидал я выхода Елены. Потеряв надежду ее

видеть, собирался уже домой, но слова отца и матери — «мы вас ожидаем обедать, попросту, без чипов, как родного» — оживили меня. Если б и взор Елены подтвердил то же! Но ее не было...

Я приехал к обеду. Елена не вышла к столу, но отец и особенно мать Елены так занимались мной, так осыпали расспросами и ласками, что не было мгновения, которое мог бы я посвятить мысли об Елене.

Во время утреннего визита я был так рассеян, что забыл спросить о Мемноне, за обедом, однако ж, я вспомнил об нем.

— Так и вы не имеете никакого известия об нем? — спросил отец.

— Решительно никакого, — отвечал я с удивлением.

— А я только что хотел от вас узнать что-нибудь. Может быть, дружбу он предпочитает родству.

— Бог знает, что с ним сделалось: он вдруг пропал из Москвы; даже не простился с нами, — сказала мать, — и с тех пор ни слуху, ни духу.

— И никто не знает, куда он поехал? — спросил я.

— Никто. Однако ж до нас дошли новости очень неприятные: говорят, что он совсем потерялся.

— Мемнон потерялся?

— Да! Слава недобрая, — продолжал отец. — Влюбился в какую-то горничную и увез ее. Продал свое имение близ Москвы, купил другое в захолустье и никого знать не хочет... Впрочем, и хорошо делает... После подобного поступка возможно ли показываться на глаза?

— О, не может быть! — вскричал я невольно. — Мемнон не унижится до такой степени!

— Э-эх, молодой человек! Чего не делает своя воля и богатое наследство? Рано Мемнон вышел из отцовских рук — вот вся беда.

— Неужели вы не знали Мемнона и понятий его, что так говорите об нем, — хотел я сказать, как вдруг вошла Елена. Я онемел, смотрел на нее... и не верил своим глазам... Та ли это Елена, которую я видал не более, как за несколько месяцев? О, это была та же Елена, но с томным взором вместо живого, с бледностью на лице вместо румянца; слабая вместо воздушной, быстрой; молчаливая вместо игривой, беззаботной, говорливой Елены.

— Вы не узнаете меня? — сказала она тихим голосом, с насильственной улыбкою.

— Она теперь еще поправилась,— сказала мать:— воды ей помогли!..

— Бог знает!— сказала Елена на слова матери.

— Твоя собственная неосторожность виною болезни твоей,— продолжала мать.— Пришла же охота сидеть по вечерам на крыльце... Это было вскоре после вашего отъезда... осень была сырая... долго ли простудиться...

Я покраснел от слов: «вскоре после вашего отъезда!» «Ах, Елена, Елена! Ты пожертвовала для своей грусти здоровьем!» — думал я, взглянув на нее, и мне казалось, что слова матери и ее пристыдили. Как она была хороша! «Задумчивость ее принадлежит мне,— говорило мое сердце.— О, Мемнон! если бы ты был здесь, ты передал бы ей мои чувства... Но объясняться самому... века пройдут — и я не осмелюсь сказать Елене, что я ее люблю».

Меня принимали как родного. Часто проводил я по целым дням близ Елены, но болезненная слабость как будто пересиливала чувства — и она была задумчива, грустна, молчалива, а я становился час от часу дичее, не знал, что говорить, боялся даже встречаться с ее взорами.

«Курс вод был кончен — и все кончено», — думал я. Начались сборы, и я готовился уже на разлуку, но неожиданное приглашение от отца и матери ехать с ними в деревню оживило все мои надежды.

Во время дороги я никому не уступал забот о спокойствии Елены. По приезде в деревню мне было дано право водить Елену под руку во время прогулок, которые предписаны были ей доктором. Я ходил с ней часто один, говорил ей обо всем, кроме того, что хотел бы сказать ей, а она была постоянно уныла. Дни проходили; мы как будто тайли друг от друга чувства свои и, кажется, вечно остались бы в таком грустном положении, если бы сама мать не начала говорить мне об Елене.

— Елена совершенно переменилась,— сказала она,— но эта перемена не может быть следствием болезни... Мне кажется, что и у нее и у вас есть какая-нибудь тайна... Не знаю, кого первого допросить?.. Зачем же таить от отца и матери?— И с этими словами она так проникательно взглянула на меня, что я вспыхнул и, как безумный, схватил ее руку и начал целовать.

— Мемнон говорил мне... — продолжала она.— Счастье Елены для меня всего дороже... я нисколько не противлюсь... Муж мой также вас полюбил...

— О, как я счастлив! — вскричал я и, кажется, тысячу раз повторял ей одно и то же, между тем как она называла уже меня сыном своим и читала наставления о вечной любви к жене, о верности, об обязанностях мужа, о припадком... и наконец взяла меня за руку, и я очутился перед отцом.

— Жена объявила мне ваше желание, — сказал он, — я не прочь.

Призвали Елену, спросили ее согласия.

— От вашей воли завишу я, — отвечала она, и отец и мать благословили нас.

В восторге собственном мне казалось, что все разделяло мои чувства. Задумчивость Елены приняла в глазах моих другой смысл: это томность любви, которая так пристала ко всякой женщине; это нетерпеливость сердца насладиться скорее счастьем, — думал я и во все непродолжительное время приготовлений к свадьбе был в каком-то припадке безумия, от которого опомнился тогда уже, когда мысль — «она твоя!» пробудила меня от очарования.

Что ж она не радуется? Что ж она так холодна? Что ж она не сожмет меня в своих объятиях и уста ее неподвижны? Неужели от болезни иссяк в ней весь огонь любви? Что ж она не отвечает на ласки ласками?

Я стал мужем Елены, но с первых минут сбывчивости желаний она заразила меня своею грустью, задумчивостью и молчаливостью, только не холодностью — нет, я не мог быть холоден к ней! Как птицелов, я расставлял силки, чтобы изловить нежное чувство ее ко мне, но оно в ней, кажется, и не водилось никогда, как райская птица на севере.

Медленно проходили дни. О Мемноне я не имел никаких известий. В одно и то же время ни дружбы, ни любви — тяжело!

Через год счастье порадовало меня рождением прекрасного младенца, совершенно похожего на мать свою. Как будто заменяя чувства ее, он мне улыбался, и мне казалось, что улыбается мне сама Елена.

Я почти не отходил от него, когда он спал; садился близ колыбели и ожидал его пробуждения.

Однажды я упомянул о Мемноне при няне, которую наняли мы для ребенка.

— Позвольте узнать, — спросила она, — не про Мемнона ли Васильевича вы изволите говорить?

— Ты его знаешь?

— Вряд ли у кого еще есть такое имя,— сказала она,— потому-то я и узнала его.

В самом деле, отец Мемнона выбирал всегда странные, малоупотребительные имена для детей своих: сестра Мемнопа называлась Фомаидой.

— Но где ж ты знала Мемнона?— спросил я.

— Он бывал в нашем доме,— отвечала няня.— Ах! сударь, если бы порадовали меня,— продолжала она, вздохнув,— не изволите ли вы знать что-нибудь про Веру Ивановну?

— Про Веру Ивановну?— повторил я.

— Как бы хотелось проведать мне про этого ангела! Достиг ли-то Мемнон Васильевич до своего желания?

— Но кто такая Вера Ивановна?

— Она, сударь,— отвечала няня, смутясь,— она благородная, воспитанница барыни... Барыня взяла ее к себе на воспитание из своей дальней деревни, что купил Мемнон Васильевич...

— Он купил деревню?

— Село Шарково,— продолжала няня.— Барыня думала, что он женится на барышне, а он полюбил Верочку. Барыня прогневалась да и послала ее в деревню, а Мемнон Васильевич узнал, что она приписана к селу Шаркову, и купил село... Да от барыни не утаилось — она и отошли голубушку дочку свою в соседский монастырь, на руки к знакомой игуменье, чтобы хоть постричь ее, да не выдавать Мемнону Васильевичу.

— Дочь свою?— спросил я с удивлением.

— Виновата: Веру Ивановну, сударь, не дочку, ей-богу, не дочку!— почти вскрикнула, спохватясь, няня.

Рассказ няни пояснил мне недобрые слухи про Мемнона. Я не заботился о подробностях, в которых должно было что-нибудь скрываться; мне нужно было знать только, где он. Расспросив, в какой губернии и в каком уезде село Шарково, я немедленно пустился в дорогу.

На пятый день я подъезжал уже по проселку, извивающемуся между волнами золотых колосьев барского поля, к селению, которое тянулось в одну линию под грустным еловым лесом. То было Шарково. Проехав ряд курных изб и деревянную церковь, я увидел помещичий дряхлый дом

с полуразрушенной оградой; двор зарос густою травой, как заповедный луг; повсюду запустение.

«Куда я приехал? Может ли быть, чтобы здесь жил Мемнон?» — думал я, приказывая остановиться подле ворот. Кого спросить? Тут, кажется, ни души нет. В стороне, подле дома, где висела на перекладине деревянная сторожевая доска, пошевелилась человеческая фигура: это был седой старик, с клюкою в руках.

Соскочив с брочки, я подошел к нему.

— Кто здесь помещик?

— Помещик? — отвечал он, сняв шапку и почесывая голову...

— Не Мемнон ли Васильевич Пальмирский?

— Так, так... боярин.

— Дома он?

— А может, и дома. Спрошу у его милости дворецкого. Я взбежал на крыльцо; навстречу мне вышел слуга. Я узнал в нем слугу Мемнона. Он так обрадовался мне, что начал целовать мои руки.

— Где барин?

— В монастыре, сударь.

— Как в монастыре?

— Они изволят каждый день ходить к обедне в соседний монастырь.

— Мемнон, Мемнон! — вскричал я. — Что ж вы тут делаете?

— Бог знает что. Вот уж с полгода приехали и живем, как изволите видеть...

Вслушиваясь в слова старого Никона, я проходил между тем по комнатам, в которых воздух был заражен гнилостью; на стенах обои покрыты были пылью и паутиною. Кое-где стояли дряхлые столики и стулья, на которых изпод оборванной кожи торчала клочьями конская шерсть. Стекла в окнах от времени потускнели, сделались радужного цвета. В одной из угловых комнат стояло старое канапе, на котором раскинута была бурка и в головах лежала кожаная подушка; у стен пустые шкапы с отбитыми дверцами...

— Боже мой! неужели здесь живет Мемнон?

— Как видите, сударь, — отвечал Никон со слезами на глазах и стал рассказывать мне про барина своего.

— Такой богомольный стал, что и бог ведает, — говорил он, — посадит меня подле кровати, да и велит читать,

а сам лежит, как мертвый. А как прослышит колокол в монастыре, вскочит и идет... станет на паперти, да и молится. Вот уж полгода ведем такую жизнь... Хоть бы выговорили его...

— Скоро он будет?

— Теперь скоро.

Я бросился на канапе, закрыл лицо руками и не мог слушать ропота старика на своего барина. Судьба Мемнона приводила меня в содрогание.

— Дай мне чаю, Никон,— вскричал я, чтобы удалить его от себя.

— Чаю?— отвечал он, горько улыбнувшись.— Да мы, сударь, позабыли, как и пьют-то его!

Я взглянул на Никона и не знал, что говорить.

— Разве молочка прикажете... Барин ничего не изволят кушать, кроме хлеба да воды.

Никон вышел, а я, как полоумный, вскочил с места и заходил по комнате — думал о Мемноне, о себе, думал о прошедшем, сравнивал надежды юности с наступившею действительностью, как роскошный цвет с плодом, побитым судьбой,— искал, не осталось ли чего-нибудь для будущности,— и не находил.

— Барин идет!— вскричал вдруг прибежавший Никон.

Я бросился навстречу и почти без слов упал в объятия бледного, со впалыми глазами человека, в длинном черном сюртуке.

— Ну, счастлив ли ты?— спросил он меня.

Безгласно смотрел я на Мемнона и снова обнимал его; слезы катились из глаз моих градом.

— Елена твоя,— продолжал он,— кому же ей принадлежать, кроме тебя, которого она любит? Я это видел. Отец прочил ее за серба Вранковича, но я откровенно сказал Вранковичу, что она не может быть его женою, потому что любит другого. Добрый серб отказался от прав на руку Елены, не имея прав на сердце.

— Вранковича, Вранковича?— повторял я совершенно безотчетно, и мне казались слова Мемнона насмешкою — я смотрел на него безумным взором.

— Обними же меня еще,— повторил он.— Я рад, что ты обязан мне чем-нибудь... Ты счастлив, и для меня довольно...

— О, спасибо, спасибо, друг!— вскричал я, сжимая его в судорожных своих объятиях.

— И я счастлив,— продолжал Мемнон,— хоть, может быть, не всякий поймет счастье мое... Пойдем, я тебе расскажу.

Молча проходил я с Мемноном по пустым комнатам до его спальни.

— Ты счастлив?— сказал я, без всякого внимания сядя подле него на канапе. В то время в мыслях моих были Елена, серб и сам я... три существа, погибших для счастья.

— Если бы ты видел,— вскричал Мемнон, всплеснув руками,— если бы ты видел ее! Я не в состоянии описать тебе красоты, которая выше человеческого понятия!.. Я могу только назвать ее по имени... ее зовут Верой!.. Я мог бы тебе показать ее, да это было бы соблазном чувств; я и сам не смею на нее смотреть... Довольно появления, присутствия ее, чтобы испытать всю полноту блаженства, какое только возможно на земле... Не спрашивай меня, кто она!.. К чему этот вопрос? Ты видишь: я здесь не в кругу людей, которым нужно имя, звание, значение в свете для тех, кого они хотят удостоить своей любовью или дружбою... Это не какая-нибудь светская красавица, которая никуда не годна без своего богатства, пышных украшений, без выученных приличий и приемов, без своих титулов и золота... Нет! она не героиня романа, которую, не чувствуя любви, можно уверять в любви; с которой одно наслаждение — объятия; которую можно осыпать нечистыми поцелуями и потом возненавидеть... Нет! она недоступное существо для всего, что пахнет землею!.. О, добра ближняя, искренняя моя! Вся добра, и порока нет в ней!.. Голубица моя в покрове камени!..

Я слушал Мемнона и невольно забыл собственную судьбу; он пробудил во мне сострадание.

— Друг мой,— продолжал он,— ты знаешь сладость любви, тебе понятны все наслаждения взаимности; по ты обладаешь чувствами той, которую любишь; ты властелин ее с той минуты, как она твоя; ты все для нее, у тебя нет счастливого соперника...

— Счастливого соперника! О, не говори, Мемнон, обо мне, говори о себе!.. Ты несчастлив!..

— Я несчастлив? Кто тебе сказал?— возразил он с удивлением.— Нет! счастья моего не нарушат люди всеми своими ухищрениями и соблазном... Знаешь ли ты... если бы она посвятила мне миллионную долю святого чувства, которое питает к Нему, как бы я был блажен! От утра до

вечера и от вечера до утра я все бы молился; ни одного мгновения не помрачил бы ни задумчивостью, ни печальным вздохом... Но это слишком... Глупо добиваться слова «люблю», когда чувство говорит яснее взорами!.. Нет! прочь сомнения!.. Я видел — для чего ж взор поверять слухом?.. Да, мой друг, я видел, я чувствовал, что я...

Мемнон бросился ко мне на шею и почти шепотом произнес: «Я любим!..»

— Да, слушай: она прошла мимо меня, взглянула на меня, приложила руку к сердцу и подняла взор к небу... Довольно ли этого? а? скажи мне, друг мой... Что ж ты молчишь?.. Поделись со мною счастьем: во мне избыток его... Обойми меня!

Глаза Мемнона сияли радостью, крупные слезы выступили на них; я сжал его в объятиях, и мы оба зарыдали. То был дележ земного счастья — счастья земного!

— Ты понимаешь меня,— продолжал Мемнон,— потому что ты любишь и любим!

Что было мне отвечать на его слова? Они сдавили мне сердце, и казалось, что вместо слез текла кровь из глаз моих... Я не мог и не хотел упрекать Мемнона за судьбу свою, не мог и смотреть на него, не в состоянии был выносить его взоров. «Безумен он,— думал я,— смеется он сам над своей судьбой или верх несчастья так же сладостен для человека, как верх счастья?»

— Неужели ты останешься здесь навсегда?— спросил я его.

— Куда ж мне ехать? Бежать от счастья?— отвечал он, смотря на меня с удивлением.

— У тебя есть родные, ты еще молод; ты обязан жить не для одного только себя, но и для других, принести какую-нибудь пользу людям...

— Я думал об этом, друг мой!— отвечал он.— У меня есть имение; я отдам все родным и бедным, мне ничего не нужно здесь...

Напрасно уговаривал я его возвратиться в свет, хотя слова мои и противоречили чувствам: я сам готов был бежать отовсюду, где живет мнимое земное счастье, отовсюду, где говорят о любви и надеждах, отовсюду, где люди могли бы спросить меня с участием: отчего ты мрачен? что тебе изменило на земле? Но я сравнил судьбу свою с судьбою Мемнона. Он имел право жаловаться на людей, а я на кого должен был роптать? Мне ни дружба, ни лю-

божь не изменяли... Я все получил, чего желал... все, кроме сердца Елены!.. Оно не было в распоряжении людском... Елена ли виновата?.. О, обманутый самим собой, я погубил ее благо вместе с человеком, от которого оно зависело...

Слова Вранковича: «над сердцем две воли — своя да божья» — звучали над ухом, и серб, добрый серб, как вкопанный, стоял передо мною с стаканом в руках, повторяя: «Пий руйно вино, за здравье моей сестрицы! Была у меня сестра, да не стало!..»

— Ты счастлив! — повторял мне Мемнон. — Я рад, что ты обязан счастьем моей дружбе!

— Что это значит, Мемнон? — спросил я, когда ему подали вместо обеда хлеба и воды.

— Это моя обыкновенная пища, — отвечал он. — Я не чувствую потребности в другой, а потому и не употребляю.

— Не убийство ли это плоти?

— Нет! я отказываюсь только от наслаждений, которые она мне предлагает взамен духовных. Что мне в тучности и красоте ее, если я должен отдать все мои чувства и желания в рабство ее прихотям?.. Она, как хитрая жена, овладев волею своего мужа, расточит все богатство его с своими любимцами, лишит доброго имени, сведет с ума и погубит себя и мужа.

— Слаб тот муж, который из боязни, чтобы жена не овладела им, держит ее взаперти, на хлебе и на воде! — сказал я. — Мне кажется, согласия и взаимного довольствия должно добиваться в таком союзе.

— Друг мой, друг! — сказал Мемнон. — Она и он могут жить согласно, счастливо, роскошно, наслаждаться взаимно без греха, но... если он ослеплен и не видит уже ничего пред собою, не заставит ли любовь к нему и ее отказаться от всего?

— Бедный! не ты ослеплен, а она! — хотел я сказать, но в отдалении послышался звон колокола.

— К вечерне! — сказал Мемнон, вскочив с места, и, забывая о моем присутствии, он торопливо пошел.

— В монастырь, сударь, пошел! — сказал Никон, вздыхая.

Любопытство заставило меня идти вслед за Мемноном.

Монастырь был не далее версты от дома, в вершине лесистой лощины.

Я видел, как смиренно вошел Мемнон в церковь и стал у стенки. Сотворив несколько земных поклонов, не подни-

мая глаз, он поклонился на все стороны, хотя в храме почти никого еще не было. Монашенки пели на крылосах, и ряд их стоял у стены, против алтаря. Я замечал, куда обратит Мемнон взоры свои, но он был полон молитвы. Взоры его были поникнуты с какою-то боязнью взглянуть на все его окружающее.

Перед окончанием вечерни раздался колокольчик; сквозь толпы богомольцев-поселян прошли две монашенки, одна с кружкой, другая с серебряным блюдом.

Я смотрел, когда они приблизились к Мемнону, и, может быть, только я видел, как одна из них, поклонившись ему, приложила руку к груди и подняла взор к небу.

Надобно было видеть и ее и Мемнона, протянувшего руку к блюду, чтобы положить серебряную монету.

Она была полна красоты печальной. То был лик благочестия и смирения. Я смотрел на Мемнона, на нее, думал о судьбе еще трех существ и молился, не чувствуя, что слезы падали из глаз моих. Не в силах был я переносить долго положение Мемнона; на четвертый день я простился с ним.

— Торопись, — сказал он, — тебя ожидают объятия любви.

Я поехал. Слова Мемнона: «тебя ожидают объятия любви» — создавали в мыслях моих волшебные обители блаженства, посреди благоухающих рощей, на островах, обмываемых живыми струями серебряных вод. Чья-то жизнь посреди сих очарований полна была неги и взаимности. Вся природа, казалось, слушала, что шепчут друг другу два счастливых существа; поцелуй раздавался посреди благоговеющего затишья, говора струй, шелеста листьев, песней птиц... Ах, Елена, Елена! все мои воздушные замки рушились... заглохла природа вокруг мрачных развалин... а эти развалины были мои надежды! Давно ли создавал я все это великолепие в мыслях своих? Если бы хоть память погибла о том, что тут было, если бы и она обросла плющом! Тут на коре пихты вырезано мое и ее имя вместе — они разрастаются нераздельно... На это имеет право только взаимность — срезать их!

Домой еду я — тороплюсь к жене... Как страшно это имя, когда нет при том мысли: «Она ждет меня! Сердце ее болит в разлуке со мною!»

Вот открылась Москва в отдалении. Страшно было мне на нее смотреть!

Вот направо и налево шум — нет ни к чему внимания ни в душе, ни в чувствах!

Вот дом мой — толпа людей выбежала навстречу, провожает меня — нет ни к кому внимания ни в душе, ни в чувствах!

Я вбежал в свою комнату, сбросил с себя дорожное платье, сел, задумался; голова припала на руку...

— Что с тобою, мой друг? — раздалось подле меня.

То был тихий голос Елены; она припала ко мне на плечо и повторила вопрос свой.

— Здравствуй, Елена! — сказал я, боясь взглянуть на нее и не смея обнять ее.

Попечительно ухаживала Елена за мной. Она думала, что я болен, что меня разбила дорога.

«Как милы, радушны ее попечения! — думал я. — Если бы к участию жены придать участие любви! О, счастье мое было бы неземное! Но она не виновата: не меня избирала она для своего счастья!.. И она — страдалец на земле!»

Задумчив, молчалив стал я, не смел ласкать Елены, не смел называть ее своею — и моя ли она была? Имя мужа не дает права на чувства, и я не дерзал им пользоваться, не вынуждал не принадлежащего мне.

Мое обхождение невольно было почтительно с нею; я даже избегал быть вместе с Еленой.

Однажды случайно я вошел в ее комнату; она торопливо отерла слезы.

«Она плачет по нем! — подумал я. — Как свежо всегда воспоминание несчастной любви!»

Не желая нарушить ее горя... о! я испытал, как сладки минуты слез!.. я хотел выйти.

— Друг мой, — сказала она, — сядь подле меня.

Трепет пробежал по мне от слов, произнесенных с такой нежностью, какой никогда я не слыхивал.

Повинуясь Елене, я сел подле нее. Она взяла меня за руку.

— Ты совсем переменялся с тех пор, как был у брата, — сказала она, приклоняясь к моему плечу.

— Нисколько, — отвечал я, не зная, что отвечать;

— Нет! ты переменялся, ты переменялся ко мне... Ты меня не любишь! — продолжала она тихим голосом, смотря мне в глаза взорами, на которых навертывались слезы.

Какой страшный вопрос для того, кто любит! Я не знал, что говорить мне. Как было решиться сказать, что я знаю ее тайну? К чему ж ей любовь моя, если она любит другого? Неужели это притворство?

Я хотел скрыть от Елены и свое смущение, и ее собственную тайну.

Она снова взглянула на меня и, вскочив с места, принесла младенца — моего сына.

— За что ты так равнодушен к его матери? — произнесла она сквозь слезы.

Я схватил младенца и заплакал.

Елена побледнела, затряслась, припала на диван, закрыла лицо платком и — ни слова! Она поняла все.

— Елена! — вскричал я, взяв ее за руку.

— Я ни в чем не виновата перед тобою, — произнесла она наконец.

— Елена, — повторил я, — мы оба не виноваты! Судьба соединила нас... Если бы я знал... что сердце твое не свободно...

— Постой, не говори, — сказала она, схватив меня за руку, — дай мне прийти в себя... я тебе все скажу... я виновата пред тобою... я скрывала...

Слова ее прервались. Я молчал, хотел встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, не зная, чем утишить волнение крови. Елена удержала меня.

— Не оставляй меня... выслушай признание, — сказала она. — Я вижу — ты знаешь, что я любила... Отец мой сам, может быть, внушал в меня любовь к воспитаннику своему; отец мой желал выдать меня за него замуж... Но он сам отказался от меня... Это меня убило сначала. Долго не могла я изгнать из себя привязанности, но, уже замужем за тобою, я опомнилась; любовь твоя ко мне изгнала даже воспоминание... Я хотела сказать тебе, оправдать себя за равнодушие, с которым принимала твои ласки, но я боялась, медлила — и это обратилось в новую задумчивость во мне, и ты сам стал ко мне равнодушнее. Я плакала втайне, любила тебя и не смела показать того — о, я тебя любила!.. Неопытное мое сердце могло только безумно грустить по человеку, который сам забыл меня, но, согласись же,

могла ли остаться во мне хоть искра любви к тому, кто изменил?

— Елена, Елена! а если он не изменил тебе? Если его обманули?

Елена остановила на мне взор свой с недоумением, и я стал рассказывать ей поступок Мемнона и встречу мою с Вранковичем.

Когда я повторял собственные слова Вранковича: «Пий руйно вицо за здравье моей сестрицы Лильяны! Была у меня сестра, да не стало!» — «Так называл меня Радой», — сказала Елена, припадая головою на грудь мою.

Когда я сказал: «не насиловать сердца; над сердцем две воли — своя да божья», я чувствовал пылающее дыхание Елены и видел на глазах ее крупные слезы.

— Ты жалеешь Радой? — спросила она меня, когда я кончил рассказ.

— О, я жалею его, я люблю его! — отвечал я. — Я был бы счастливее... но я не виноват... Судьба лишила нас всех троих счастья!..

— О, нет, друг мой! то воля providения: оно премудро, — сказала Елена голосом ангела-утешителя. — Мы должны его благодарить; по воле его я твоя, и все во мне твое. Не сам ли Радой сказал, что над сердцем две воли: своя да божья? Бог заботится о нашем счастье, и мы должны любить то, что он нам дает. Мое счастье все в тебе было предназначено. Почему знать, может быть, и Радой гораздо счастливее будет с другою? Он не поверил бы так легко словам Мемнона...

— Елена! это доказывает только его доверчивость к людям: мог ли он думать, что брат твой скажет ему неправду?.. Мемнон так ужасно обманул сам!.. Он думал только о моем счастье... о счастии друга.

— Нет, нет! Радой приехал бы сам!.. Но... все равно: я отказалась даже от воспоминаний об нем с минуты получения его письма... А потом я стала любить, сперва свой долг, а наконец... тебя только люблю!

Елена держала мою руку и смотрела в глаза мне, как будто ожидая приговора ее сердцу.

Я ждал ее в объятиях, и никогда столько счастья не ожидал я от своей будущности! Радой был общим, невидимым нашим другом. Мы часто говорили об нем, почти каждый день спрашивали друг друга: «Где-то теперь добрый наш Радой? как-то он поживает?»

Я писал к Мемпопу, уговаривал его приехать к нам хоть на несколько дней; он не отвечал... Судьба его мучит меня, но есть ли средства изменить ее?»

Здесь кончилась рукопись. Но вот какие странные обстоятельства: перечитывая ее, уже переписанную для издания в свет, я точно так же, как в первый раз в Варне, задумался: «Журнал она чьей-нибудь жизни или просто журнальная повесть, во всем смысле этого слова?.. Вранкович... Кто ж этот Радой Вранкович, который один только так жив в повести, что хочется на него хоть взглянуть? Вранкович!.. Странно! фамилия как будто знакомая... Нет! — то Бранкович... Но какое-то сходство... в темной памяти». Послушайте...

Я стоял в то время на левом берегу реки Прута, против Скулянского карантина, когда на молдавском берегу происходила картина ужасная. Вся равнина была покрыта бегущим из Молдавии народом от войск турецких, которые преследовали последний отряд разбитой этерии Ипсилянты. Вся эта толпа — в колясках, в каруцах, верхом, пешком с страхом, говором и шумом теснилась к переправе на нашу сторону. Пыль стояла тучей по дороге из Ясс.

Вдали за горой раздавались выстрелы... все ближе и ближе... Вдруг на высотах взвился как будто столб вихря, разостлался по скату и пошел быстро к переправе... Это бежали несколько сот этеристов, преследуемых турками и выстрелами. В несколько мгновений вся эта свалка сблизилась с толпами народа, занимавшего все пространство против переправы и хлынувшего от ужаса на паром и в воду. Преследуемые, этеристы бросились вправо, в кут реки, и здесь еще думали обороняться и удержать напор турков единственною пушкою, заряжаемою остатками гвоздей. Но турки выставили против них несколько орудий, и дело было решено: все бросилось в воду и спасалось от преследования под кров нашего берега, уставленного войсками и орудиями. Турецкие пули метко подстреливали плывущих; по реке заструилась кровь и поплыли трупы убитых и утопших к морю. В то время обратил я особенное внимание на одного этериста, который стоял на коленях и не переставал стрелять по туркам, прикладывая ружье на лежащий перед ним камень, как на бруствер. Он один был за щитою переправы товарищей своих, но, верно, заряды его

истощились все; он встал на ноги, ударил ружье о камень и бросился в воду — поплыл. «Ай, боже, боже!» — раздался на реке, вправо от переправы, звонкий голос; то была девушка, которая уже утопала и молила о помощи... Этерист, казалось, услышал этот голос издали и поплыл вниз по реке под пулями турецкими, выхватил девушку из воды, вынес на берег, положил на землю и упал подле нее, весь в крови. Увлеченный чувством, я бросился к ним, но вспомнил, что нас разделяет карантинная цепь. Но я видел лицо девушки. По красоте своей, по черным глазам, над которыми срослись густые брови, и по большим ресницам, как будто отражавшим блеск взоров лучами, и по одежде я думал, что она молдаванка. Длинные локоны ее смокли от воды и разостлались по пунцовой бархатной, шитой золотыми снурками кацавейке; на ней было белое платье, и стан перетянут кожаным поясом с большою чеканенною пряжкой. Она стояла на коленях перед своим спасителем и перевязывала ему плечо. Я не насмотрелся бы на нее, если б не обязанности службы. Чрез несколько дней я приехал снова в Скуляны. Противный берег был уже пуст, но зато берег с нашей стороны, подле карантина, был занят биваком бежавших из Молдавии; они были окружены цепью солдат и выдерживали карантинный термин. В раскиданных толпах по лугу с трудом нашел я то, чего искали глаза мои. Под навесом наброшенного плаща, на воткнутых в землю жердях, она сидела на ковре подле этериста, который лежал, приклонив голову на ее колени. Мне хотелось с ней говорить, но каким образом? Как подзывать ее к цепи?

К счастью, мне пришла мысль, что, может быть, она подойдет покупать провизию к маркитанту карантинному. Терпеливо прогуливался я в ожидании по берегу, не спуская с нее глаз. Перед вечером ожидание мое сбылось. Она подошла к намету маркитанта и спросила по-молдавански *кочковалу*¹, хлеба и яблоков, опустив *галбин*² в чашку с укусом.

— *Фата формоза*³,— сказал я ей,— скажи мне, как тебя зовут.

— Мирослава,— отвечала она.

— Неужели это молдаванское имя?

¹ сорт сыра (*молдав.*).

² золотую монету.

³ красавица (*молдав.*).

— Я не молдаванка, я сербка.
— Где ж твои родители?
— Отец служил при князе Суццо... Агой — его убили турки...

— С кем же ты здесь?
— С родичем сербом Бранковичем.
— Это, верно, тот этерист, который спас тебя, когда ты утопала во время переправы? Я был свидетелем его доброго поступка. Он ранен?

— Он ранен, — повторила Мирослава.
— Ты любишь его?
— Кого ж мне любить, кроме его? Сам бог послал мне его вместо отца и матери.

Мирослава удалилась, а я долго еще стоял и думал: «Счастлив тот, кому бог пошлет тебя — перевязать рану сердца», — прибавил бы я теперь, если б был уверен, что спаситель Мирославы некогда любил Елену.

С тех пор я не видал уже Мирославы, но теперь, по прошествии восемнадцати лет, читая рукопись, припомнил я все обстоятельство и почти убежден, что этерист, которого я видел, есть именно Вранкович, тем более что, сколько мне помнится, он также был в черной венгерке и в черной скурфе, обшитой серебряным шнурком.

Это один случай, подтверждающий истину повести; а вот и другой, который, как мне кажется, относится до Мемнона. Описываю слово в слово рассказ пожилой няньки, которая уже года с два живет у меня в доме.

Слушая часто, мимоходом, ее болтовню про всех господ, у которых она жила, мне показался язык ее так оригинален, что я вздумал написать рассказ ее со всею простою и болтливостью, свойственною такого рода женщинам, у которых в памяти много есть любопытного и годного для повестей и романов.

Вот что она говорила мне.

«— Извольте видеть, — начала она, — доложу вам, что старая моя барыня смолоду, и бог ведает, как хороша была. На бал ли поедет, в гости ли или дома музыка и танцы — все молодые графы да князья так к ней и ласться, отбою нет! А матушка ее, Ульяна Петровна, строгий человек была: прислушивает да присматривает, чтобы какой молодец не наворожил чего на девичье сердце. А уж какие хитрые, способные, и боже упаси! Один военный, знаете, сидит подле Лизаветы Васильевны да что-то и шушукает, а я ба-

рышние стакан воды подношу да и слышу, говорит: «Ах, сударыня моя! везде я был, был и в Аглецком краю, да что ж то за край, где нет солнца и вас, Лизавета Васильевна?» Девичья молодость всему верит. Верно, ей по душе было, а я не величка была, да рассудительна. Думаю себе: видишь какой! рассказывал бы эти сказки не белому дню, а темной ночи... В Аглецком краю солнца нет! Да что ж там при свечках, что ли, люди живут?..

А Лизавете Васильевне военный смельчак пришелся по сердцу. Она было вздохнуть, да любовник песенки попевать за фортопьянами, а тут и присватайся титулярный ассессор Иван Лукич — Ульяна Петровна и рада. «Ну,— говорит,— Лизанька, ты уже в поре невеста, а нам бог дает и жениха чиновного, человека служебного, и с орденом, и с аттестациями».

Ульяна Петровна, знаете, сидит вот так в креслах; Лизавета Васильевна подле столика за работой, а я стою себе за дверью, вяжу чулок да прислушиваюсь к словам. Вот, не успела еще Ульяна Петровна кончить речи, а Лизавета Васильевна как вспыхнет да в слезы — дурно, дурно!.. Да Ульяна Петровна не больно смотрела на дурноту. «Что это такое, сударыня? — говорит. — Да что это, сударыня, такое?» Да как припустит на нее, а та сама не робка: «Не пойду, да и только!» — «Как? из материнского послушания выходить? Не пойдешь? не пойдешь?» — «Не пойду, да не пойду!» — «Вон! В девичью! Платье долой!..» Тут кликнула Ульяна Петровна меня... Я так и трясусь, сама не своя от страху. Приказывает мне принести затрапезное платье... Ах ты, боже великий! ничто не берет!.. Лизавета Васильевна сбросила с себя шелковое платьице, да и пошла в девичью; села в угол и пи слезинки. То-то подумаешь, какая была она добрая, а с той поры что за изверг стала! И Ульяне-то Петровне велика нужда была насиловать душу! Три дни просидела Лизавета Васильевна в девичьей на хлебе да на воде... «Соглашаешься?» — «Нет!» Мы, бывало, тайком принесем ей пирожка с кашей — оттолкнет рукой от себя... да и только!

Как прошли три дни, Ульяна Петровна и послала ей платье, да и приказала к себе идти. «Пойдешь замуж?» — «Пойду!» — говорит, да таким голосом сказала, что меня ужас взял. Ну, не будет добра! Так и случилось... То-то: создаст бог душеньку светлую, ласковую — не налюбуется на нее; а люди изнасилуют, да и сделают ехидом!

Спросить бы Ивану Лукичу: угодно ли, дескать, сударыня, вручить мне вашу руку и сердце? А он такой скромной был — ни слова; женился по словам свахи: любит, батюшка, вас, как душу любит; женился — да и покаялся. Меня отдала Ульяна Петровна в приданое. Бывало, Иван Лукич приласкается, скажет: друг мой, Лизинька, а она — как закаленная; он приноровит, а она так и рознит. Да до того дошло, что, бывало, сердце кровью обливается за Ивана Лукича. Отучила от дому и знакомых, и родных, сбита с толку всю службу; он велит то, а она напротив. Иван Лукич слово, а Лизавета Васильевна десять. Он рассердится, а она прикинется в обморок. Забеременела — еще хуже: так и клянет детище в утробе, прости господи ей греха! Не хочу носить, да и только, — да и пошла колесить по мостовым; потоль, на снос, в дальнюю деревню — взяла только меня с собой. И родила девочку, такую хорошенькую, что и господи! А никто не знал, не ведал, да и принимала-то не бабка, а я. Вот, думаю себе, бог примирит отца и мать на детище. Не тут-то было: и христианского долга не исполнила, точно... прости господи!.. Да уж бог с ней!.. Велела мне завернуть ребеночка да отнести тихомолком к кому-нибудь под окно. Да говорит: смотри, если промолвишься кому, кожу сдеру, со света божьего сгоню! Ох, небесная сила! Во мне все жилочки порвались... что за мать! ах, она изверг!.. Да что ж, наше невольное дело: делай, что приказывают... Вот завернула я голубушку крошечку всю в одеяльцо, положила в кулечек, чтобы не признала дворня, да в ночь и отнесла под окно старосты, положила на присытбе, да так и взрыдала! Воротилась домой, а на душе точно камень. А тут пришли филипповки, я и говорю: «Позвольте мне поговорить, сударыня». Позволила. Я на духу и не утерпела: сказала священнику весь грех, да прошу, не погубил бы меня, не рассказывал никому. «Не бойся, не скажу», — говорит — такой добрый отец Иаким! Помолилась и за барыню, причастилась, как будто и легче стало. Вот мы собираемся ехать в Москву, а священник прислал тихонько за мной: побывай, дескать, Ирина Тимофеевна, есть дело. Покуда барыня изволила покушать на дорогу — я к священнику. А он поднес мне бумагу писанную, начертил на ней крест, да и говорит: приложи руку. Я так и затряслась. Что ж это, донос, батюшка? Не бойся, это свидетельство о рождении и крещении младенца Веры, церковный документ. Перекрестилась я, да и приложила руку

к бумаге... Никак замарала, батюшка? А отец Иаким говорит: «Ничего, ничего, ступай с богом!» Я и пошла. Вот приехали мы с барыней в Москву. Как вошел барин в комнату, я и прислушалась у дверей. «Где ж наше дитя, мой друг?» — спросил он не своим, сердечный, голосом. «Умерло», — отвечала Лизавета Васильевна, как будто и не ее дело. «Ах ты, окаянная!» — подумала я себе. Иван Лукич так, голубчик, и заплакал. Ах, боже ты мой! сроду не видала мужских слез, привел бог увидеть горчайшие.

Прошел годок, смотрю, а военный смельчак, что барыне, как она еще барышней, турысы на колесах рассказывал, начал в дом учащать, и завела барыня балы да вечера, да катанья. И повесил Иван Лукич носик, вот, как голубь, ей-богу! Такой добрый был: не по сердцу, а угождает барыне — не поднимай лишь содома! Ему же хотелось все деток иметь. Ну, и дал бог детище, еще дочку. Да не порадовался Иван Лукич: барыня, бывало, и поцеловать не даст ему дитя свое, а сама так и нежит, так и ластит. А какая крикливая уродилась, бог с ней, вся в мать! Припомнила я первую дочку: как небо от земли! Что это такое, подумаешь! Кажись, одной утробы дети, а не равна любовь к ним. Крестины, не крестины — обед да бал, и прозвала она вторую дочку свою каким-то не русским именем, черт знает, Розиной! Другой сказал бы барыне, что, дескать, матушка, сударыня, ей-ей, что бы за имя такое бранное: разиня? За что детище свое прежде времени не добром величать? Ведь это, матушка, французы смеются над нами! Да она не такова была: своих речей к ее речам не прикладывай.

Не прошло пяти годочков, Лизавета Васильевна выжила Ивана Лукича совсем из дому. Горемычный уехал в свои поместья, да и поминай как звали. Тут-то пава широко хвост развернула, петухом пошла; в дому содом, да добро бы только от нее, а то и от дочки-то, бывало, места нет. Уж, правду сказать, по зверю шерсть, а по человеку честь — такая разиня, да и красотой-то, бог весть в кого, неудачная!

Вот однажды поехали мы в село, то самое, где барыня родила первую дочку: приехали да на другой день в церковь. В церкви-то, вижу, барыня посматривает на девочку в беленьком платьице, стоит у самого крылоса, — такая хорошенькая! Барыня смотрела, смотрела прямо, да и стала вдруг искоса поглядывать на нее. Как все пошли из церк-

ви, она и призови священника: «Чья, дескать, это девочка?» — «Это, сударыня, — заговорил священник, — сиротка, найденный, выросла у старосты, да я взял ее на воспитание — такая добрая, благоразумная, не крестьянская должна быть». Как нахмурится барыня да закусит губы: «Я, — говорит, — возьму ее к себе». Отец Иаким спроста и поверь. «Слава богу! — думает, — материнское сердце отозвалось». Как всмотрелась я — вылитый Иван Лукич! Ах! ты, господи! Как лик отца небесного на человеке, так лик отца родного на детище! Собрались в Москву, и взяла барыня Верочку с собой — привезла, да в девичью и приписала ее в крепостные — ей-богу! А у меня так сердце и облилось кровью! Ну, уж вот наплакалась я вдоволь по сироточке: как засадит она ее за всякие работы, как пачала казнить ее, что час, что день, как заставит прислуживать неключимой Розине Ивановне, а на вечер посадит у себя в ногах, на полу, вязать чулки! Боже ты мой великий, и знаешь все, да молчишь! Да и кому ж промолвить, что это, дескать, барышня, да еще и дочь барская, сестра Розине Ивановне... То-то и горе наше, что есть правда, да под спудом. А Верушка такая угодливая, послушная... Счастье же, что полюбила ее Розина Ивановна; бывало, барышню учат всему мадамы да французские учителя, и Верушка перенимает. Да не надолго были к ней любовь и милость. Как подросла Розина Ивановна, да минуло 15 лет, а и стала ей чужая красота глаза колоть. Однажды, на беду, вздумай она да и наряди Верушку в свое поношенное платье, да еще возьми с собой в Шереметьевскую. Народ-то, знаете ли, начал дивиться: кто-де это такая благородная барышня? Да все и уставь на нее глаза, а Розина Ивановна и заметь, да так и загорелась с досады. Признательно сказать, и сама я подивилась красоте Верушки, как ее принарядили: белая, румяная, как писанная на портрете, стан в рюмочку, волоса — волос к волосу, как шелковые, очи ангельские, и речь-то что за приятная, ласковая! Ей-богу! ты дивись, а породистая кровь видна, хоть в дерьмо наряди. Как приехала барышня домой, да и нажаловалась барыне на Верушку. «Ах! ты мерзкая, — говорит, — ты бояриться? В кухню ее, в прачешную!» Голубушка ты моя! уж какими же и путями спас тебя бог от ехидов! Смотрим: приехал знакомиться молодой богатый помещик.

Барышне и приглянулся он, так и увивается около него, и барыне, верно, пришлось по нраву зять. А Захар

мне и мигнул: вот, дескать, тот молодой барин, что допрашивал в церкви про Верушку: кто такая барышня да где живет? А я чуть-чуть не лопнул да говорю: не могу знать.

Я и смекнула делом: голубчик ты мой, думаю, не туда ты силочки ставишь!.. Говорил, говорил он с барышней, да и бряк: «Вы,— говорит,— такие набожные, Розина Ивановна, я это заметил». — «Да когда же это?» — спросила она его. «Да вот четвертого дня, в Шереметьевской, как вы были с подругой вашей, не имею чести знать ее фамилии...» Как вспыхнет Розина Ивановна, да и говорит: «Не была я ни с какой подругой, со мной была моя девка Верка!» Молодой барин и покрасней — помолчал, помолчал и вон; обещал было обедать приехать, да и не приехал. А барышня-то знает, что ластовица¹. Пришла беда Верушке! Барышня в слезы, что девку ставят ей в подруги, а барыня и начала ее уговаривать: я, дескать, сошлю ее в деревню. Дня через два приходит Артамоновна, рухлядью что торгует по домам, да и говорит барыне: а что, сударыня, продадите ли свою девушку Верку? Хорошие бы деньги за нее взяли. Верно, поняла барыня, в чем дело. «Нет,— говорит,— непродажная». И что ж вы думаете? Взяла да и отправила Верушку в деревню, да и дала приказ старосте выдать ее замуж за бобыля Сафрона — дурак дурачина, в дворниках у нас был. Я как спознала об этом, так и грянулась в слезы: ах! ты моя сирота невольная, беззащитная! Родная мать, изверг, тебя иссушит, как былиночку; добро бы змея злая мачеха! Плачу навзрыд. Проходит с неделю, молодой барин и ног не показывает. А барыня прослышала от своей твари наушницы, что Артамоновна приходила в девичью да все выведывала: куда девалась Верушка? Догадалась, верно, что увезут ее из деревни; послала приказ священнику отвести Верушку в соседский монастырь да сдать с рук на руки игуменье, да и написала к ней, чтобы приняла ее девку Веру в услуженье и приписала бы ее в белицы, на искус. Уж этому, признаюсь, я и порадовалась, думаю: божья невеста! А барышня по молодом барине с ума сходит, слегла в постель. Ад настал, исказила, изморила людей! Бывало, дочка не спит, и никто не смей спать, избави боже! Да и у самой барыни ни макового зерна в глазу. Ну, насмотрелась я, как бог наказывает за

¹ ласточка.

грехи слепою любовью! Надо же сказать, что такая любовь хуже ненависти: что дочь ни вздумай, мать душу выложит — рабыня детская, да и только!

Прошел месяц. Приехала к барыне знакомая одна, Степанида Прохоровна, да и завела разговор про именья: брат ищет купить получше деревню, не продашь ли, Лизавета Васильевна? Что тебе толку в дальней, а брату степная и нужна, не пожалеет денег; продай да продай село Чуриково, что хочешь возьми. Барыня и польстилась да еще обрадовалась, что нашла глупых людей, что не торгуясь покупают. Вот заключила контракт, сдала опись душам — деньги-то, верно, нужны были. Праздник не праздник, платье не платье, на жемчужных нитках хоть повеситься, да, верно, не было счастья: что-то женихи не шли на приманку, да, если правду сказать, и счастье-то на казнь злому человеку!

Вдруг однажды приносит почтальон письмо. Как развернула барыня, так и ахнула! Пишет к ней игуменья, что новый помещик села требует по описи девушку Веру. Я себе думаю: господи! как счастье-то ищет Верушку... А барыня как вспыхнет: «Я ему дам Верку!» — да и написала к игуменье, чтобы не выдавала ее, а скорее бы постригла да избавила от соблазнителя, который хотел ее увезти из дому да обманом, для удовлетворения нечистых замыслов, купил через другие руки село Чуриково... Уж расписала так, как нельзя лучше!.. Я поплакала, поплакала да и думаю себе: ну, будь она Христова невеста!

А в ту же пору за барышню Розину Ивановну присватался жених, а я и в ноги барыне: обещала еще матушка вапа пустить меня на волю за верную службу, и вы, сударыня, обещали; уже теперь, в добрый час, дайте за вас бога молить. Да и Розине-то Ивановне в ноги. Вот и дали мне отпускную на волю. Я рада-радехонька: отслужила молебен Иверской божией матери, переехала на квартиру да и ногі не кладу в дом Лизаветы Васильевны. Бог с ней! неравно еще проведает, что я сказала на исповеди отцу Иакому, что Верушка родная ей дочь».

— Послушай, няня,— спросил я по окончании рассказа,— не Мемноном ли Васильевичем зовут молодого барина, что полюбил Верочку?

— Уж того не знаю, не припомню, как зовут, из памяти вышло... У нас все звали его: молодой помещик, да молодой помещик.

— Не ошибаешься ли ты: не Шарковым ли называют село Чуриково?

— Да, Чуриково же я и говорю.

— Не Шарково ли? Шарково?

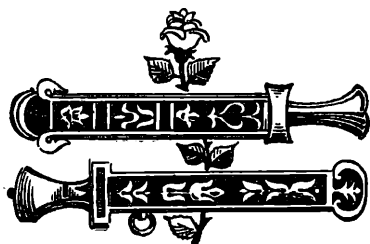
— Так, так, Чуриково!

— Глухая!— вскричал я с досадой.

Таким-то образом от одного слова иногда зависит развязка тайны.

Да что ж сделаешь с глупостью, слепотой и глухотой!

КОСТЕШТСКИЕ СКАЛЫ



В тысяча восемьсот таком-то году один юный *офицер-ди-императ*¹ сидел в белой, раскрашенной вавилонами сна-ружи и внутри *касе*² селения Каменки; сидел в сонливом, а может быть, и грустном положении, склонив голову на перекрещенные руки на столе.

— *Бояр дорми?* Боярин спит?— спросила хорошенькая, миленькая Ленкуца, дочь хозяйская, входя в комнату с букетом цветов в руках.

Юный офицер, которого мы назовем хоть Световым, молчал.

— *Яка, флоаре!* Посмотри-ка, вот цветы!— сказала Ленкуца нежно.

— Эй, кто тут есть! Скоро ли лошади?— вскричал юный *офицер-ди-императ*, подняв голову.

Взор его был мрачен.

— Я давно сказал Афанасьеву, чтоб запрягал,— отвечал, притворив двери, денщик.

Офицер опять склонил голову на руки.

— Ты сердишься?— сказала Ленкуца печальным голо-сом.

— А тебе что за дело?— сказал Светов, приподняв го-лову.

Взоры его блеснули, как у победителя.

— Как что за дело?— отвечала Ленкуца.

¹ Так называли молдаване офицеров свиты его императорского величества по квартирмейстерской части, производивших съемку земель Бессарабских (*прим. автора*).

² доме, хате (*молдав.*).

— Так ты любишь меня, Ленкуца?
— Нет.
— Как нет?
— Я и хотела бы, да не могу тебя любить...
— Отчего, Ленкуца? Скажи, *драгуца*¹ моя.
— Оттого, что ты любишь другую.
— Это кто тебе сказал?
— Я сама знаю. Ты только в будни говоришь, что любишь меня, а сам всякой праздник уезжаешь бог знает куда.

— Что ж такое?
— Как что? Кто любит, тот праздники проводит с теми, кого любит... Вот и сегодня едешь...

— Я еджу к товарищам.
— И, полно! что ты нашел у товарищей?
— Уверяю тебя, Ленкуца.
— Если ты любишь меня, так не поедешь.
— Мне должно ехать.
— Так поезжай! — сказала Ленкуца, вырвав свою руку из рук Светова и быстро выходя из комнаты.

Казалось бы, что одно только образование может дать природной красоте очаровательную приятность, голосу сладость, взорам томность, движениям непринужденность, стану статность, а сердцу нежную любовь; но это все было в Лепкуце, дочери *мазила*, или молдаванского однодворца. Ленкуца скромно удалялась от юношеских преследований Светова; он был в отчаянии. В первый еще раз она высказала ему неожиданно свою любовь, но он не мог исполнить ее требований остаться дома. Для свода съёмок он должен был съехаться с товарищами, и эти съезды обыкновенно бывали по праздничным дням.

Колокольчик зазвенел, четверка быстрых коней, запряженная в маленькую каруцу, украшенную резьбой, подъехала к хате.

— Ах, какая скука! — вскричал Светов.

— Готово, ваше благородие, — сказал вошедший пионер. — Кому прикажете с собой ехать? Молдавану или мне?

— Ты поедешь.

Светов накинул на себя плащ и хотел уже садиться в каруцу, как вдруг с горы несется во весь опор четверка и прямо поворотила на двенадцатисаженную вежу, которая

¹ дорогая (*молдав.*).

возвышалась над палацом¹ Светова и на вершине которой был воткнут соломенный «ивашка-белая-рубашка»². Правил конями кто-то в широких шароварах, в белой куртке и в белой фуражке, правил стоя, как Аполлон конями солнца, и свистел, как Соловей-разбойник.

— Это наши, ваше благородие,— сказал Афанасьев, лейб-возница Светова, радостно смотря на полет коней.

— Кто же это так отчаянно правит?

Не успел Светов произнести этих слов, кони как вкопанные, в пене и в паре, остановились подле хаты. Лихой кучер бросил к черту вожжи, соскочил с каруцы.

— Лезвик!— вскричал Светов.

— Каков у нас кучер?— крикнули сидевшие в каруце, которых под пылью нельзя было узнать в лицо.

— Лугин и Фантанов! Вы под пылью, как мертвецы в саванах. Ай, Лезвик, чудо! Я думал, что вас под гору несут лошади... прямо с крутизны к черту.

— Как бы не так!— сказал Лезвик.— Уж мы и править не умеем!

— Не с большим в три четверти часа двадцать верст.

— Как бы не двадцать!

— Ну, теперь пошел Лезвик спорить.

— Да разумеется: двадцать одна и триста сажень. Да и где ж три четверти часа?.. Мы поехали половина десятого...

— После поспорите, Лезвик; а теперь позавтракать да и в Костешти. А у тебя уж, Светов, и лошади готовы? Прикажи и нам дать свежих лошадей.

— Да мы трое усядемся на твоей каруце, а Лезвик опять будет править. Вместе веселее.

— Так уже лучше знаете ли что? Я велю запречь воловью каруцу: засядем в нее и будем играть дорогой в бостон.

— Браво! Славная выдумка! Приказывай!

— Эй, Афанасьев, ступай распорядись, чтобы сейчас же была воловья каруца, запряженная двенадцатью рысистыми волами. Каруцу обтянуть и покрыть сверху коврами, накласть в нее подушек и разостлать на них мой большой ковер.

Не успел денщик Светова поджарить куриных котлет,

¹ дворцом.

² чучело.

как слышался скрип каруцы, крики и хлопанье бичами.

— Как прикажете, ваше благородие, я не умею править волами, — сказал вошедший Афанасьев.

— А ты не знаешь службы? Что прикажут, то и должен уметь.

— Уж, конечно, ваше благородие, наше подчиненное дело.

— То-то же! Поставить в каруцу складной стол и четыре складных стула... Да в погонщики волов двух верховых.

Покуда завтрак кончился, все уже готово.

Около каруцы собралась вся громада¹ села; все заботливо, как будто делали важное дело, помогали Афанасьеву укладывать и устанавливать в воловье каруце, которая стояла, как дом на колесах: в ширину сажень, в длину две; колеса два аршина в диаметре, а ничем не смазанные буковые оси в палец толщины. Вообще молдавские воловь каруцы бывают без обшивки; бока их составляют параболу, рогами вверх и на подставках.

— Это что за кавалерия, вооруженная бичами?

— Я приказал двух погонщиков, а их наехал целый взвод, — отвечал Афанасьев.

— *Ной мержем ку боерь!* Мы поедем с боярином! — сказали вершники молдаване, которых набралось человек десять.

— Только двух нужно! — сказал Светов.

— *Лас, боерь... лас!* Оставь их, боярин, оставь! — сказал ватаман, кланяясь.

— Пусть их едут. *Хайд!* Мимо Ста Могил²?

— Садимся!

Товарищи засели в каруцу, покрытую сверху и завешенную по сторонам коврами. Афанасьев хлопнул хворостиной по волам; вершники крикнули «*хайд!*» и хлопнули залп бичами.

— *Буна друм, боерь!* Доброго пути боярину! — крикнула вся громада, сняв купимы и провожая каруцу, которая со скрипом потянулась из селения.

— *Хэ! маре драку ностра боерь, тот акаса ла рота пус!* Хэ, большой черт наш боярин, целый дом поставил на колеса!

¹ мир сельский (прим. автора).

² м о г и л а — курган (молдав.).

По неровной дороге, берегом реки Каменки и в гору, волам позволялось идти обычным своим шагом. Светов, Лугин, Фантанов и Лезвик играли спокойно в бостон; но едва волы выбрались на отлогий скат к реке Пруту, верховые молдаване гикнули, хлопнули бичами по ребрам волов, и — волы поскакали, складной стол прыгнул с пожек, карты полетели, один из бостонистов опрокинулся на подушки, крича: «восемь в сюрax».

— Проклятые! расстроили игру!

— Какая же игра, господа, на почтовых волах! Пошел!

— *Хайд!* — повторили в десять голосов лихие *калараши*¹, свистнув и хлопнув по ребрам волов арапниками.

Выпучив глаза и подняв хвосты, волы скакали; каруца, не уступавшая величиной вагону железной дороги, мчалась быстрее паровоза; верховые молдаване как сумасшедшие скакали по сторонам с криками и хлопаньем. Лезвик, не утерпев, выскочил на передок, выхватил из рук Афанасьева хворостину, гикнул — в одно мгновение каруца была уже на береговой дороге, повернула к Костешти и вскоре очутилась на пространстве Ста Могил.

— Тут, верно, было какое-нибудь сражение? — спросил любознательный Лугин.

— Это просто обросший от времени обвал крутого берега.

— Не может быть! — сказал Лезвик.

— Отчего не может быть?

— Да так, быть не может.

— Доказательство ясно.

— Разумеется, что не может быть! — повторил утвердительно Лезвик.

Лезвик заспорил бы всех, но, к счастью, крик, хлопанье бичей, грохот и дребезг каруцы мешали спору.

С горы и по ровной дороге волы дружно несли ярмо, но едва подъехали к скалам Костештским, в гору, не тут-то было: ни волы, ни крики, ни арапники — ничто не везет. Нечего делать: послали Афанасьева в Костешти пригнать пары три свежих волов, а между тем Лугин, Фантанов, Лезвик и Светов вышли на отдельную высоту полюбоваться игрой природы.

Так называемые «скалы Костештские» выдаются из крутого берега реки Прута и берега реки Чугура и переле-

¹ вооруженные всадники (молдав.).

гают зубчатой стеной через реку Прут, которая течет сквозь брешь, пробитую, вероятно, волнами всемирного потопа.

Лезвик уже стал спорить, что это искусственные, а не природные скалы, но пригнанные три свежих пары волов втащили на гору прежних двенадцать и каруцу. Пора было ехать, чтобы не опоздать в Костешти к обеду товарища Рацкого. Девять пар волов прибыли наконец к деревне Костешти. Тут им придали рыси, и они скоком приволокли каруцу к хате Рацкого. Все, что было у него товарищей, высыпало дивиться торжественному приезду патриархальной колесницы.

— Посмотрите, господа,— сказал Лезвик, едва только успели надорваться груди от смеху:— вот говорят, что это природные скалы!

— Ха, ха, ха!— раздалось снова.

— Похожи на природные!

— Какие ж природные, господа?— сказал один *офицер-ди-императ.*— Это искусственные.

— Это просто была плотина, которую прорвала вода,— сказал Лезвик.— Пойдемте, посмотрите сами.

— Пойдемте, пойдемте сами!— вскричали все.

— Пойдемте.

До скал было не более двухсот шагов от квартиры Рацкого. Берегом реки подошли к гранитным воротам, сквозь которые катился сжатый Прут и где впадал Чугур. По камням пробрались на другую сторону, где был пикет казачий.

— Что, Лезвик? Искусственные скалы? Плотина?

— Разумеется. Спросите хоть у казака. Эй, казак, что это, плотина или природные скалы?

— Чертова плотина, ваше благородие,— отвечал лихой казак.

— Все-таки моя правда,— сказал Лезвик.

— Согласны, если черт строил ее.

— По мне все равно, кто строил. Только я говорю, что искусственная, а не природная!

— Действительно, ваше благородие, черт строил, только не русский, а молдаванский, по имени *Драку*.

— Ты не был ли при этом?

— Нет, ваше благородие: это было в давние времена, при моем деде. Он вот как раз стоял на этом месте на часах и видел, как все происходило.

— А как же все это происходило?

— Долга сказка, ваше благородие, да притом же и не даровая.

— Вот тебе задаток,— сказал Светлов, подавая казаку золотую монету.

— Извольте слушать,— сказал казак.

«Вот по сю сторону Чугура было царство Болгарское, а по ту сторону жили хохлы-руснаки. У хохлатского царя была дочь Лунка-царевна, а у болгарского хана «бритая голова, плешь засаленная» был сын Тартаул-царевич, великий богатырь и наездник. Когда пришло время выдавать прекрасную Лунку-царевну замуж, хохлатский царь послал гонцов во все царства с портретами своей дочери и просил царей и царевичей к себе на пир великий и ратоборство, кому честь, и слава, и рука царевны. Вот съехались со всех стран цари, и царевичи, и богатыри великие. Сам царь встречает, есаулы гостей под руки принимают. Началось полеванье. Всех победил угорский королевич.

— Ну, говорит, богатыри и витязи, с кем еще копыя померять, силы изведать? Или нет больше ни храброго, ни удалого?

— Есть еще один!— крикнул богатырским голосом витязь «светлая броня, ничьим копьем не оцарапана».— Не нужно,— говорит,— ворот отворять, моему коню высокий тын не помеха.

Глядь, уж стоит посреди поля. Разъехались добрые молодцы, тупым концом позабавились. Не успели глазом моргнуть, а угорский королевич лежит на земле. Повели витязя в палаты под руки, встречают его с кубками заздравными, подносит царевна венец ему, просит снять шлем богатырский. Снял витязь шлем, а под шлемом шлык: так все и ахнули.

— Нет,— говорит царь хохлатский,— не пойдет моя дочь замуж за бритую голову!

— Царь-государь,— сказал витязь,— не в хохле дело, а дело в том, полюбит ли меня прекрасная дщерь твоя; если любит, то я, изволь, отрощу хохол до пяты.

Царевна сладко очи потупила. А дарь сказал:

— Ну, будь по-твоему, будь ты мне зять нареченный; проси у твоего родителя благословенья.

Поехал Тартаул к своему родителю просить благословенья жепиться на единородной дочери царя хохлатского.

— Как?— говорит хан «бритая голова, плешь засален-

ная». — Чтоб ты женился на хохлачке, на бараньей голове?

— Ну, — говорит Тартаул, — если не позволяешь, так уж быть беде!

Струсил хан: любил он сына.

— Хорошо, — сказал, — я согласен. Только пусть дает в приданое за дочерью море.

Поехал Тартаул к возлюбленной невесте и говорит дарю: так и так.

— Помилуй, твой отец с ума сошел! У меня и моря нет в целом царстве. Земли сколько хочешь!

— Хитер у меня отец! — сказал Тартаул. — Что делать? Есть, — говорит, — чародей Чугур; поеду, посоветуюсь с ним: у него есть на все отводы.

Приехал к Чугуру: жил он отшельником в горе; посреди леса сидел сиднем на пне и не двигался с места. Приехал, рассказал свое горе: вот так и так. Что делать?

— *Драку шти!* Черт знает! — сказал Чугур.

— Коли черт знает, так попроси его, сделай милость, научить что делать.

— Что дашь?

— Что хочешь.

— Видишь: в вашем владенье, у Гнилого моря, есть сто могил моих предков; перевези их все сюда, со всем, что в них есть.

— Изволь! хоть тысячу!

Обрадовался Тартаул и тотчас же отправил подводы на Гнилое море.

Вот их и перевезли на то место, где теперь *Сута-Мод-жиле*.

— Ну, — сказал Чугур, — спасибо! Я тебе услужу. Ступай к отцу и скажи, что царь хохлатский дает море в приданое дочери. Вези его на свадьбу.

Поехал Тартаул к отцу, говорит ему: так и так, будет море в приданое.

— Да откуда он взял море? — спросил хан.

— Не могу знать. Верно, было какое-нибудь.

— Быть не может. Поедем! А если моря нет, так нет тебе и согласия моего.

Поехали, подъезжают. Царь и царица их под ручки принимают, за браные столы сажают.

— Ну, — говорит хан болгарский, — дочь твоя хоть куда царевна, а где же ее приданое? где ж море?

— Где ж нам взять моря, любезнейший наш брат, хан болгарский...

Только что он сказал это, вдруг слышит шум, точно морские волны хлещут о берег. Глядь в окно: не река Прут течет, а бушует пространное море перед палатами.

— Ба, ба, ба! Да как же это сказали мне, что в твоём царстве и моря нет? Да какое же это море?— спросил хан болгарский.

Царь хохлатский от удивленья не знает, что и говорить.

— У нас море Черное, а это море Проточное,— отвечает за него Тартаул-царевич.

— Если так, то сдержу мое слово. Сыграем свадьбу.

Вот начали играть свадьбу. Сыграли. Сели за браные столы. Вдруг прискакали гонцы из царства Ордынского к хану и говорят:

— Помилуй нас, хан великий, многомилостивый! Зачем позволил ты строить чертову плотину на Пруте? Все наше царство пересохло. Черное море иссякло, ни капли воды нет.

— Как?— крикнул ордынский хан.

А тут же и к царю прибежали люди земские:

— Батюшка-царь, смилуйся! Зачем ты позволил царю ордынскому чертову плотину на реке Пруте строить? Вода разлилась по всему царству, вздулась словно море, все топтит, подступает под твои царские палаты.

— Как?— крикнул и царь хохлатский.

А потом оба в один голос:

— Так такие-то ты вещи, царь хохлатский, со мной делаешь! Вздумал пересушить все мое царство? Плотины строить! Эй, ломать плотину!

— Так такие-то вещи ты, хан болгарский, со мной делаешь! Плотины строить? Вздумал затопить все мое царство! Эй! ломать плотину!

— Едем, сын!

— Пошла, дочь, в свою светелку!

— Помилосердствуйте, любезнейшие родители! Плотины не вы строили, ни царь хохлатский, ни хан болгарский, а плотина сама построилась на мое счастье.

— Как?

— Да так. Позвольте, я пойду с народом снесу ее.

Вот и принялись ломать плотину. Ничто не берет, ни лом, ни топор. Как быть? Поскакал Тартаул-царевич к Чугуру. Нет его на пне; искать, искать — а он поселился

в пещере, вот что со стороны дороги, и сидит там молча.

— Благодетель ты мой!— говорит Тартаул-царевич.— Помоги! Вот так и так: плотина твоя затопила царство хохлатское, пересушила все земли болгарские... Помоги, сделай спуск!

— Нелегко, тут от руки ничего не сделаешь; надо прогрызть зубами.

— Помилуй, какой зуб возьмет?

— Надо попросить зубатого.

— Попроси кого знаешь!

— Что дашь? Да постой, не нужно. Обещай сослужить мне службу: холодно мне стало на белом свете; перенеси ты мои косточки туда, где сто могил моих предков, и придень землицей.

— Изволь, дедушка Чугур, целой горой завалю твои косточки.

— Ну, добре, ступай: будет по-твоему.

Как настала ночь, дедушка мой стоял здесь на карауле; служил он в чередном казачьем полку на граице. Стоит себе, как я, пика в сошках, а голая сабля на руке — вдруг видит, кто-то идет. «Кто тут? Убью!» — «Здешний,— откликается:— *моцуль*¹ зубатый». Как взглянул на него дедушка мой, так и остолбенел: черные зубы из пасти, точно тын железный. Как начал он, ни слова не говоря, грызть каменную плотину, так и хрустят камни; погрызет-погрызет, да оселком зубы поточит. К утру прогрыз вот, как видите, целые ворота, да не остерегся: вода как хлынет вдруг, сбила его с ног и понесла; только его и было.

Вот царь с ханом видят, что дело пришло на лад; помирились и принялись снова пировать.

Как оженился царевич, сдержал слово Чугуру, перенес его, посадил посреди Ста Могил, прикрыл землицей. Вот самый большой курган — это его, сто первый.

— Видишь, хан болгарский,— сказал царь хохлатский,— чего нет, того и не проси.

Царь и хан наделили молодых свежими землями, собрали всех молодцов и всех красных девиц и отдали им в приданое. Вот и пошли пиры и «младованье». Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало!»

— Спасибо, казак! вот тебе на придачу.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие! Если

¹ дедушка (прим. автора).

угодно, мы и еще кой-что порасскажем, например, про Надежду-царевну «магнитные глазки».

— В другой, брат, раз!

— Я говорил, что это плотина...

— Ты прав, ты прав, Лезвик. Теперь мы знаем, что и Сто Могил не обвал.

— Смейтесь!

— Пора обедать, господа,— сказал Рацкий, и все отправились к нему на квартиру. Стол уже был готов. После обеда привели верховых лошадей, все вооружились хлыстиками, засели на коней и — на луг. Начались *бары*, или игра в войну¹. Потом, во время чая, по обычаю, началось очередное чтение: повестей, стихов, статьи ученой, военной. Каждое произведение поступало в рукописный сборник, которого части, по прошествии известного времени, разыгрывались по жребию — кому достанется в память товарищества и молодости лет, проведенных не без пользы.

День прошел. Пора по домам.

— Господа, в следующее воскресенье ко мне. Кстати, я и именинник,— сказал Светов, прощаясь с товарищами.

— Что, и назад на колеснице воловьев?

— Нет, покорно благодарю. Еду на легких.

Четверка лихих коней, управляемых Афанасьевым, стояла уже у подъезда. Светов вскочил в каруцу и при свете ночного светила помчался в Каменку, где бедная Ленкуца таяла от ревнивой любви.

В продолжение всей недели она не показывалась на глаза «юному». Чем свет уедет в поле, воротится поздно или уйдет в *касу* своей тетки и тклет ей ковры.

Воскресенье приближалось. Светов распорядился к приему гостей. Подле дома не было саду: лес близок, пипочем; в один день весь двор обратился в сад, усыпанный свежей, душистой травой и цветами. За десять рублей *чиновник-дисциплинарчик*² привез десять возов разных плодов: воз арбузов, воз дынь, яблок, груш, персиков, абрикосов, слив, волошских орехов, вишень, винограду, а усердная команда развесила все на деревьях. Для гостей на кухне шпарят и потрошат баранов, уток, гусей и цыплят; на погребе заготовлено янтарное «Одубешти», полынковое и мускатное;

¹ Игра колонновожатых в Асташове. Название, без сомнения, происходит от «васгја» — «сражаться» (*прим. автора*).

² исправник (*молдав.*).

для *джока* выписаны цыгане-музыканты; для громады взято в корчме несколько ведер *ракю*¹. Чучела на вехе одета в новую красную рубашку.

Настало воскресенье. «Юный» проснулся грустен, сходил в церковь. Его поздравили с именинами денщик, вся команда, вся громада. *Парентий*² принес огромную профору, а Ленкуца не идет поздравить его.

К полудню товарищи съехались, расположились на коврах, посланных на мягкой траве посреди армидина сада, курят трубки, беседуют в ожидании завтрака. Светов прилег на голой траве. Вдруг прошла Ленкуца в хату, взглянув мельком на Светова.

— Ба! *формошика, формошика!*³ — крикнули все в один голос, увидев ее. — Не твоя ли хозяйка, Светов?

— Да, — отвечал он.

— Что ж ты покраснел?

— И не думал.

— Браво, браво, браво! — закричали все. — Понимаем! Как умильно, нежно она взглянула на тебя!

— Мечта! Это, господа, суровая красавица, не слишком нежничает с нашим братом...

— *Фата формоза!*⁴ — вскричали все снова, увидев Ленкуцу, которая вынесла из хаты прекрасный махровый ковер. Не обращая ни на кого внимания, она подошла к Светову и разостлала свое приданое. Но Светов не хотел обратить внимания на ее услугу. Ему стыдно было товарищей.

— Добрая хозяйка! Как она заботится о своем постоянстве! А подарила ли ты ему что-нибудь в день именин?

— Нет еще! — сказала она. — Он, верно, сердит за это на меня.

И вдруг Ленкуца бросилась к Светову, обняла его, пламенно поцеловала. Он вспыхнул, она скрылась.

— Браво, браво! — повторили все, захлопав в ладоши. Поздравления посыпались на бедного Светова.

Он надулся.

Этот случай помешал общему веселому расположению. Все как будто подозревали, что Светову веселее дома без гостей. И Светов что-то был невесел: он как будто сторо-

¹ фруктовая водка (*молдав.*).

² священник (*молдав.*).

³ красавица, красавица! (*молдав.*)

⁴ Прелестная девушка! (*молдав.*)

жил, не придет ли Ленкуца, чтоб и ее поцеловать также пламенно, но без свидетелей!

После обеда оживилось. Вдруг колокольчик.

— Кто это?

Афанасьев прибежал запыхавшись.

— Полковник едет, ваше благородие!

— Вот тебе раз!

Вскоре коляска остановилась подле хаты.

— С генералом, ваше благородие!

— Действительно, полковник, убей меня бог, прекрасное местоположение! Здравствуйте, господа! Каким это образом вы все здесь?

— У именинника, ваше превосходительство.

— И прекрасно!

— Вот и все планшеты здесь, ваше превосходительство,— сказал полковник.

— И прекрасно! Так я осматриваю работы и прямо отсюда в Хотин. Прикажите мне переменить лошадей. Г. Светов, вы сдадите свою съёмку и поедете со мной.

Светов побледнел. Так поразили его эти слова.

— Мы выберем вместе места для смотров; вы снимете их и потом явитесь ко мне.

— Укладывайся!— сказал Светов денщику почти со слезами на глазах.

— Что, брат, горе!— говорили товарищи шепотом, подходя к нему по очереди.

— Что такое?— отвечал им Светов.

Вскоре свежие лошади были запряжены в коляску. Светов простился с товарищами, посмотрел кругом, нет ли где Ленкуцы? Нет!

Только и видел он ее.



ПРИЕЗЖИЙ ИЗ УЕЗДА, ИЛИ СУМАТОХА В СТОЛИЦЕ

Музы, рцы коль без кротости юноша пыц,
без скромности дерзок,
Без направлений стремглав, чужд искусства
без навыков дельных,
Вне постоянства превратен и твердости
вне легкомыслен...
Чая ж всего от себя; но без помощи ре-
ется в бездны,
Все ж, и сие и то, украси примышлений
убранством!

Тилемахида

I

Всем уже известно и переизвестно из повести «Неистовый Роланд» и из комедии «Ревизор», и из иных повестей и комедий о приезжих из столицы, сколько происходило суматох в уездных городах от приездов губернаторов, вице-губернаторов и ревизоров. Теперь следует по принадлежности описать, как в столице происходила подобная же суматоха от приезжего из уезда и как припят был *qui pro quo*, или *сей* вместо *этого*. Очень естественно, что в столице не может произойти суматохи от приезда вышеписанных лиц, следовательно, она должна была произойти от приезда какого-нибудь гения. Именно так и случилось. Когда настала самая исступленная мода

на гениев, то разумеется, что в таком случае где хочешь возьми гения, хоть роди. Вот и родили: вся Европа наполнилась гениями, гениями расчетливыми, которые тотчас поняли, что по легкости, быстроте и удобности сообщений можно уже обойтись без крыльев и что вместо того, чтоб уединенно парить в горних, безвоздушных пространствах, можно в приятном обществе трястись в дилижансах, паровозах и пароходах. Вследствие этого они вместо древних крыльев отрастили современные бороды и пустились в публичных экипажах разъезжать по столицам: кто с скрипкой, кто с целым оркестром, кто с портфелем, кто просто с одними руками или ногами; иной с языком, другой с горлом, а некоторые с одним только европейским тоном. Бедные современные люди дивились гениям и бросали на них деньги, как в старину дивились шарлатанам на ярмарках.

Приехавший в столицу гений, о котором будет речь, приехал на этот раз не из трупобы европейской, но из глуши России; и потому кому нет дела до русских гениев, просим далее не читать и не ожидать от нас повести заграничной, в которой развивается какая-нибудь идея.

Огласив всех, кому до нас нет дела, — начнем.

Дом Аполлона Ивановича был дом, в который имели вход только свои гении. Он сам и его брат преисполнены были учености; супруга его, Деянира Диогеновна, и ее золовка были преисполнены поэзии и *грации*. Аполлон Иванович, брат его, Деянира Диогеновна, demuазель Елена, или по новейшему правописанию, выражающему произношение — Элег'нь, и все посещающие дом гении назывались «своей семьей». *Салон* был лучшего топа, меблирован и обставлен не симметрически по старому обычаю, не диваном с круглым столом и двенадцатью креслами по сторонам, но по новой системе возрождения, или палингенезии вкуса. В приятном, поэтическом беспорядке были разбросаны по цветнику ковра разные седалища: *vis-a-vis*¹ и *лежанки*, на рессорах, с пружинами, с ножками на колесцах, для удобства подъезжать друг к другу, с винтами для унижения и возвышения, с нежными ручками, на которые не положи руки своей, и с спинками без прислону. Над камином стояли бронзовые часы с Наполеоном — в колпаке; на журавлиных столиках и на

¹ диванчик на двоих (*франц.*).

грибках, расставленных также кой-где, лежали точно забытые — какая-нибудь вечная работа хозяйки, какая-нибудь развернутая книга в переплете с золотым обрезаом и с надписью посвящения от сочинителя; кучка английских альманахов, философий немецких и барнборьёнов¹ французских, а в дополнение всего — альбом хозяйки как станционная записная книга для всех, кто удостоен был ее внимания. Сюда-то являлись и свои гении, и европейская приезжая знать с поющей скрипкой, с откупленным англичанами горлом, с портфелем гениально намазанных эскизов, с возрожденной бородой, с всеведением, с необсохшим материнским молоком на устах. Здесь-то, в недавнем времени, Аполлон Иванович ходил взад и вперед в нетерпеливом ожидании кого-нибудь, чтоб перемолвить слово, потому что со своими он не любил говорить. Брат его сидел в *розвальнях* за развернутым листом «*Le Voleur*»², как за ширмой, и изредка хохотал про себя так интересно, что Аполлон Иванович всегда невольно спрашивал:

— Что, братец, такое?

— Ничего, братец, — отвечал всегда Юлий Иванович, не любя рассказывать.

Деянира Диогеновна и ее золовка сидели за работой и хранили глубокое молчание, чтоб не истощить напрасно мыслей своих и впечатлений до прибытия гениев, а главное, для того, чтоб скрыть их друг от друга: очень часто случалось, что одна выдавала какую-нибудь возвышенную идею другой за свою; а соперничество за идею столь же ужасно, как и соперничество любви.

— Что это значит — ни Павла Александровича, ни Василия Григорьевича? — спросил Аполлон Иванович.

— А вот, верно, Павел Александрович, — сказала вдруг Елена, обратив ушко к дверям. — Ах нет, это не он!

— Это Василий Григорьевич, — сказала Деянира Диогеновна.

— Какое у вас чутье! — сказал Аполлон Иванович. — Точно, именно Василий Григорьевич.

Кивнув головой в дверях, простукав огромными каблуками по паркету до ковра, Василий Григорьевич, черненькая головка с мужичкой прической на небольшом туловище, в скюртуке, с тросточкой в руках, подержал за

¹ изданий

² «Вор» (французская газета).

руку сперва хозяина, потом хозяйку, поклонился с сладостной улыбкой Елене и сел как утомленный в кресло.

— Есть ли какой-нибудь интерес в политике? — спросила Деянира Диогеновна. — Вас, кажется, беспокоит участь Дон Карлоса?

— Ах, писколько! совсем другое... я поражен, удивлен, изумлен!.. клянусь вам! это необыкновенно, непостижимо!.. Так владеть русским языком, так облагородить его, так сказать... так сказать, усладить, радусировать, аристократизировать!.. я вне себя!

— Где ж вы? — спросила Елена и была очень довольна своей остротой.

— Я... я... ах, не спрашивайте! Это невозможно, вам самим надо слышать и чувствовать! Вот поэзия!

— Что такое, что такое? — спросила Деянира Диогеновна. — Верно, Павел Александрович написал новые стихи?

— Нет, поэт новый... Вот поэт, mesdames¹, так поэт!

Деянира Диогеновна усмехнулась, а все прочие захохотали.

Должно сказать, что Василий Григорьевич в *своей семье* был прозаик-гений, а Павел Александрович поэт-гений. Оба они были люди с достатком, и, следовательно, литературная часть в *своей семье* могла идти без бедового соперничества. Но на горе тут замешалась другая часть, по которой непременно необходимо было избрать одного в действительные члены семьи. К несчастью, тот и другой выбрали один сюжет, и именно Елену. Возникло ужасное соперничество и вопрос: воспевать ее или описывать? Сначала она воодушевляла обоих, но вдруг возвеличила поэта первостатейным, исполненным *самости* и *универса*, а о прозе стала относиться с неуважением и решилась даже сказать в глаза прозаику-гению, производителю российских повестей, обидную остроту, что он ничем не уступает лучшим французским романистам, потому что его повести как будто сколоты на стекло с Бальзака, Ежена Сю и им подобных гениев. Тут только, как будто почувствовав, что проза не имеет особенного влияния на женское сердце, в пылу мести и соперничества он произвел стишки, которых все куплеты начинались с вопроса: ты знаешь ли? — а кончались припевом: ты любишь ли? За тайну поверил он их Деянире Диогенов-

¹ мадам (франц. множ. число).

не, которая всегда отдавала преимущество прозе с хорошим достоянием, нежели стихам с посредственным.

— Прекрасно! — сказала она.

Василий Григорьевич вспыхнул от радости и мысли, что, набив руку, он помрачит славу поэта-гения.

— Как умный человек, — продолжала Деянира Диогеновна, — вы всегда в состоянии написать прекрасные стихи, но это будут стихи умного человека, а не поэта-гения. Не развлекайте вашего гениального прозаического пера стишками...

Стишками! Ух, как это обидно показалось прозаикугению. Первое средство для истребления поэтической любимой Еленой славы соперника своего не удалось. Василий Григорьевич принялся за другое. Поэт-гений таил свои создания в *своей семье* и, гордый, не хотел бросать их на поругание свету — Василий Григорьевич стал возносить до небес произведения его и вместе с тем восставать за эту утайку от света.

— Помилуйте, — говорил он, — скрывать сокровища! не поделиться вдохновениями души своей с бедным человечеством! отказаться быть представителем литературной славы отечества! Это... это... это эгоизм! это презрение к подобным себе!.. это... это... бог знает что!

Сначала Деянира Диогеновна и вся семья восставали против этого воззвания к обобщению и обпародованию гениальности. Елена сказала даже с чувством и очень кстати:

Таи святые вдохновенья,
Поэт великой, про себя!

Но потом, вздохнув, прибавила:

— Впрочем, отчего же и не напечатать... удивление толпы чего-нибудь да стоит.

— Нет, вы *наш* поэт, — произнесла горделиво Деянира Диогеновна, — профаны вас не поймут, не оценят!

— Если мои произведения достойны похвал, то я желаю слышать их только от вас, — сказал поэт горделиво, обежав взором всех вообще, но взглянув значительно на Елену в особенности.

Однако же Василий Григорьевич так резко и настоятельно высказывал свои упреки, что наконец вся *своя семья* поколебалась.

— Впрочем, отчего же... — сказал Аполлон Иванович.

— Конечно,— прибавила Елена.

— Если я решусь печатать, то только в нескольких экземплярах, для своих друзей.

— И прекрасно! — вскричал Василий Григорьевич.

Вследствие этого решения поэт переписал красиво на английской бумаге «мелкие стихотворения», потом отдал переплести в сафьян с золотым обрезом, потом отдал в цензуру, и, наконец, «мелкие стихотворения» напечатались в нескольких экземплярах для друзей, розданы *своей семье*, в гроденаплевых переплетах.

Ночь. Василий Григорьевич сидит перед своим письменным столиком, в ермолке; сбросив с правого плеча халат, он пишет беспощадный, саркастический разбор и изливает на бумагу душевное прискорбие о несчастном поэте, который напечатал несчастные «мелкие стихотворения». К утру все кончено, переписано, запечатано, отослано на почту, в Петербург, прямо в столбцы журнала литературы, промышленности, мод, брани и разных подобных вещей.

Сотворив сей грех, Василий Григорьевич целый месяц промучился ожиданием выхода своей статьи в свет. Ежедневно ездил во все книжные магазины и книжные лавки: не получен ли номер, убийственный для славы поэта-гения? Наконец, получен. Читает, дрожит над ним от удовольствия, произносит вслух: посмотрим теперь! кладет газету в карман и является в *своей семье*, заготовляя восклицания досады и проклятий журналистам, которые не умеют ценить гения. Войдя в залу, хочет вынуть номер из кармана и воскликнуть: посмотрите, пожалуйста, какое варварство! — а рука не лезет в карман, в лицо бросилась кровь, вся внутренность готова изменить...

— Ах, как жарко! — воскликнул он и бросился в кресла.

Проходит день, два, неделя, никто ни слова, как будто ни журнала никогда не существовало, ни разбора «мелким стихотворениям». Убийственное положение для Василия Григорьевича. В первом же разговоре о русской литературе он начинает упрекать всех журналистов, что они не торопятся поздравить публику с «мелкими стихотворениями», потом начинает упрекать всех русских в равнодушии к отечественной литературе.

— Сделайте же какое-нибудь исключение,— говорит Деяпира Диогеновца.

— Ни малейшего!..

— Хоть меня!

— Ни даже вас.

— Отчего же это?

— Отчего? Хотите знать? Я вам докажу. Есть ли у вас хоть одна русская книга? Выписываете ли вы хоть один русский журнал?

— Напрасен ваш упрек: виноваты ли мы, читатели, когда нет ничего достойного чтения? А русские журналы — сборники искажения всего европейского, сырых произведений русских и площадной брани. Спросите у Державина:

Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?

— Брани! — вскричал Василий Григорьевич. — Правда глаза колет. Оттого-то мы и почитаем бранью даже здравомыслящую критику.

— Брани, брани! — повторила Деянира Диогеновна, —

Раб и похвалить не может,
Он лишь только может льстить!..

В это время брат Аполлона Ивановича вошел в комнату с газетами в руках и с морщинами на челе.

— Бедный Павел Александрович! — сказал он, садясь.

— Что такое? — спросила Деянира Диогеновна.

— Не болен же он? — прервала ее с беспокойством Елена.

— Нет, слава богу...

— Вот уж третий день не показывается на глаза...

— Вы были у него?

— Нет, не был, да не о том дело... а вот... — И Юлий Иванович чего-то искал на страницах газеты.

— Что это? Русский журнал? — спросила Деянира Диогеновна.

— Русский журнал... слушайте!..

Василий Григорьевич смутился.

— Очень кстати, — сказала Деянира Диогеновна, — позвольте мне взглянуть на отдел критики и доказать, что это не критика, а просто брань.

— Так вы уж читали этот журнал? — спросил Юлий Иванович.

— Нет, но, судя по прочим журналам, я уверена, что и в этом то же.

— Так и в других журналах ему досталось? Бедный Павел Александрович! Послушайте, как здесь относятся об его «мелких стихотворениях».

— Разбор «мелких стихотворений»? Ах, читайте, пожалуйста, скорее, это любопытно!

— Сейчас! — сказал Юлий Иванович, положив газету на колени и протирая очки.

— Ах, да дайте, братец, читать Василью Григорьевичу! Он лучше вас читает, — сказала нетерпеливо Елена.

Василий Григорьевич взял дрожащими руками листки и стал читать свою статью.

Вся *своя семья* пришла в ужас.

— Это писал невежа! — сказала Елена.

Василий Григорьевич не хотел подтверждать этих слов, защищать критика не смел и потому решился закусить губы.

— Вот вам и критика, вот и умение ценить гениальность! Что ж вы не защищаете русские журналы, Василий Григорьевич?.. Сознаетесь побежденными?

— Это ни на что не похоже! — проговорил с благородным гневом Василий Григорьевич.

— Я первая говорила, что не стоит печатать, не должно печатать!.. Гения и без печати отыщет слава.

— Черни ли понимать язык идей! — произнесла горделиво Елена. — Как жаль, что нет здесь Павла Александровича.

— Поезжайте, братец, к Павлу Александровичу, привезите его сюда. Я уверена, что он будет сам смеяться над своими ценителями.

— Еду, — сказал Юлий Иванович.

Павел Александрович лежал с пораженным самолюбием в постели, а убийственный номер журнала лежал на столе. Так застал его Юлий Иванович.

— Bonjour!¹

— Bonjour!

— Читали вы?

— Что такое?

— А? да вот...

— Скоты... — произнес равнодушно поэт-гений.

¹ Здравствуйте! (*франц.*)

— *A manger le foin*¹,— прибавил Юлий Иванович, полив живой и мертвой водой убитое самолюбие поэта-гения. Он, однако ж, с трудом уговорил его ехать в *свою семью*, где между тем дамы сплели ему венок из домашних лавров, и, когда он явился в *салон*, все бросились к нему навстречу. Деянира Диогеновна, представляя роль громкой славы в чепчике, возложила венок на голову его и произнесла краткую, пристойную речь.

«Вашей славы не помрачит зависть и невежество! Примите венец славы, приносимый от уважающих вас гений!» — и так далее.

— Невежда похвалы достойной не умалит! — сказал Аполлон Иванович.

— А то не похвала, когда невежда хвалит! — прибавил с досадою Василий Григорьевич, смотря тревожно на Елену, которая с чувством нежности пожала руку поэта-гения.

Поэт ожил вполне и в последнем порыве досады сказал:

— Это невежды, которые знают только вкус в сене.

Василий Григорьевич был убит вторичной неудачей. Об нем забыли в общем внимании к сопернику. Елена после венчания поэта, казалось, решила не скрывать уже ни перед кем своих поэтических чувств к нему. Прозаик-гений в отчаянии отказался от обеда, жалуясь на расстройство желудка, и отправился обедать к *Яру*. Там никого еще не было, кроме одного молодого человека, который, потребовав бифстексу и рюмку вина, декламировал, развалиясь на диване, какие-то стихи и не обращал внимания на Василия Григорьевича.

— Ну, а вина? Долго ли я буду ждать? — повторял он несколько раз.

— Да не угодно ли покуда моего? — сказал Василий Григорьевич.

С этого начался разговор: слово за слово, об литературе, об литераторах и поэтах.

— Наш климат холоден для поэзии,— сказал Василий Григорьевич,— однако же позвольте узнать, чьи это стихи читали вы? В них дышит какая-то восточная нега... Верно, поэт знаком с Востоком... это не Пушкина?

— О, нет, это южное произведение моего друга...

¹ Травоядные (*франц.*).

— Боже мой, кто ж это такое?.. Ордынин? в первый раз слышу эту фамилию... Как хороши! Сделайте одолжение, повторите; я сам литератор и потому люблю гениальные произведения.

Молодой человек начал декламировать следующие стихи:

На холме, миртами венчанном,
Где льется шумный водопад,
На ложе роз благоуханном,
Среди приюта ореад
Склонился юноша прекрасный
С подругой печной, пылкой, страстной;
Их чувства вспыхнули, горят,
Душа в блаженстве неги тает!..
И поцелуями порой
Он страстный шепот прерывает
И душу девы молодой,
Как дивный нектар, испивает!

— Ах, как хороши! чудо! Я не знаю в этом роде ничего лучше!..

И поцелуями порой..
Он страстный шепот прерывает..

Несравненно! Как вы называли фамилию поэта?

— Ордынин.

— Сделайте одолжение, познакомьте меня с ним. Я вне себя! Эй, шампанского! надо выпить в честь поэта!.. Как бишь?..

Дыханье..
— Дыханье девы молодой,
Как дивный нектар, испивает.

— Как нектар испивает!.. Вот стихи, вот поэзия!

— Это еще ничего, но какая у него ода «Наполсон» — дивная!

— Наполеон? неужели?.. хоть два стиха!..

— Не помню... Он представляет его необузданным конем...

Над миром мчится, громом ржет...

Не помню...

— Ах, как жаль!.. Во славу нового поэта!.. Завтра непременно ко мне!.. Он еще незнаком здесь ни с кем? Я его введу во все лучшие дома... Еще раз: во славу нового

поэта!.. завтра обедайте у меня! пожалуйста!.. Мой адрес: близ Николы, во втором переулке, спросите только меня, всякий знает... Итак, я жду; до свидания, прощайте!..

II

Василий Григорьевич, жаждущий *уничтожить* поэта-гения, рад был всех земных поэтов и поэтиков посадить ему на шею. Он поскакал по Москве проповедовать явление нового оригинального поэта, а молодой человек от Яра побежал в гостиницу, в поднебесный этаж.

— А! ты дома! — вскричал он, вбежав в закопченный номер, где на постели лежал в халате другой молодой человек, с претензией на новомодную мужицкую прическу, с сигаркой в зубах и с карандашом и листом бумаги в руках.

— Послушай, душа моя, завтра мы званы с тобой на обед к одному известному московскому литератору... Я познакомился с ним и прочел ему «на холме, миртами венчанном...» Как прочел я ему! чудо! он в такой пришел восторг, что велел подать шампанского, и мы пили за твое здоровье... Он затвердил стихи наизусть и сказал, что завтра же вся Москва узнает о новом поэте... Что? доволен ты мною?

— Ах, жаль!

— Что такое?

— Ты бы лучше что-нибудь прочел из моего эпизода...

— Из твоего эпизода! Да я ничего не знаю наизусть, кроме этих стихов...

— Послушай продолжение:

Вонзив свой ятаган в врага,
Помчался в свой аул трухменец.
Ночь. Воет ветер, шумит река,
Вдруг слышит он издалека,
Как будто плачущий младенец...

— Ах, да полно читать! — поговорим о деле: каким образом отправимся мы завтра на обед? Мне в этом сертуке неловко.

— Возьми мой фрак.

— А ты?

— Я заказал новое платье; кстати, завтра к обеду будет готово.

— Где ж ты взял денег?

— А вот где.

— Bravo! получил из дому?

— Получил.

— Что, сознайся: убедительное письмо научил я написать?

— Да! так налгать отцу и матери я бы не решился!

— Налгать! кто ж лгал? Не исполнилась ли уже половина того, что ты писал?.. Завтра ты обедаешь у известного литератора; послезавтра он тебя знакомит с другими литераторами, другие с третьими, третьи с целой Москвой, Москва с Петербургом, Петербург с целой Россией и так далее. Слава твоя проникнет от полюса до полюса и от зенита до надира... Чудак!.. ты дай же мне, что обещал: да завтра надо нанять экипаж, чтоб задать тону... Ты уж не заботься, пиши стихи — я распоряжусь.

Молодые люди отправились в сахарные лавки à la Renommée и Luguét¹; а мы, между тем, скажем несколько слов о том, кто таковы они и для чего прибыли в столичный град Москву.

Мы не знаем, как они вырвались из объятий родительских на свой произвол; но знаем только, что когда один из них приехал из уезда в Харьков держать экзамен в студенты, то он уже был *в душе поэт*. Тут познакомился он с другим нашим знакомцем, который успел уже перебивать во всех российских университетах и держать экзамен в студенты по всем отделениям и факультетам, но очень несчастливо. В Казанском университете держал он экзамен по математическому отделению, но неудачно; в Дерптском по отделению словесному — также неудачно; в университете св. Владимира по отделению юридическому — плохо; в Московском по отделению философскому — отказ; наконец, в Харькове по медицинскому — и здесь отказали. Зная заглавия всех наук, он (фамилия его была странная: Айголова) добывал содержание уроками, ездил в *отъезд*; но ему не поправилась эта жизнь, и он собирался снова в Москву давать уроки. Ехать одному было и скучно, и не на что, и потому он приискивал товарища. Вдруг попадется ему *поэт в душе*. С первой трубки он уже был ему и друг и брат.

— Помилуй, братец, чему ты здесь научишься?.. здесь! по отделению словесности! поэт в душе! не хочешь

¹ Как у РенOME и Люке (*франц.*).

ли ты писать стихи на харьковском наречии?.. Поздравляю!.. Полно! едем в Москву. Там настоящий литературный русский язык, там все средства просвещения, все удобства для поэта: журналы, избранное общество, библиотеки, словом, все.

Поэт убедился словами друга, и вот они едут в дилижансе-возке. Едут медленно по причине дождей и грязи, а поэт летел бы в Москву. Всю дорогу он сердится:

— Пьфу! время и способности человека гибнут посреди этой прозы и грязи! Скорей, скорей в столицу! в образованный город!

Там, там от утра до утра
Я жизнью тешусь и играю
И в миг восторженный с пера
Блаженство смертным проливаю!

Вот подъезжают наконец к Москве.

— Где остановитесь, господа? — спрашивает ямщик.

— Разумеется, в лучшей гостинице! — отвечал горделиво поэт, озирая пространную Москву и с восторгом воскликнув:

Российских городов глава!
Обширного ума пространная столица!

— Чувствуешь ли ты, — продолжал он к товарищу, — как переполняется душа восторгом при этой великой картине! Ух! так и плещет через край! Вот поэзия!.. Куда ни оглянись, со всех сторон тянется Москва до самого неба, точно как обняла весь земной шар, не достало места, и она выдвинулась за пределы земли, построилась на синеве эфирной!.. Очарование!

— Bravo! славная мысль. Напиши ее в стихах.

— Непременно! Напишу тассовыми октавами стихотворение «Москва»... Какая деятельность, какое движение, какое разнообразие лиц, племен и состояний! — продолжал поэт, проезжая улицы. — Сколько новых впечатлений для поэта!

Приехав в контору дилижансов, они взяли одного извозчика для себя, а другого для вещей, потому что, кроме чемодана, поэта снабдили из дому и пуховой постелей. Уложились, сели и отправились на Тверскую, в лучшую гостиницу.

— Это самая лучшая гостиница? — спросил поэт у швейцара.

Швейцар равнодушно посмотрел на приезжих, из которых один был в сертуке, обваленном в пуху, а другой в ситцевом смачно засаленном архалуке, и спросил:

— А что вам угодно, господа?

— Лучший номер.

— То есть подешевле? да у нас теперь дешевых-то нет, все заняты. Вы бы поехали на какое-нибудь подворье.

— Сам ты какое-нибудь животное, с длинными ушами! Тебе говорят — лучший номер!

— В лучшем-то, сударь, полы с паркетам, шелковая мебель, зеркала дорогие, да фортепьяны... Иного пусти — за сутки заплатит, а на год изъяну; в сутки сору да грязи не вывезешь возом.

— Пьфу! поедем, братец, в другую гостиницу.

— И позволяют таким животным существовать на свете! — сказал поэт с негодованием, садясь на извозчика.

Приехав в другую гостиницу, поэт потребовал не лучшего уже номера, но просто номера. Осмотрев с ног до головы и приценившись таким образом, их повели через переходы и коридоры по темной, грязной лесенке в выспренный этаж и показали закопченную комнату, где стояли две кровати, перед окном харчевенный столик и два стула.

— Седьмое небо! — вскричал поэт, взглянув в окно. — Бесподобно!.. какой вид! все земное величие под стопами, в тучах праха и пыли!.. Здесь буду я мечтать о его ничтожестве, питаться поэтическими думами!.. Эй, принеси же нам чего-нибудь поесть!

— Прикажете целый обед или по порциям? — спросил трактирный служка.

— По порциям! нет, не по порциям, а по долям!

Покуда принесли очень незначительную долю супу, в котором хранились памятники и воспоминания о супах прошедших дней, поэт распевал:

— И порция чресчур мала!

На долю мне судьба дала

Богатство чувств... я ими полоп!

— Пьфу, братец, суп, как море, солоп!..—

прибавил сердито и товарищ поэта, Айголова.

— Порция как порция, сударь, ни больше, ни меньше не бывает, — отвечал трактирный служка.

После обеда наши приезжие заторопились идти.

— Ты куда?

— А ты куда?

— Я в университет; там есть знакомые товарищи.

— А я осматривать Москву.

— Дай мне рублей пятьдесят; надо скорее заказать платье... Как только получу *кондиции*, тотчас же отдам тебе.

— Изволь.— И с этими словами поэт в карман; отсчитывает пятьдесят рублей... десять, пять, еще синяя, да еще, да беленькая.— Ах канальство! только и осталось пятьдесят рублей! Ты погоди, покуда я продам эпизод из поэмы...

— Покуда дай хоть рублей десять; нечего делать, по дождю заказывать... Да нет ли у тебя получше сертука?

— Только новый; а вот фрак.

— И прекрасно! к этому фраку надо уж и брюки лучше... Вот и прекрасно!.. Немножко узко; ну, да в крайних обстоятельствах можно посжаться.

— Прощай!

— До свидания!

Поэт отправился обозревать Москву. Выбрался на Тверскую, глазает на стороны, читает вывески... вдруг видит: *Библиотека для чтения*. Ах... библиотека для чтения! надо запастись книгами... Прогулка, чтение, сочинение и опять прогулка; после прогулки опять необходима умственная пища. И вот поэт очутился посреди умственной пищи; абонируется на месяц, платит пять рублей и двадцать пять закладу и требует новейших романов.

— Самые новейшие! — отвечает ему книгопродавец, подавая «Библиотеку романов».

С «Библиотекой романов» поэт отправился в Кремль, стремительными стопами к Ивану Великому, на Ивана Великого.

— За вход пожалуйста!

Пожаловав за каждый ярус возвышения по пятналтыгнному, за рубль серебром достиг он до высоты, с которой люди кажутся совершенно ничтожными существами. Поэт в забытии долго смотрел на обширность Москвы и на поползновение людей по поверхности земного шара. Был уже вечер. Полная луна поднималась из-за Рогожской заставы; но поэт в забытии воззвал к двурогой луне, потом к поднебесью, на котором находился, и наконец

решился сойти на землю и пройти пешком до выпрениной своей обители.

Товарищ еще не возвращался, и поэт хотел заняться чтением; хватился «Библиотеки романов» — нет «Библиотеки романов»! «Библиотека романов» осталась в поднебесьи. Тем и кончилось чтение. Скука родила поэтические мысли; надо было принять их на клочок бумаги — нет бумаги! Поэт не затруднился — оторвал чистые пол-листа от своего свидетельства о рождении, очинил зубами карандаш, лег в постелю и принялся изливать на бумагу «тоску уединения». Исписал пол-листа кругом, а излияние души продолжается; перевернул, исписал поперек, потом наискось и нечувствительно заснул. Свеча, поставленная подле кровати на стуле, также задремала, клюнувшись носом и вдруг, как с просонков, вспыхнула, обхватила всю светильню, горит себе, расплывается по деревянному стулу. К счастью, воротился Айголова и потушил маленький пожар, не нарушая сладкого сна поэта.

Поэт любил опочивать до полудень. Когда он проснулся, товарища его уже не было дома; вероятно, он хлопотал о *кондициях*. Поэт отправился снова ходить по Москве; скучно ходить одному; воротился домой, просидел остальное время у окна, набивая трубку за трубкой, прождал товарища, но товарищ снова воротился, когда его объял уже глубокий сон с трубкою в зубах. Так прошло несколько дней — во сне, в ходьбе и в тщетном ожидании товарища, который любил только ночевать дома, жертвуя сну часов от двух за полночь до восьми утра.

На пятый день, проснувшись, поэт пил чай и, выкурив трубку, думал: набить еще или идти? Вдруг трактирный служка, убирая чай, подал счет.

— Это что такое?

— Счет, сударь; у нас уж такая заведенция — рассчитываться к первому числу с постояльцами. За пять суток по пяти рублей, за пятнадцать порций чаю, да за кушанье — всего сорок восемь рублей.

— Хорошо... — сказал поэт, смутясь от такого неожиданного и решительного требования денег.

— Так уж пожалуйста.

— После, вот разменяю.

— Да какая у вас бумажка, мы, пожалуй, разменяем.

— Нет, я сам разменяю... завтра.

— Так уж я так и скажу хозяину.

Поэт в отчаянии; задумался. Вдруг блеснула ему счастливая мысль — продать свою поэму в какой-нибудь журнал или книгопродавцу. Торопливо достал он тетрадь из чемодана, под мышку, выбежал на улицу, сел на первого попавшегося извозчика и велел везти себя к какому-нибудь издателю журнала.

— Не знаю, сударь, где живет таков человек, — сказал извозчик, — вот спросим у будки.

Будочник задумался, закинул ножка за ножку, положил локоток на алебарду:

— Жирнолизова? такого у нас нет в квартале!

— Где газеты издают.

— Газеты? Московские!.. Не знаю... недавно еще здесь.

— Так вези меня в книжную лавку!

За книжной лавкой дело не стало. В Москве много книжных лавок.

— Да вам, сударь, какую книжную лавку? где продают книжки или где покупают?

— Да, мне нужно продать манускрипт, — отвечал поэт.

— Так так бы вы и сказали; это вот называются магази́ны книжные... На прошлой неделе я нашел книжку и привез сюда; думал, купят, ан нет; ступай, — говорят, — на толкуне купят... Слава богу, три гривенничка взял.

— Да это печатная книга, один экземпляр.

— Книга бравая, в красной рубашке.

— Далеко еще до книжной лавки?

— А вот, как раз.

Извозчик придал рыси коню и вскоре, поворотив с Никольской вправо, очутился на толкучем рынке и с трудом проехал сквозь толпы к книжной лавочке.

Едва поэт соскочил с дрожек.

— Пожалуйте-с! — вскричал букинист.

— Здесь покупают манускрипты?

— Почему ж не купить? позвольте-с.

— Вот я хочу продать поэму в стихах.

— Писаная?

— Писаная.

— То есть это для печати?

— Конечно, разумеется, для печати.

— А как цена-с?

— Тысячу рублей.

Букинист сложил тетрадь и отдал назад поэту.

— В книжных магазинах, может быть, купят.

По адресу поэт отправился в книжный магазин.

Можно узнать по наружности человека, который продает свое произведение. Несмотря на важный тон, который старается он принять на себя, очень заметно, что у него под мышкой товар. Самый скверный товар для продажи есть товар письменный, потому что продается ни на вес, ни на меру, не имеет привлекательной паружности, ни благовонного запаха... ни на язык взять, чтоб отведать — проглотить или выплюнуть. Купите! — а что купить? несколько дестей исчерканной бумаги. Вот тебе раз! да что это такое? съедобное или носильное?

— Не купите ли вы у меня оригинал... эпизод большой поэмы? — спросил поэт, осмотревшись и подходя к равнодушному книгопродавцу.

— Что это такое? стихи?

— Стихи! — отвечал поэт с самодовольствием и надеждою.

— Нет, стихов не надо; вот если б вы писали гадательные книжки, можно было бы купить.

Поэта поразил этот ответ.

— Где тут издается журнал? — спросил он.

— В журнал стихи покупают, — сказал книгопродавец.

Это возродило надежды поэта. Он узнал адрес редакции, отправился в дом к редактору. Вбежал в переднюю — никого нет; приотворил тихонько двери...

— Кто тут?

Поэт вошел в комнату.

— Что вам угодно?

— Здесь покупают стихи?

— Нет, здесь продают стихи.

— Извините, — сказал поэт, отступая к двери.

— Ничего-с.

Разогорченный, отправился он обратно домой, бросил тетрадь свою в угол, шляпу в другой, сел подле окна, запустил все пять пальцев левой руки в хохол, стиснул кулак и этим только способом расправил набежавшие морщины на юное чело; потом сложил он на окно обе руки, а на руки сложил свою голову и заплакал. Это были первые слезы разлуки с отцовским домом, первая холодная роса на сердце.

Однако ж надо было помогать горю. К кому ж обратиться с своим горем, как не к отцу и матери. «Но как

писать к отцу? что писать? — думает поэт. — Отец, вероятно, сердится, что я не писал еще со времени отъезда, думает, что я в Харькове держу экзамен; а я в Москве. Отец дал мне пятьсот рублей на полгода, а у меня в полтора месяца нет ни копейки... Что ж мне делать? я не виноват! Этого предвидеть нельзя было!.. я поехал в Москву необдуманно!..»

С этими мыслями поэт послал за почтовой бумагой и принялся писать письмо. В это время явился его товарищ.

— Что сочишься?

— Ах, убирайся к черту!

— Ну, ну, подбирай рифмы; я сейчас уйду.

— Какие рифмы, тут прескверная проза: хозяин требует денег, а денег нет!

— Так ты на этот случай пишешь стихи?

— Да, чувствительное послание к отцу, чтоб прислал денег; а если не придет — я брошусь вот в это окно!

— Хорош сын! чем бы утешать родителей, а он приводит их в отчаяние!

— Э, все равно! мне надоела жизнь!.. Утешать! чем мне утешать их? Все утешенья стоят денег, а мне где взять их?.. Пятьсот рублей на полгода — вот прекрасно!.. Не сам ли я приучался дома быть всякий день сытым, иметь пять хороших блюд за столом, пить чай, кофе и лакомиться; а тут вдруг: на тебе, любезный сын, на хлеб с водой, да на подметки и заплаты!

— Дело! правда! — сказал Айголова, выслушав жалобы поэта.

— Куда ж ты? постой, помоги мне; не знаю, какие бы придумать причины, что я приехал в Москву. Послушай, что я написал:

«Любезные родители! Сердце мое исполнено самой жестокой грусти в разлуке с вами. По отъезде, я приятно ехал до Харькова; пред глазами новая природа, новые предметы!.. Я был очарован, и душа моя плавала в неге новых впечатлений! Божий мир развертывался предо мною, как свиток времен...» Хорошо?

— Поэзия!

«Вдруг пошли дожди. Сырая погода, совокупившись с переменою климата и воды, подействовала на меня ужасно, и я отчаянно заболел. Болезнь стояла больших

пожертвований, так что я непредвидимо издержал все деньги, коими снабжен был...»

— Ложь! Все это, любезный друг, ты лжешь, и лжешь самым неприятным образом для родителей.

— Что ж делать! я не виноват; будто поверит мне, что я все деньги проел.

— Так лгать не должно.

— Да что ж писать, чтоб прислали денег?

— Я тебе говорил, что надо утешать собою родителей. Начало написано хорошо, вот до этих пор: «мир божий развертывался предо мною, как свиток времен» — остальное зачеркни... Пиши: «Прибыв в Москву...»

— Как, прибыв в Москву? меня отправили в Харьков! Они удивятся, зачем я здесь.

— Так постой, пиши: «Прибыв в Харьков, я стал готовиться к экзамену и познакомился со всеми лучшими профессорами. Они полюбили меня и, узнав, что я сочиняю уже стихи, сказали, что с моими способностями к поэзии мне необходимо должно ехать в Москву, потому что только там есть кафедра высшей поэзии; и, сверх того, в литературе и поэзии употребляется московское наречие, как лучшее и очищенное от провинциализма. Не теряя времени, все отсоветовали отправиться немедленно же в Москву, тем более что в скором времени начнутся экзамены. Убежденный сими доводами, я тотчас же отправился в Москву, куда и прибыл благополучно в дилижансе. Ах, любезнейшие родители, вы не поверите, какими чувствами проникнут я был, подъезжая к первопрестольному граду!..» Вставь какие-нибудь стихи.

— Какие же? постой!..

Златые куполы церквей,
Высоких стрелы колоколен...

Черт знает, ничего не лезет в голову!..

— Ну, прибавь хоть:

Кипит восторг в душе моей,
И я судьбой своей доволен.

— Нет!

Кипит восторг в душе моей...

Постой: волен... болен... приволен...

Кипит восторг в душе моей...

— Ну...

И вздох глубокий, свободою, волен!..

Нет!..

— Да полно, после набело что хочешь пиши. Продолжай:

«Ах, если бы вы видели Москву! Что наш город! ничто в сравнении с вечностью. Какое великолепие зданий, какой блеск повсюду!.. Как ценят здесь таланты! Представьте себе, мне нужно было только показаться, и все узнали, что я поэт, все литераторы предложили свое знакомство, все журналисты просят стихов...»

— Послушай, братец, это ложь! — сказал поэт, положив перо.

— А ты лучше лгал? Хотел привести отца и мать в отчаяние! Пиши:

«Словом, меня носят здесь на руках; стихи мои ходят по рукам; все удивляются, что в мои лета я написал уже огромную поэму. Вы удивитесь, любезные родители, если узнаете, что я всякий день на вечерах и балах у лучшей знати московской, у меценатов просвещения. Отказаться невозможно; а это ужасно как дорого мне стоит. Покуда я пойду на всех парусах к счастью жизни, любезные родители, мне надо еще оснаститься, а это требует денег. Поддержать знакомства, быть пристойно одетым, иметь приличную квартиру, нанимать прислугу и тому подобное. Все это требует фундамента, без которого храм моего счастья разрушится. И потому, любезнейшие родители, прошу вас выслать по первой же почте ваше родительское благословение и тысячу рублей; а если можно, и более. В случае же дальнейшей необходимости, если таковая встретится, я обращусь к вам с сыновней любовью. Покорный ваш сын...»

Подписывай!.. Еще нота bene: «Теперь я должен заняться приготовлением к экзамену; а как только буду свободнее, то займусь окончанием и отделкой моей поэмы. Литераторы говорят мне, что я за нее получу по крайней мере десять тысяч».

Вот, братец, как должно расшевеливать родительское сердце ко благу детей.

— Ведь это уж слишком налгано! — сказал поэт.

— Нет, не налгано! Пусть только вышлют больше денег; а с деньгами можно добыть славу, честь и знакомства.

— А пскуда вышлют, чем платить за квартиру? чем жить? надо к завтраму же пятьдесят рублей.

— Есть у тебя что-нибудь заложить? я добуду денег. У тебя, кажется, есть серебро?

— Три серебряных и три чайных ложки.

— Продать их! К чему тебе свои ложки? У меня сроду не бывало своей ложки. Везде панимаешь квартиру со столом, ложки всегда хозяйские. А перина тебе к чему? У холостого человека перины и стеганое одеяло — это срам! тебя все осмеют!.. Все это продать, обратить в деньги; а между тем я буду иметь *кондиции* или ты получишь деньги от отца.

Как сказано, так и сделано. Товарищ поэта, как человек опытный в подобных случаях, тотчас же распорядился надлежащим образом. Во-первых, нашел купцов для сбыта всех лишних вещей, которыми заботливая мать снабдила поэта; во-вторых, условился с хозяином платить за квартиру и стол помесечно. Таким образом время до получения ответа на письмо было обеспечено, особенно когда реестр поступивших в продажу вещей был дополнен часами, столовым бельем и бритвенной шкатулкой, которую отец подарил сыну с тем, чтоб он сам брил бороду, когда она вырастет у него, а не платил даром денег цирюльнику. Айголова доказал поэту, что это все лишнее: луковицу вместо часов нельзя носить в столице, а борода еще когда-то вырастет; притом же, теперь борода входит в моду, и, следовательно, бритвы вещь совершенно бесполезная.

Университетские экзамены назначены были в июле, и потому поэт не торопился готовить себя к ответу на лотерейные вопросы. По наставлению товарища, самое лучшее правило приготовления к экзамену состояло в том, чтоб начать приготовление в преддверии экзамена, не раньше как за месяц: не есть, не спать и таким образом сосредоточить все умственные силы, разом обнять памятью весь гимназический курс; а потом, за трое суток до экзамена, не думать об экзамене, напиться, напиться, нагуляться и выспаться и после всего этого явиться в присутствие комитета натошак.

По этому правилу поэт мог целый месяц времени даже продать и уступить дешево, если б кто-нибудь покупал время, вследствие правила, что время есть одна из драгоценнейших вещей в мире. Три недели быстро прошли тем

же порядком, как и первый день приезда, с тою только разницею, что он посещал почтамт для справки, не имеется ли к нему письма за пятью печатями. Наконец оно получено, разрезано, деньги счетом выданы поэту; торопливо берет он их, расписывается, бежит...

— Забыли письмо! — кричат ему вслед; он не слышит; почтальон догоняет его и вручает ему письмо. Взяв извозчика, поэт взглянул на конверт: *тысяча рублей!* Развернул письмо — отец рад его успехам, советует ему заботиться скорее поступить в университет, быть осторожным в выборе знакомств; потом следуют наставления. Не дорогой же читать их. Сложив письмо, поэт предался мышлению, каким образом употребить благоразумно деньги на необходимое. Первое, что показалось ему вещью *первой необходимости* для человека, располагающего тысячью рублей, был модный покрой платья, потому что хоть его и снабдили всем с иголки, но вся провинциальная одежда никуда не годится в столице. Во-первых, барометр талий в столице поднялся на несколько градусов выше; во-вторых, воротники от шеи спустились на спину; в-третьих, лацканы не смели уже топыриться вперед; в-четвертых, пуговицы не смели иметь сообщений с петлями, и, наконец, каждому благовоспитанному человеку необходимо было иметь галльское пальто, полосатые панталоны и лаковые сапоги с копытами.

Все это заказано на пути к дому у иностранного портного, в магазине готового платья, — заказано *непременно к завтраму*, и очень кстати. Заехав по дороге позавтракать к Шевалье, поэт, счастливый и довольный, возвратился домой, закурил сигарку, бросился на постель и долго мечтал, так, о разных предметах крайней необходимости, на которые должно было употребить деньги. Вдруг пришла ему в голову богатая мысль: издать свою поэму, немедленно же приступить к печати. Торопливо схватил он карандаш и бумагу, чтоб скорее кончить ее. И в это-то время вошел его товарищ и торжественно объявил, что он зван на обед к одному из известных литераторов.

III

Мы уже упомянули, что прозаик-гений Василий Григорьевич поехал по Москве бить в колокола о явлении нового, самобытного поэта. В тот же день он успел быть

у княгини Марьи Алексеевны, у Турусиных, у Колесиных, у князей Кучук-Каймакановых, у Берендеевых-Копкиных и многих иных — на Арбате, на Поварской, на Покровке, на Дмитровке, во всех кривых переулках, на всех горках, на пяти вечерах и десяти балах; наахал мадемуазель Элизе и мадам Софи Плохоноговой, мадемуазель Эсперанс и мадемуазель Эмабль, чтоб они, любительницы поэзии, готовили свою душу, как драгоценный сосуд, для сладостного чувства, которое вольтет в нее новый, прекрасный поэт-гений, прибывший в Москву из благовонных стран пламенного юга.

— Вы видели его? вы слышали его? что он, вроде Пушкина?

Василий Григорьевич вместо ответа декламировал новому поколению стихи Пушкина.

— Ах, это не уступает Пушкину! — восклицали в гостиных.

— Что все ваши поэты перед Державиным! — говорило старое поколение.

Василий Григорьевич вместо ответа декламировал стихи Державина.

И все восклицали:

— Неужели это стихи нового поэта?

— Его, княгиня.

— Познакомьте меня с ним!

— Это гений!

— Гений! необыкновенный гений!

— Куда ж вы?

— *Au revoir!*¹ завтра он у меня обедает.

— Доставьте же нам случай его видеть.

— Непременно!

До трех часов за полночь Василий Григорьевич таким образом носился молвой о новом, великом поэте, объехал всех знакомых, только не заезжал в *свою семью*, где поэт-гений читал любовь в очах Елены и не предвидел, что прозаик-гений строит на него ковы. На другой день, между тем, как он еще спал, наш новый поэт с товарищем сбирались уже к нему на обед. Портной сдержал слово: выбрав по мерке из запасов готового платья все, что нужно было для наряда по последней полученной из Парижа картинке, он явился в двенадцать часов, натя-

¹ До свиданья! (*франц.*)

нул на поэта платье, только что из-под утюга, и сказал: все впору, сидит прекрасно, такой талии свет не производил! Поэт хотел взглянуть на себя в зеркало, но зеркала не было. В сердцах он велел позвать хозяина, сделал ему выговор за недостаток зеркала и приказал приготовить для себя номер с зеркалами.

Новомодный покрой платья необходимо было дополнить многим: надобно было, во-первых, зеркальные сапоги, потом шелковый платок, новую шляпу, шведские перчатки, щегольскую тросточку, вместо часов хоть бронзовую цепочку. На Кузнецком мосту все эти вещи были уже давно готовы и ожидали только прибытия поэта, с потребным количеством денег. Проезжая мимо оптического магазина, поэт почувствовал, что у него слабо зрение и необходимы очки или, по крайней мере, лорнетка. Оптик посоветовал взять то и другое. Проезжая мимо фабрики париков и *чесальной залы*, товарищ поэта сказал, что необходимо завить волосы.

— Вам необходим парик! — сказал перрюкье¹. — У вас редки, жестки собственные волосы; верно, вылезли после горячки; завивать нельзя, да и тем лучше: все порядочные люди теперь носят парики.

Подобным убеждениям невозможно было противиться, и вот в три часа поэт, сопровождаемый товарищем, явился к прозаику-гению. В парике и в очках его не узнали бы отец и мать, не только что чужие люди; куда девалась излишняя молодость, откуда взялось достоинство *человека как быть*.

Василий Григорьевич в фасонабельной комнате, углубившись в комфортабельные кресла и в книгу, ждал гостей. Едва они в двери...

— А! — произнес он, протягивая поэту правую руку, а товарищу его левую, — вы прервали мое чтение, и на каких замечательных словах: «Знакомство великого человека есть благо, ниспосылаемое небом». Очень, очень благодарен. Я с таким нетерпением желал вашего знакомства... ваш талант...

Юный поэт, как мы заметили уже, был поэт с восторженным духом. Под него не нужно было много подкладывать дров, чтоб воспламенить. *Великий туалет* превратил уездную неловкость его в оригинальность, или, как

¹ парикмахер (*франц.*).

очень умно выражаются ныне, *самость*. Разговор тотчас склонился к литературе вообще и к поэзии в особенности. Но его прервали приездом своим два молодых светских человека, с большим искусством выработанных для парадов гостиных.

— Рекомендую вам моих приятелей, — сказал Василий Григорьевич, — они не литераторы, но ценители гениальности: князь Синегорский-Корка и Полпудов.

Ценители гениальности взглянули как знатоки людей на нашего поэта и заметили в нем что-то особенное.

Во время обеда поэт, возгорженный особенным вниманием к его словам и разгоряченный произведениями Бургундии и Шампани, удивил всех познаниями, шутками и остротами, усвоенными из журналов. В самом деле, он был достойный воспитанник шести отделений журнальных: русской словесности, иностранной словесности, наук и художеств, критики, литературной летописи и смеси. Обо всем, что было писано в продолжение лет трех (т. е. со времени, в которое он начал читать журналы) в «Библиотеке для чтения», он мог так же смело судить, как печатная статья.

— Что, *mon cher*? — сказал Василий Григорьевич, отведя в сторону приятеля своего, князя.

— *Mais*², *mon cher*, — сказал князь, — это гений, это чудо! Я зову его в воскресенье на вечер. Мои старики в ничто ставят наш век, требуют указать им хоть одного современного гения, подобно Ломоносову; я им живьем представляю гения... Попроси же его прочесть стихи своего произведения.

— О, он непременно прочтет, он обещал, я его упрошу.

И вот Василий Григорьевич, а вслед за ним и его приятели обращаются к поэту с нетерпеливым желанием слышать его творения.

— Я прочту вам что-нибудь из своей поэмы.

— Ах нет, лучше прочти *«Кастальский ключ»*, — говорит ему товарищ.

Так как чтением поэм все давно уже у нас напуганы, то и убедили поэта прочесть *«Кастальский ключ»*.

Глубоко вздохнув, поэт сел, обратил взор к потолку и, упоенный хвалами и шампанским, читал:

¹ мой дорогой (*франц.*).

² Но (*франц.*).

Источник шумный и прозрачный,
Текущий с горней высоты,
Поящий дол роскошно-злачный,
Кропящий перлами цветы...

— Бесподобно! Какой стих: «Кропящий перлами цветы!»

Поэт продолжал:

В твоих извилах серебристых.
Румянцем девственным горя
И сыпя купы роз огнистых,
Играет ясная заря...
Когда...

— Ах!

— Тс!

Когда же солнце воцарится,
Природу светом облечет,
Кристалл твой вспыхнет, загорится
И ярким золотом течет!..

— Какое воображение!

— Charmant!¹

— Тс!

Но ты мила ночной порою:
Ты перлы катишь при луне;
Все тихо, мирно над тобою,
И рощи дремлют в тишине...
Как мученик заботы дневной,
Я прихожу к тебе, ручей,
И утоляю жар душевный
Струей прохладною твоей!..

— Браво!

И утоляю жар душевный
Струей прохладною твоей!

Разгоряченный поэт продолжал исступленно, как шаман:

Пой меня! в ладу я с роком;
Когда тобой упыюся я,
Взыграет дух мой, и потоком
Польется звучно песнь моя!

— Бесподобно! чудно! ах, как хорошо! Русский Гюго! — кричали все, устремив глаза на поэта, как на ди-

¹ Прелестно! (*франц.*)

кого зверя. А он отирал зной с лица своего и ходил, обмахиваясь платком, по комнате.

Князь Синегорский-Корка просил поэта к себе на вечер.

— Вы сделаете нам честь и, надеюсь, проведете время приятно: у нас танцы, музыка, пенье. В избранном обществе Москвы не доставало только поэта.

Приглашение, разумеется, было принято; а товарищ шепнул: «Говорил я тебе, что все, что ты писал к отцу, правда».

Князь Синегорский-Корка был замечательное лицо в гостиных и в пламенных сердцах. Около него жеманился не только девственный мир, но и милые, прекрасные, очаровательные, пленительные женщины старались при нем казаться существами девственными, непорочными, жертвами, страждущими в оковах замужества. Всем существам, одаренным его вниманием, он сказал á propos¹, что Россия обладает теперь гением поэзии и что он в воскресенье будет у нас читать свои творения. На другой же день все визиты и встречи в двадцати частях, ста кварталах, двухстах улицах, трехстах переулках и в тысяче гостиных начинались с восклицания: «Ах! слышали вы?»

— Слышала: она выходит замуж...

— Ах, не то! Явился поэт, перед которым ничто Пушкин!

— Ах, слышала; говорят, что-то необыкновенное, совершенно в новом роде...

— Ах! слышали?

— Слышала.

— От кого?

— От... от... от двадцати человек,— отвечала мадемуазель Такла торопливо, не желая произносить имени князя Синегорского-Корки, чтоб не покраснеть.

— Ах, вы слышали? Новый поэт.

— Да, послезавтра он будет читать свои стихи в доме князя, я непременно буду там.

— Может быть, званый вечер?

— Да, кажется.

И иначе начинали:

¹ кстати (франц.).

(В гостиной)

— Вы видели поэта? Вот гений! Какие размашистые крылья у него! Парит орлом!

(В передней)

— Слышишь, Ванька! крылатый человек явился. Вот бы посмотреть!

(В гостиной)

— Так не видали? и я еще не видела.

— Откуда оп?

— На днях возвратился из путешествия.

— Ах, боже мой, так, верно, я его видела в театре, в первом ряду кресел... Новое лицо... вокруг него толща...

— Каков же он собой?

— Высокий мужчина, волосы, разбросанные по плечам, лицо бледноватое, взор томный...

— Ах, это должен быть он!

И на бульваре все ходят суетливо и спрашивают друг друга о появлении поэта.

— Что-то вроде ямбов Барбье или Ламартина... но лучше говорят...

— Vraiment? je veux apprendre le russe¹.

— Il nous a lu «*La fontaine de Castali*» — charmant! Il vous peint comme la nature dors aux alentours et le ruisseau magique roule ses ondes de perles².

Не менее прочих хлопотал и статский советник Лукьян Петрович.

— Слышала, матушка? — говорил он жене, приказывая скорее обрить себя, подать парик и одеваться.

— Что такое, батюшка?

— В Москве, матушка, явилось чудо.

— Что за чудо такое, батюшка?

— Крылатый, матушка, человек.

— Помилуй, батюшка, кто это тебе сказал?

— Петр.

— Какой Петр, батюшка?

¹ Правда? Я хочу выучить русский язык (*франц.*).

² Он нам читал «*Кастальский ключ*» — прелесть! Он вам показывает, как природа позлащает окрестности и великолепный ручей катит свои жемчужные волны (*франц.*).

— Ах, матушка, какой Петр? вот вопрос! забыла, как зовут моего камердинера!

— Петр наврет, а ты слушаешь.

— Отчего же наврет: своими ушами слышал от людей князя Синегорского. Петр! поди сюда! Говори, что ты слышал.

— Княжеские люди сказывали, что у них будет крылатый человек. Князь и княгиня сзывают всех знакомых смотреть его. Говорят, что он будет летать по большой зале.

— Странно, что они не думают нас пригласить, если есть на что посмотреть! — сказала голосом обиженного самолюбия статская советница, состоящая в этом чине с начала столетия. — Не напрашиваться ли ты едешь, батюшка?

— Помилуй, матушка, как будто это значит напрашиваться, ежели я сделаю визит князю?

— Очень натурально!.. и что за любопытство, что за нетерпение! увидишь, батюшка, за свои деньги.

— Любопытство! чаю, стоит смотреть крылатого человека.

— А ты, батюшка, и веришь, что у него настоящие крылья?

— А почему ж бы, матушка, не верить? Родятся же люди двойчатки, как, например, пишут, сиамские близнецы; отчего ж не уродиться с крыльями? Это игра природы. Статься может, что мать в беременности испугалась крыльев, вот ребенок и родился с крыльями. Сама ты знаешь Акулину Яковлевну: испугалась мыши и родила младенца — мышь на щеке. Все дело возможное.

— Не верится! Человеческий образ с крыльями носят только ангелы на небеси.

Лукьян Петрович задумался.

— Ну, подождем, — сказал он, — князю нельзя же не пригласить нас.

Между тем как Лукьян Петрович ожидал приглашения, молва переносилась из дома в дом, как полымя пожара; то перекинёт его через брандмауер, то перебросит через улицу. А известно, что во время подобных слухов поднимаются все старые и молодые городские ветры.

Сведение через забор дошло и до Филата Кузьмича, знатного, почетного гражданина с золотой медалью на шее. До того Филата Кузьмича, что купил себе *княжески*

палаты, только что не позолоченные снаружи, сказал: что мне до бар! я сам господин! и поделал в княжеских палатах лежанки и живет себе сам-шест: Анисья Тихоновна, да Федя, да старуха, да девка кухарка, да дворник. Бывало, тут у нерасчетливого князя сот пять гостей в сутки перебывает, пудов пять восковых свечей в вечер сожгут, рублей тысячу в день скушают, да две выпьют; а теперь, у расчетливого Филата Кузьмича, ворота на заперти, в подворотню собака на прохожих лает, дескать «проваливай мимо! сама голую кость гложу!». Свету только божий день, лампадка перед кивотом да сальная свеча. Золотая мебель прикрыта чехлами, чтоб не попортилась от неупотребления; пищи — шей горшок, сам большой, да мостолыга мяса. Зато самовар какой знатной! ведра в три; жаль, чашечки *больно маленькие*, с глоточек. Живет себе Филат Кузьмич, словно чужое богатство стережет. Сад был слишком велик, так он повырубил его под огород да насадил капустки и огурчиков. Оранжерею так-таки *ранжереей* и оставил, только сам не съест ни грушки, ни сливки, ни лимончика не сорвет для домашнего обихода — все на откуп. По парадному крыльцу не ходит; раз пошел было, да причудился ему в дверях официант княжой, стоит себе с булавой да словно кричит: куда тебя черт несет! С тех пор Филат Кузьмич запер на ключ парадное крыльцо.

— Слышал, Филат Кузьмич, что люди говорят? — сказала Анисья Тихоновна. — Говорят — тово, явился вишь какой-то Яний, крылатый человек.

— Ой ли?

— Зпать — тово, что уж это чудо какое? Явился в имени у князя Синегорского. Сегодня сюда привезут; чай, со всей Москвы сбежится народ. Что, кабы ты у дворецкого местечко добыл, на хорах, что ль, аль где у подъезда, смотреть маленько.

— А что — тово, Федя! сходи, брат, попроси ко мне дворецкого. Так, скажи, дельцо тятеньке есть.

Федя побежал, а Филат Кузьмич, значительно откашлянувшись, вынул бумажник с ассигнациями и сказал: «Постой, все устроим».

Слухи проникли даже далеко за заставу, в имение Акима Ивановича. Чудное имение, богатая земля, да некогда было пахать ее, потому что у Акима Ивановича в имение был окаянный лес, который он берег пуще свое-

го глаза и обводил циркумвационными линиями. Только что первый летний теплый денек — Аким Иванович и едут осматривать лес. «Крадут! я вижу, что крадут!» — и стонит всю деревню обводить лес валами и канавами; а лес верст двадцать в окружности. Потом роет канаву вокруг деревни, потом вокруг всего имения — лето и пройдет.

Когда воротился из Москвы посланный для покупки новых лопат и заступов, Аким Иванович смотрел на работы и рассуждал со старостой.

— Ну, брат Савелий, будь я богат, я бы обвел все имение каменной стеной сажени в три вышины; уж тогда бы чужая собака не забежала воровать лес!.. Эгэ? посмотри-ка, это девчонки крадутся? лови их! сюда! а! канальи! грибы воровать!.. покажи сюда!

— Это не грибы, а ягоды, батюшка вся пласхоситства!

— Давай сюда!

И Аким Иванович взял кувшинчик с набранной земляничкой, всунул в него руку, передал все ягоды и потом хлопнул кувшин о землю.

— Вот вам и ягоды! не смейте в лес ходить!.. пошли!.. А! привез?

Прибывший приказчик, поклонившись пизменно, доложил, что все привез. Он-то, вместе с лопатами, заступами и кирками, привез из Москвы и новость, что в Москве явился Яний, крылатый человек. Эта новость так встревожила Акима Ивановича, что он немедленно же отправился в Москву.

IV

Случай или вообще счастье всем современным гениям: только к вечеру в воскресенье на улице, около ограды дома князя Синегорского-Корки, стеклись толпы народа смотреть крылатого человека, как в старину слона или посла с бородой. Мало-помалу явились и экипажи, сперва несколько — два, три, ездили шагом взад и вперед перед домом, останавливались и пережидали, как будто затрудняясь проехать сквозь толпу. Потом, глядя на этих и как будто любопытствуя знать причину стечения народа, поехали тише и другие; съехавшиеся потянулись гусем. А между тем, к столпившемуся народу набегали разнос-

чики с яблоками, с апельсинами, с мороженым, с игрушками, с пряниками, с маком — недоставало только самоварчиков с горячим сбитнем да патоки с инбирем... этих русских сластей — увы! — не было уже в Москве: завелся харчевенный чаек да французские конфеты из картофельной муки и патоки.

Вот на улице, перед домом князей Синегорских, образовалось приходское гулянье, о котором не знала и полиция. Один ряд экипажей тянулся по улице, другой пробирался на княжеский двор.

Молодой Синегорский, предложив отцу и матери представить гениального поэта, пригласил только свою знакомую молодежь, ценителей талантов; мельком упомянул и некоторым из *charmantes personnes*¹, что в воскресенье у него литературный вечер; но особенных приглашений, званого вечера он не предлагал. Старый князь, правда, сказал на ухо кой-кому из коротких знакомых: «Приезжайте на вечер в воскресенье, у меня один стихотворец будет читать свои стихи; говорят, очень хороши». И старая княгиня также шепнула кой-кому: «Приезжайте на вечер в воскресенье; у меня будет один известный сочинитель... будет свои стихи читать». Но и они ни особенных приглашений, ни званого вечера не желали делать, тем более что старый князь не уважал ни нового просвещения, ни новых творцов и не хотел какого-нибудь юного поэта, фертика почтить особнным приемом, званым вечером и полным освещением дома.

Настал вечер. Князь и княгиня вышли в маленькую гостиную и, не желая показать, что они ожидают поэта, начали вечер обыкновенным порядком.

— Что значат эти экипажи и толпы народа? — спросила княгиня. — Узнай!

— Да это, ваше сиятельство, ждут гостя, который изволит быть сегодня к вам, — отвечал официант.

— Что за чудо, неужели он так славен, что народ сбегается смотреть на него! — сказала княгиня. Вдруг докладывают о приезде его сиятельства князя Кучук-Каймаканова с княгиней и княжнами.

— Как некстати! — проговорила хозяйка. Князь пошел встретить.

— Мы к вам совершенно неожиданно: едем прогули-

¹ прелестных особ (*франц.*).

ваться, вдруг видим стечение народа... «Что это такое? верно, приходский праздник? — говорю я. — Заедем, княгиня!» — «Заедем!» Вот таким-то образом и заехали.

— Очень рада!

— Что князь?

— Слава богу.

— Сердечно рад. Что нового в Москве?.. говорят...

— Марфа Григорьевна Турусина с дочерьми и племянницами! — доложил снова человек.

— Проси! — произнесла наморщившись княгиня.

— А я к вам, княгиня, проститься, — сказала звучно великолепная дама, входя в гостиную с толпой грациозных существ: — мы едем на будущей неделе в Петербург, так, может быть, не удастся...

Петр Сергеевич Весневицкий с супругой!.. Марья Яковлевна Гущина!.. Потом Коровкины, потом Музины, Пузины, Зюзины, и — гостиная переполнилась неожиданными гостями.

— Вели осветить скорее большую гостиную! — говорит хозяйка на ухо князю, скрывая досаду и усаживая гостей.

А между тем, на дворе и на улице давка; экипажи так стеснились, что нет проезда.

— Это ни на что не похоже! — кричит квартальный. — Давать бал и не объявить полиции!.. — С помощью хожалого он принялся разгоять народ и устраивать порядок проезда и приезда.

Только что княгиня перевела гостей в большую гостиную, вдруг в зале послышалось какое-то особенное движение, говор умолк.

— Князь, — вскричал, вбежав, Василий Григорьевич, — поэт! — За Василием Григорьевичем вошел юный поэт, без товарища, потому что Айголова не любил аристократических вечеров.

Горделиво приподняв голову, он шаркнул в дверях и, по привычке расчесывать голову пятью пальцами, он чуть-чуть не сдернул с себя парик.

— Как благодарен! — вскричал молодой князь, взяв его за руку и ведя в гостиную представлять отцу и матери.

Поэт смутился, когда ввели его в озаренную гостиную, полную блистательного общества; голова его несколько закружилась, в глазах потемнело. Довольно оригинально по-

клонился он княгине, а потом князю; но когда молодой Синегорский опустил его руку и оставил на произвол самому себе, на ногах посреди чинно сидящих... произвол его совершенно исчез, и он не двигался с места, как центр круга, унизанного глазами. В самом деле, ужасное положение для того, кто не знает, что в таком случае надо посмотреть на всех прищурив или вытаращив глаза, потушить яркие взоры окружающих и потом уже перевернуться на одной ножке и таким образом выйти из волшебного глазастого круга. Встречая везде глаза, поэт провел взоры по карнизу, до самых дверей... Двери! благодетельные двери! в вас можно уйти!..

Все это, однако же, могло приняться за *самость* в человеке, которого молва провозгласила *необыкновенным*.

— Он очень недурен собою!.. и как еще молод!..

— А мне кажется, он более моложав, нежели молод; эта бледность и сурьезность в лице предполагают большую опытность в жизни.

— Давно ли вы пожаловали к нам в Москву? — спросил старый князь, подходя к поэту.

— Давно-с!

— Издалека?

— Издалека, — отвечал поэт, потеряв понятие о *времени и пространстве* и думая только о *месте*.

— Не угодно ли садиться? — сказал старый князь.

К счастью, подошел Василий Григорьевич и начал громкогласно превозносить творения поэта. Это его оживило.

— Надеюсь, — сказал князь, — что вы доставите нам удовольствие слышать что-нибудь.

— С особенным удовольствием, мне приятно!.. — отвечал поэт, ободрясь и откашлянув эти слова.

— Ах, «Кастальский ключ»! Это очарование! — сказал Василий Григорьевич.

— Прочитайте, пожалуйста, — сказала княгиня.

— Право, эти стихи не так хороши, — сказал поэт, устремив глаза в потолок и как будто припоминая их. Как водится в свете, все обратило на него внимание. Шепчущим голосом он начал читать:

Источник шумный и прозрачный, и пр.

Почтенные дамы слушали, о чем-то тихо рассуждая; прекрасные создания слушали, по обыкновению, внимательными взорами; патриархи семейств, вынуд из одного

уха хлопчатую бумагу, склонили его в ту сторону, откуда происходил Кастальский источник; а светские молодцы что-то ловили глазами и не щадили: bravo, bravo! вслушиваясь в те места, которые поэт произносил громко и с чувством.

Василий Григорьевич не утерпел, повторил с восторгом, обежав взором всех прекрасных созданий: «Румянцем девственным горя! Какой стих! как это ново: все поэты до сих пор сравнивали румянец с зарей; а monsieur сравнивает румянец зари с девственным румянцем».

Это замечание сильно воздействовало на прекрасный пол и на поклонников его. «Charmant!» — произнес одиозный голосок, за ним вслед посыпались: «bravo — bravo!» Общее внимание было покорено, и все почувствовали жажду к стихам.

— У вас есть «Наполеон», — сказал Василий Григорьевич.

— Ах, Наполеон, Наполеон, — повторили все любящие *героя нашего века*.

— Любопытно состязание с Ламартином и Пушкиным!

— О, они не откажутся нам прочесть! — сказал Василий Григорьевич.

Поэт, возгорженный хвалой, потер лоб, смело окинул всех вопросительным взором и произнес, возвысив голос: «Кто он?..» Все вздрогнули от неожиданности подобного вопроса.

Кто он?.. Гигант и Атлас новый,
На рамена поднявший свет
И бросивший его в оковы
Могучей дланию побед?

Поэт приостановился, как будто ожидая ответа, — все молчали.

Кто он? Как конь неистов, тучей
Над миром мчится, громом ржет,
Пыль из ноздрей, как вихрь летучий,
Из уст клубами пена бьет;
От взоров молнии снопами,
Бежит и царства бьет стопами!..
Кто он?

— Bravo, bravo! это Барбье!.. тс!

— Выше!

— «Над миром мчится, громом ржет!» Каково?

— Тс!

Кто он? Под огненным венцом,
Стопы на грудь поставил мира?
Пылает, искрится на нем
Из молний тканная порфира.
Вокруг него рабы рабов
Стоят ни живы и ни мертвы;
Взор грозный движет тьмы полков,
Десница исчисляет жертвы!
Кто он?
Кто он? Тот вождь непобедимый,
Внимавший хор земных похвал,
Сорвавший с глав их диадимы...
Кто он?.. Не спрашивайте!.. Пал,
Пал гений, славою ведомый,
И смолкли грозы, стихли громы!..
Весь мир облекся тишиной...
И род Адама отдыхает...
И снова плавною струей
Река событий протекает.

— Incompragable!¹ чудно!

Поэт торжествовал, осыпаясь восклицаниями удивления и похвал. Не менее его торжествовал и Василий Григорьевич, но совсем по другой причине! «Дело идет на лад!» — думал он, потирая себе руки.

— Вы первый поэт России! — повторял он, пожимая руку поэту.

— Да, — сказал и старый князь, увлеченный общим мнением, — да, я не знаю ничего лучше!

— Браво! победа за нашим поколением! — воскликнул молодой Синегорский.

Возгорженный поэт, чтоб утолить внутреннее волнение, ходил взад и вперед по зале, охлаждая себя платком. Девушки также прохаживались попарно, как можно ближе к поэту, чтоб изучить его наружность и гениальные странности. В другой комнате раздалось несколько аккордов на фортепьяно; все бросились туда и торопились обступить гения романсов, *которого слава была уже сделана*. Это был молодой человек с *голосом Стентора* — простите старому сравнению. Поэт остался, как забытый, посреди залы; он припоминал лучшие места из своего эпизода большой поэмы, уверенный, что его снова обступят с просьбами прочесть еще что-нибудь. Занятый повторением 3-й главы, состоящей не более как из пятисот стихов, он вдруг услышал неистовые возгласы: «браво! *charmant!*» и тут только заметил сиротство свое.

¹ Бесподобно! (*франц.*)

Ему показалось обидно, что его не пригласили слушать громогласного певца; идти незваному в другую комнату показалось неприлично, и юный поэт, с затронутым самолюбием от внимания и вместе от невнимания, отправился домой.

V

Винозник быстрого распространения славы нашего поэта, Василий Григорьевич, как уже мы сказали, торжествовал в душе затмение славы своего соперника по отношениям сердечным. Он предвидел, как будет страдать самолюбие Павла Александровича, когда явится в *своей семье* новый поэт, про которого будет кричать вся Москва, и как Елена не захочет себя унижить любовью к светилу померкшему.

Вы помните, как прибежал Василий Григорьевич в *свою семью* и иступленно говорил: «Я поражен, удивлен, изумлен, словом, я вне себя!» Это было на другой день после вечера у князей Синегорских.

— Я вне себя! — повторял он.

— Где ж вы? — спросила Елена.

— Я... я... ах, не спрашивайте! это невозможно! вам самим надо видеть, слышать и чувствовать!

— Что-нибудь очень любопытное! — сказала Деянира Диогеновна. — Я думаю, однако же, что вы наконец скажете нам, что вас так изумило и удивило.

— Явился великий поэт!

— Ха, ха, ха, ха! мы что-то слышали про него! Где же нам его искать, чтоб видеть это величие? Впрочем, может быть, он будет показывать себя за деньги.

— Вы смеетесь, шутите; но это не шутка: я видел его, слышал собственными ушами, познакомился с ним, и первый наш разговор был об вас и вашем семействе.

— Это как? — спросила с холодным удивлением Деянира Диогеновна.

— Ах, боже мой, удивительно ли: приехать образованному литератору, поэту, в Москву, слышать об вас и желать познакомиться с вами? Ваш дом — центр того образованного общества, которое взвешивает таланты и оценивает их.

— Вы, кажется, собираетесь льстить, — сказала Деянира Диогеновна.

— Если вам угодно принять за лесть общее мнение... как вам угодно!.. По крайней мере, и наш новый поэт, сообразуясь с общим мнением, просил меня доставить ему случай быть вам представленным.

— Очень рада! мне приятно будет самой видеть у себя великого поэта; вы так расхвалили его, вся Москва только и говорит что о нем, — сказала Деянира Диогеновна, охладив несколько чувство удовлетворенного самолюбия последними словами, произнесенными с улыбкой.

— В каком же роде этот поэт? — спросила Елена, также улыбаясь. — Лирический, драматический, сатирический или эротический?

— Я слышал его лирические и эротические произведения; однако ж он пишет поэму, а поэма заключает в себе и драму. Истинный поэт должен обладать всеми родами поэзии.

— Вот что! — сказала сухо Елена, которой самолюбие Василий Григорьевич кольнул своим замечанием, потому что поэт-гений в *своей семье* считался только лирическим поэтом и все вообще не советовали ему писать поэм и драм, находя, что его способность не распространяется на драмы. Но своего лирического поэта *своя семья* считала поэтом *высокого полета*, а Елена не иначе как *генералом от поэзии*, и вдруг ей осмеливаются говорить, что он не более, как *обер-лирик*, с маленькими крылышками. Елена готова была с досады вскрикнуть: «Пожалуйте ваше перо! извольте идти под арест, к себе на квартиру!» — но воздержалась.

— Так, стало быть, лирик не может быть гением? — сказала она тоном оскорбленного самолюбия.

— Мадемуазель Элег'нь, вы понимаете все вещи лучше меня, и потому ваш вопрос совершенно лишний.

— Отчего же лучше вас? — спросила она, вполне удовлетворенная ответом.

— Оттого, что дары природы, развитые до такой степени совершенства, как в вас, не могут быть уделом многих.

Прозаик-гений очень ловко умел золотить свои речи и осыпать их драгоценными словами, которые нравятся нежному и чувствительному самолюбию; и потому девушка, в которой дары природы были развиты до такой степени совершенства, вполне была довольна подаренным ответом.

— И я должна заметить вам, что вы расположены сегодня всем льстить,— сказала Елена, приятно улыбаясь.

— И я повторяю вам ответ мой на подобные слова Деяпиры Диогеновны.

— Оставьте спор. Когда же вы привезете к нам нового поэта?

— Даже завтра, если встречу во всех любопытство его видеть и слышать.

— Ах, мы очень любопытствуем видеть и слышать его.

На этом кончился разговор о поэте. Василий Григорьевич вскоре отправился, сказав, что ему нужно кое-чем заняться. И в самом деле, он занялся визитами, туда-сюда, ко всем знакомым с домом Аполлона Ивановича, и разгласил, что завтра ввечеру будет у Аполлона Ивановича великий поэт читать свои творения. Это имело ожидаемый успех. На другой день ввечеру у Аполлона Ивановича точно та же история, как и у князей Синегорских. Все короткие и некороткие знакомые приехали как будто случайно навестить Деяпиру Диогеновну. Павел Александрович, с некоторого времени ежедневный вечерний гость, был тут же.

Когда Василий Григорьевич явился с поэтом, все комнаты были полнехоньки, как на толкучем рауте; все говорило о новом поэте, а все бывшие на вечере у князей Синегорских кричали, что *это чудо!*

Едва Деяпира Диогеновна произнесла с самодовольствием: «Он будет сегодня у меня» — поэт в двери, а Павел Александрович, засевший в уединенный уголок, чтоб избавиться от обидных вопросов: вы видели нового поэта? вы знакомы с ним? гепий! совершенно в новом роде! — вздрогнул и побледнел.

Василий Григорьевич представил поэта хозяйке и хозяину. Поэт был уже смел, раскланивался с потребною важностью для гения, осматривал всех неробким взором, завел разговор о литературе, о поэзии, о журналах. Его окружили, и вскоре посыпались общие просьбы прочесть что-нибудь, и именно «Наполеона». Общее удивление к поэту поразило Елену; она пожирала его взорами, слушала и не смела прервать его слов собственными суждениями: так ново и любопытно говорил он. Василий Григорьевич гремел: «Именно так! точно! совершенно справедливо! ново, очень ново!» — и нападал на одного пе-

тербургского студента, который осмеливался оспаривать суждения поэта. Бедный Павел Александрович не сводил глаз с Елены и бледнел от дурноты. Когда же новый поэт начал читать оду «Наполеон» и когда после стиха

Над миром мчится, громом ржет

вся зала потряслась до основания от восклицаний удивления, а Елена сказала по привычке: «Dieu, comme c'est beau»¹ — он схватил в беспамятстве чужую шляпу и — исчез.

На другой день он не явился в *свою семью*; в отчаянии ходил он по комнате и сочинял стихи *неверной*; а это, как известно, неимоверный труд после стихов Баратынского «Разочарование». Разочаруйся только от любви, непременно вспомнишь и запоешь:

Не утешай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

С поэтом-гением случилось иначе: он вспомнил эти стихи и вскричал: «О, я ей отмишу моим разочарованием!» — и стал разочаровывать себя. Во-первых, положил целую неделю не быть в *своей семье* и даже не выезжать из дому, чтоб нигде не встречаться с преступной Еленой. Во-вторых, положил после этого срока показать к ней ледяную холодность; в-третьих, напечатать свои сочинения и посвятить их мадемуазель Турусиной, с которой Елена до ненависти *пикировалась* умом и образованием.

Между тем как он худел от разочарования, Василий Григорьевич ежедневно навещал *свою семью* и строил чувства Деяниры Диогеновны и Елены на свой лад. Явившись на другой день, он наговорил им тьму любезностей от имени нового поэта.

— Он без ума от вас! — говорил он Деянире Диогеновне. — «Это женщина идеального ума, очарования и образованности!..» Простите, я говорю не свои слова; я не мог их скрыть, потому что они так сходны как с общими, так и с моими собственными понятиями.

— Он без ума от вас! — говорил он Елене. — «Вот иде-

¹ Боже, как это прекрасно! (*франц.*)

ал красоты; не пелепой, классической, которая прилична только статуям, но красоты романтической, очаровательной!»

— Он очень мил! — сказала Елена, потупив очи. — Из его слов, по крайней мере, я вижу, что он подобно мне не любит правильную греческую красоту.

— Более: он ненавидит ее подобно мне; мы сошлись с ним вкусами... Как это... «Из молний тканная порфира...» Не припомните ли дальше!.. Какие стихи! *c'est du sublime!*¹ Эти стихи стоили бы вашего альбома.

— О, как высоко вы ставите мой альбом! — сказала неосторожная Елена.

— Но скажите же, какую степень таланта даете вы поэту?

— Право, не знаю. Определите сами, я с вами соглашусь.

Василий Григорьевич преклонил голову и сказал:

— Я не завидую тому, кто истинно достоин удивления и славы; и поэтому я ставлю поэта на первую степень, по крайней мере в настоящее время. Зависть есть недостаток душ мелких, способностей ничтожных, которые боятся присутствия великого таланта.

Бросив таким образом тень на поэта-гения, Василий Григорьевич не прежде, как на четвертый день, спросил, что значит, что не видать Павла Александровича?

— Он с самого того вечера не был у нас, — сказала Деянира Диогеновна.

— Не остался с нами по обыкновению ужинать, — прибавил Аполлон Иванович.

— Помилуйте, — сказал Василий Григорьевич, — он не дослушал оды «Наполеон». Я хотел разделить с ним чувство удовольствия, ищу — его нет, спрашиваю — говорят, уехал. Верно, он чувствовал себя нездоровым.

— Верно! — сказала Елена с некоторым беспокойством.

— Верно, болеп! — повторила Деянира Диогеновна. — Надо послать к нему.

— Кто болен? — спросил Юлий Иванович, очнувшись от чтения «*Débats*»².

— Павел Александрович.

¹ это великолепно! (*франц.*)

² «Деба́» (*французская газета*).

— Вот прекрасно! Я засажал к нему вчера на минутку — здоровехонек.

— О, да по-вашему, братец, все здоровы, кто не лежит без памяти! — сказала Елена.

— Я сам сейчас к нему еду! — сказал Василий Григорьевич, как будто принимая участие в беспокойстве Елены. И немедленно же отправился к Павлу Александровичу.

— Что с вами? — спросил он, вбежав к нему. — Вас давно нигде не видно?

— Ничего, — ответил сухо Павел Александрович.

— Да, а ргоров: как вы находите стихи этого молодого человека? Кажется, не без достоинства?

— Да, конечно, способность есть.

— Есть, есть способность, кто говорит; но меня бесит эта страсть жаловать всех в гении! Я сейчас только от Аполлона Ивановича... о, боже мой!

— Ну?

— Они по сию пору в восторге. Только и разговору, что о новом поэте; считают его пес *plus ultra*¹ совершенства. Мадемуазель Элег'нь вне себя. Вчера целый день припоминала его стихи. Приехал сегодня, думал, что остыл этот жар — напротив, еще хуже!.. И признаюсь, польстила всем, кто трудился писать стихи в ее альбом!

— А что?

— Она просила бы великого поэта написать что-нибудь в альбом, да, видите, ей совестно предложить ему альбом, загрязненный пошлыми стихами.

Павел Александрович вспыхнул, хотел что-то сказать, но удержался; а Василий Григорьевич, разразив сердце его на части, отправился в книжный магазин навестить русскую литературу.

— Что нового? — спросил он у книгопродавца, взяв в руки «Пчелу».

— Говорят, Василий Григорьевич, что явился какой-то необыкновенный поэт; вам известен он?

— Очень, — отвечал невнимательно Василий Григорьевич, пробегая страницы.

— Я слышал, что они читали свои произведения в публике. Правда ли это?

— Как же, как же.

¹ пределом (лат.).

— Много у них пьес? наберется книжечка?
— Поэма, огромная поэма!
— Они где квартируют?
— В гостинице... как бишь?.. да! он хотел переехать в «Лондон». Надо побывать у него.

— Не продадут ли они оригинала?
— Разумеется.
— Сделайте милость, Василий Григорьевич, так чтобы они уж никому, кроме меня, не продавали; а я бы побывал у них.

— Хорошо, хорошо... а что же насчет моих повестей?
— Ей, ей, вам выгоднее было бы самим напечатать, Василий Григорьевич.

— Нет, сам я заниматься этим не хочу. Мое дело писать, а ваше — покупать и печатать.

— Разве на будущий год. Извольте посмотреть, двадцать оригиналов так валяются; денег нет, не на что печатать.

— На покупку поэмы деньги есть, поэмы в стихах? тогда как стихов теперь никто не покупает.

— Это дело случайное-с.

— Что такое значит случайное?

— То есть по особенному случаю. Так, например, какой-нибудь случай случился, Бородинское ли сражение или поход в Хиву, книжечка и кстати, всякой покупает из любопытства. Так вот и новый поэт: покуда кричат об нем, всякому хочется знать, что он за диво такое.

— Есть стихотворения Ордынина? — спросил какой-то вошедший господин.

Приказчик подал книгу в желтой обертке.

— Три экземпляра.

Заплатив хорошие деньги за три экземпляра, господин вышел из лавки.

— Каким же это образом вы спрашивали у меня, не продаст ли Ордынин своих стихотворений для напечатания, а они уже напечатаны? — спросил Василий Григорьевич.

— Напечатаны, да без имени.

— Позвольте мне взглянуть.

— Кажется, уж нет... последние три экземпляра взяли...

— Как последние, да вот... — И Василий Григорьевич сам протянул руку и достал с полки желтенькую книжеч-

ку с заглавием: «Стихотворения И. О.» — Да это гадкие стихотворения Ольского!..

— Право не знаю... я купил их у *носящего* за стихотворения Ордынина... Скажите, как меня обманули!..

— Это прекрасно! — вскричал Василий Григорьевич, помирая со смеху. — Ах, это бесподобно! еду наслаждаться! — И он помчался по Москве наслаждаться восторгами публики от стихотворений Ольского.

Как нарочно, в первом доме, куда попал Василий Григорьевич, *вся семья* сидела вокруг стола и слушала, как один *monsieur*, прославивший себя искусством читать стихи, что-то декламировал.

— Тс! садитесь! — сказал хозяин к Василию Григорьевичу, указывая ему на стул.

— Что это такое? — спросил он.

— Ода к Наполеону, нового поэта, — сказал ему хозяин, — слушайте!

Герой убивственный, Наполеон,
Не могший жить на свете без сражений!
Но где ж теперь он!
Под камнем сим лежит на острове Елене!

Василий Григорьевич едва удержался от смеха. Закрыв рот платком, он на цыпочках выбрался из гостиной, не отвечая на тихий вопрос хозяина: куда вы? — и, как говорится, весь обратился в смех, выбежав на крыльцо и вскочив в свой фэзтон.

VI

Между тем наш юный поэт, прибывший из уезда, чтоб произвести своим гением суматоху в столице, не довольствовался простой комнатой в неизвестной гостинице, переехал в «Лондон» и занял лучший, роскошно меблированный номер. Это тем более считал он необходимым, что ожидал визитов князя Синегорского и Аполлона Ивановича, которые сказали, что лично будут благодарить за доставленное удовольствие.

В самом деле, старик князь, уважая кроме породы и личные достоинства людей, посетил его и во втором часу застал поэта в креслах-розвальнях в новом халате, с сигаркой в зубах и с чашкой кофе в руках. Можно было подумать, что это не тот уже юноша, который приехал в

дилижансе с одной восторженностью в душе; пет, в несколько дней он и вырос, и переменялся в лице, и как-то стал важен, похож на неженку-барича, которому и депьги, и время нипочем и который живет единственно для того, чтоб своим присутствием на земном шаре делать честь человечеству.

Понимая себя высоко вследствие приема, сделанного ему Москвою, поэт начал было свысока разговор о перемене погоды, но князь, сохраняя собственное достоинство, сказал:

— Да, погода сыра... Вы занимаете очень хороший номер... — и оставил поэта в сладостном довольствии, что его посетил князь. Разумеется, надо было высказать поскорее отцу и матери все, что обольстило самолюбие поэта, и он, положив перед собою почтовую бумагу, развернул письмо отца, которое не успел еще прочесть вполне.

Пробежав снова начало письма, он схватился за перо.

«Любезные родители, извините меня, что до сих пор не отвечал на письмо ваше. Совершенно не имел времени: все эти дни был на званных обедах и вечерах у разной московской знати. Только что примусь поутру писать, вдруг кто-нибудь придет ко мне с визитом. Сейчас только вышел от меня князь Синегорский, один из вельмож московских, и благодарил меня, что я сделал ему честь своим посещением и читал свои стихи. Надо было видеть, как принимают меня везде и превозносят до небес... Вы пишете, чтоб...»

Тут поэт приостановился, чтоб прочесть окончание отцовского письма. Читает — и вдруг весь переменяется в лице, руки затряслись. Конец письма нисколько не был согласен с конвертом, в котором на имя любезного сына высылались тысяча рублей: отец писал, что в настоящее время он не в силах выслать ему более пятисот рублей; что же касается до других пятисот, *при сем посылаемых* от Дмитрия Потаповича и Федора Евсеевича, то выслать им они просят по первой же почте три полных экземпляра «Свода законов» с продолжениями...

Письмо выпало из рук поэта, и он, схватив себя за волосы, застонал от отчаяния. Потом торопливо развернул бумажник — в нем оставалось от тысячи только триста пятьдесят рублей! И снова обеими руками вцепился в кудри.

Вдруг слышит, кто-то приотворил двери и тихо спросил:

— Позвольте узнать...
— Кто тут? — вскричал поэт с испугом.
— Извините, вы господин сочинитель?
— Сочинитель? какой сочинитель?
— То есть... стихи...
— Стихи? а! стихи... Я сочинитель.
— Василий Григорьевич говорил мне, что у вас есть рукопись.

— Рукопись?
— То есть сочинений... я бы...
— Сочинений?... что ж... а вы кто такой?
— Книгопродавец... я мог бы, то есть, приобрести оригинал для напечатания.

— Каким же образом приобрести?
— За наличные деньги-с.
— А? хорошо, купите, я продам... что дадите?
— Позвольте взглянуть, стихотворения ли это просто или повесть в стихах?

— О нет, это эпизод.
— Эпизод? то есть что ж это такое-с? вроде драмы?
— Нет, это эпизод большой поэмы.
— А! то есть одна глава; так, как «Евгений Онегин» издавался главами.

— Ах нет, это эпизод, целая поэма, вот как эпизод Ламартина.

Поэт достал довольно толстую тетрадь, довольно печетко навараксанную.

— Еще не переписано.

Книгопродавец развернул и прочел несколько стихов, на выдержку.

На бреге моря, над стремниной,
Задумчиво склонясь, сидел
И думу думал и глядел,
Как месяц светит над пучиной.
Печально бледная луна
Меж тем текла по горизонту,
И сыпались лучи по Понту,
Проникнув в глубину до дна...

— Позвольте узнать, то есть, как цена?

— Тысячу рублей.

— Заглавие несоответственно; если б перемешать...
Заглавие много значит-с.

- Как несоответственно?
- То есть не поймут... Эпизод!.. Бог знает что это такое... то есть лучше бы назвать: повесть в стихах.
- Повесть в стихах... хм! Это так обыкновенно.
- Ах нет, уж поверьте, что это будет очень хорошо.
- Пожалуй.
- Так сотенку рубликов.
- Как?
- То есть за оригинал, потому что надо еще переписать, в цензуру отдать, да печать будет стоить рублей тысячу; так за оригинал и нельзя больше.
- Как можно? я лучше сожгу!
- Как угодно-с.
- Меньше тысячи я ни за что не отдам.
- Таких цен нет... Это романическая цена; в романе четыре части, листов сорок печатных; а это повесть, листа в четыре, не больше... Сам Пушкин продал «Кавказского пленника» за двести рублей, извольте у кого угодно спросить.
- Что мне спрашивать!
- Так и быть уж, двести рублей, в вечное и потомственное владение.
- Как это можно!
- Как угодно.
- Ну, хорошо, я уступаю за пятьсот, и ни копейки меньше; только с тем, чтоб напечатать для меня двадцать пять экземпляров.
- Вот ведь это все составляет счет: для автора надо на веленовой бумаге, в красивой оберточке. Ну, да уж извольте.
- Иди, мое дитя! — воскликнул поэт, отдавая тетрадь в руки книгопродавца.
- Так вот-с, как раз двести,— сказал книгопродавец, вынув бумажник и отсчитав двести рублей разными старенькими бумажками.
- Как двести?
- Точно так, двести, это уж верно-с.
- Не двести, а пятьсот.
- Уж не извольте беспокоиться, честью уверяю, что это самая высокая цена. Не угодно ли подписать на оригинале: продал в вечное и потомственное владение книгопродавцу такому-то такой-то.
- Ну, я уступаю еще сто рублей.

— Нет, уж так, как сказано. Больше ста рублей будут стоить двадцать пять экземпляров.

Вздыхнул бедный продавец стихов, отдал свое дитя, плод поэтических вдохновений, за прозаическую сумму денег и еще был доволен, счастлив. Подбоченился, прошел горделиво по комнате и думал: двух недель достаточно, чтоб написать поэму или повесть в стихах... в месяц четыреста рублей... в год четыре тысячи восемьсот... почти пять тысяч!.. Это недурно!..

Рассчитав таким образом верные и постоянные свои доходы от сочинений, поэт положил в карман все свои деньги, счетом пятьсот пятьдесят рублей, и отправился покупать «Свод законов». Но, к несчастью, ему не удалось на этот раз исполнить комиссии. Проходя мимо Петровского театра, его остановил человек в ливрее — петух в гербе, пестрые балаболки на плече.

— Не угодно ли, барин, купить билетик?

— Какой билетик?

— В ложу, сударь.

«Ах,— подумал поэт,— я еще до сих пор не был ни разу в театре!..» Что стоит?

— Пятьдесят рублей.

— Как пятьдесят?

— А как же, сударь, ведь сегодня бенефисной балет играют, симфонию; тройная цена. А я еще уступаю: господа послали взять ложу, да не поедут; велели отдать назад, хоть с уступкой: билет-то стоит шестьдесят рублей. Вот и афишка притом.

Поэт взглянул на афишку. Соблазн ужасный: семь водевилей и еще дивертисмент! — вынул пятьдесят рублей — отдал.

— А за афишку-то, сударь.

— Еще и за афишку?

— А как же, сударь, за афишку-то следует мне за хлопоты да и за то, что угодил вам.

— Мелких, брат, нет.

— Да бог с ними, сударь, мелкие: были бы крупные. Вот у вас синенькая-то старая больно. Уж куда ни иди, а за ваше здоровье надо портерку выпить!

В мечтах о театре юный поэт забыл о «Своде законов» и, отдав за афишку пять рублей, зашел по дороге к Люке. Тут застал он Василия Григорьевича; разговорились

о драматическом искусстве и о том, что в России теперь нет ни истинного трагика, ни истинного комика.

От Люке поэт отправился по обыкновению к *Яру*, где встретил кстати и товарища своего. От *Яра* домой, из дому в театр.

Между прочим, играли новый водевиль. Публика вызвала нового сочинителя водевилей в изъявление удовольствия своего за один двусмысленный куплетик и щедро осыпала его хлопаньем и «браво! сочинителя!» Только что сочинитель на сцену — браво, браво! только что он за кулисы — сочинителя! сочинителя! выйдет снова — браво, браво! уйдет — сочинителя!

Эта интермедия: «*Вызов сочинителя*», в семи явлениях, была бы еще увеличена несколькими явлениями, если б, к счастью, публика не лишилась голоса. Вторая пьеса, также новая, была в миллион раз превосходней первой, но у публики не было уже сил изъявлять свое удовольствие: оно было истощено на первую.

— О, какое наслаждение, какая слава быть драматическим писателем! — вскричал поэт и, возвратясь домой, немедленно же принялся сочинять водевиль в трех действиях. В продолжение ночи, дня и еще ночи первое действие было готово. На сцену были выведены два любящих сердца и разбойник. В первом явлении один прекрасный молодой человек сидит в своей комнате и жалуется на судьбу, что он не в состоянии любить женщин. Вдруг слышит он звуки арфы, подбегает к окну и влюбляется. В восторге он обращается к публике и разделяет с ней свое удовольствие, что *неземная* на земле и сидит у окна через улицу. Второе явление, с переменою декораций, начинается тем, что действительно *неземная* сидит у окна, играет на арфе и поет *lamentabile*¹, упрекая также судьбу, что нет на свете такого сердца, которое поняло бы ее. Испустив глубокий вздох, она взглядывает в окно и восклицает: ах! Потом, обращаясь то к публике, то к окну, сознается торжественно, что необходимое для нее сердце найдено и что она влюблена навеки. Между тем заходит солнце, настает ночь, и *неземная*, не закрывая окна, чтоб дышать одним воздухом с возлюбленным своего сердца, ложится спать. Третье явление начинается тем, что ужасный разбойник, вооруженный с головы до ног, лезет в ок-

¹ жалостливо (итал.).

но; потом извлекает кинжал, подкрадывается к кровати, взглядывает на спящее существо и обращается к публике с вопросом: убить ее или любить? Публика молчит, и разбойник решается на последнее, с тем чтоб убить всех, кто осмелится не любить или быть любимым.

На этом остановился поэт и задумался: не лучше ли из этого водевиля, который он назвал было «Любовь в окно», сделать трагедию под заглавием «Любовь разбойника», с песнями, ариями, дуэтами, хорами и балетами? Решившись на последнее, он хотел уже продолжать, как вдруг приехал Василий Григорьевич и просил его ехать вместе на вечер в один дом, где страстно желают с ним познакомиться. Поэт хотел отказаться, но никак: Василий Григорьевич уговорил, увез его.

Все шло прекрасно. Поэта снова окружили, осыпали похвалами, ахали по-русски и по-французски, когда он читал стихи, и со вниманием слушали его суждения о литературе и литераторах старых и новых. Его беспокоил только один неотвязный старик: уставив на него глаза, он поколачивал по табакерке, пренесенно откашливался и предосадно подтверждал слова поэта. Поэт отворотился от него, а он снова перед ним; и наконец, когда толпа порассеялась и все оставили поэта в одиночестве, старик взял его под ручку и повел в другую комнату.

— Знаете, мой милый, — сказал он ему, — все эти господа, которые удивляются вам, не понимают нисколько главного, чему в вас должно удивляться. Они очень худо вас ценят, не в состоянии даже оценить вас...

— Помилуйте, много чести, — проговорил поэт, изъявляя свою благодарность модной раскачкой туловища, — вы слишком добры!

— Излишняя доброта, мой милый, не мешает; особенно когда нужно щадить молодость и глупость. Прекрасные стихи! я восхищен! Кажется, ведь вы пародию читали?

— Нет-с, — сказал поэт, усмехнувшись, — пародия значит...

— Знаю, знаю, что она значит; она значит: переделанные чужие стихи... теперь это в ходу, и много гениев вошло на этой опаре. Вот видите ли, в старину пародировали с иностранных языков, а теперь, в смелый век, пародируют с своего собственного. Из чужой богатой одежды, с большого роста можно легко выкроить модный

ффрачик на ваш рост; только, мой милый, надо так выкраивать, чтоб не было заметно старых швов.

— Я не понимаю-с, что это значит!

— А вот что, сядемте.

И старик насильно усадил поэта подле себя и, крепко держа его за руку, продолжал:

— Например, ваш «Кастальский ключ» выкроен из простого державинского ключа; да и Наполеон-то, кажется... стихи знакомые: Атлас новый, на рамена поднявший свет...

— Извините, может быть, эти стихи похожи; но все прочие — нисколько! — отвечал поэт, вспыхнув и потом побледнев.

— Я не говорю, чтоб совсем, — нет; в вас есть способность подбирать звучные, картинные слова, есть вкус и жарок, да это, мой милый, больше ничего, как одна еще только молодость: вы еще живете, действуете и даже пишете понаслышке и понаглядке. Вы еще ни о чем не думали, ни о чем не рассуждали, ничего не испытали; вам еще надо приобретать похвалы на школьной лавке, а не в свете; вам еще надо дозреть, у вас еще молочные глаза, и напрасно вы прикрываете их очками.

— Милостивый государь!.. — проговорил поэт, вспыхнув.

— Не горячись, мой милый, я тебе говорю просто, по-отцовски; за доброе слово сердится только глупость. Ты лучше послушай, что я тебе скажу. Все эти господа восхищены от твоих стихов; да ведь это восторги дудки: они надувают молодость твою, как теленка. В четырех стенах большого света не узнаешь, с которой стороны ветер дует. Дело вот в чем: для восхищений хозяина этого дома нужен был сегодня не ты, а вот этот человек с звездочкой на ффраке. Необходимо было, во-первых, окружить его обществом, во-вторых, приятно занять. Дать бал — некстати; просто званый вечер — нет причины; и, следовательно, ему нужна была приманка и, если можно, подешевле, потому что он скряга. На этот раз ни одного европейского машинального музыканта не случилось в Москве. Думал он уже взять тирольских певцов, как вдруг этот господин, член *своей семьи* гениев... (старик показал на Василия Григорьевича) избавил его от расхода нанимать забаву! Неизвестно, по какой причине его милость выводит тебя в гении, только он накричал чудеса по те-

бя; а наш Филат тому и рад. Вот, тебя привезли сюда как фокусника, а нас приманили на гения. Удивительно ли, что все в восторге от твоих творений? Сколько ни видишь ты здесь женщин и девушек, все они восхищались твоей молодостью и собственным твоим восторгом. Для всех этих молодцов стихи столь же интересны, как проповедь: они лорнировали дам, им некогда было слушать тебя. Восторги в большом свете не внушаются, а делаются. Первое *браво* сказал твой благодетель, хозяин повторил в голос, чтоб дать значение той забаве, которою он угощает свое общество; дамы произнесли ничего не значущее в свете *charmant!*, а все остальные, в *pendant!*¹ твоему иступленному чтению, загремели дешевыми восклицаниями: *браво!* чудо! верх совершенства! гений! И прекрасно: всем есть предмет для вступления в разговор, с кем нужно поговорить о вещах более интересных, нежели твои стихи. Смотри, вот хозяин подошел к своему интересному гостю, вслушайся, он хвалит тебя: прекрасно-с, очень хорошо! истинно чудо! — и сейчас же перейдет к гениям петербургским, потом к великолепному помещению министерств и, повторяя: прекрасно, очень хорошо, истинно чудо! — приблизится к департаментам, а наконец, к отделению, в котором обретается его дельце. Вот, мой милый, на каком подножии твоя слава. Но довольно с тебя на первый раз и для первого знакомства; я вижу, что ты утомился слушать меня.

Старик пожал руку юного поэта, который сидел ни жив ни мертв, встал и пошел на другой конец гостиной, где сидел хозяин подле своего значительного гостя.

— Что, Иван Иванович? — сказал он.

— Прекрасно! бесподобно! гений-с, истинно гений! — отвечал хозяин.

— Да, Иван Иванович, такую способность надо поддерживать, тем более что он, как я порасспросил, небогатый человек. Знаете ли что: предложим ему издать на свой счет его сочинения.

— Помилуйте, наше ли дело издавать книги! на то есть книгопродавцы.

— И, полноте, Иван Иванович! меценат отечественного просвещения может это сказать только в шутку. Право, я предложу ему от себя и от вас.

¹ унисон (франц.).

И старик встал с места, как будто намереваясь идти в самом деле с предложением к поэту.

— Нет, нет, нет! — вскричал Иван Иванович, догоняя старика. — На пустяки я не люблю бросать деньги! черт с ним! заботиться о дрянных стишонках! Это не мое дело: хорошо послушать для препровождения времени, похвалить молодого человека, но не больше.

— Жаль, что молодой поэт не слышал ваших слов, — сказал, вздохнув, старик, — они бросили бы его совсем в другой жар.

— Ей-ей, вы не имеете уважения к самому себе! Помилуйте, мальчишка набредит, а вы из себя выходите!

— Жаль! — повторил старик. А юный поэт между тем уже исчез.

VII

На шестой день после вечера, когда новый гений привел в восторг *свою семью*, явился наконец поэт-гений. Лицо его было мрачно, прическа небрежна, обращение сухо, разговор холоден. Все, как будто щадя его самолюбие, не упоминали о новом поэте. Это еще более раздражило его. Но холодность его раздражила и Елену. Оставшись с ним наедине, она не утерпела, чтоб не кольнуть его за невнимательное молчание.

— Ах, да! — сказала она, — я и забыла спросить вас, какого мнения вы о произведениях нового поэта?

— Какая непростительная забывчивость! — с досадою сказал вместо ответа Павел Александрович.

— Точно непростительная! — сказала колко Елена. — Мне надо было встретить вас этим вопросом.

— Да-с, именно, вскрикнуть: *ah, mon Dieu, comme c'est beau!*¹

— Да-с, именно, и прибавить еще: *ah, mon Dieu, comme il est beau!*²

— Желаю вам веселиться! — сказал Павел Александрович, вспыхнув и презрительно поклонясь.

— Желаю вам благополучного пути! — отвечала столь же презрительно Елена.

После этих слов нельзя было не отправиться в путь. Поэт-гений вскочил, бросил гневный взор, сказал пренебрежительно по-русски: кланяюсь вам! — и вышел.

¹ о боже, как это прекрасно! (франц.)

² о боже, как он прекрасен! (франц.)

«Кланяюсь вам!» преобидное выражение в подобном случае и в подобных отношениях. В большом свете оно то же значит, что в маленьком «черт с тобой!», если еще не хуже.

Елена совершенно не политически поступила против самой себя; но таков был ее характер: соглашаясь быть *сюжетом* поэта-гения, она не иначе думала, что поэт должен быть рабом своего сюжета, что он должен искать вдохновения не в самом себе, а в сюжете, что главное его во всем составляет сюжет, что его только должно обрабатывать, об нем только думать, и так думать, как требует того сюжет.

Подобная *самость* была причиною, что несколько уже гениев, убоясь ее, уклонились от *своей семьи* и говорили, что Елена очень умная девушка, но что в ней очень много *самости*; а злые городские этимологи говорили, что на языке своей семьи гений значит то же, что на людском языке жених.

— Невежда! — сказала Елена гневно, когда вышел Павел Александрович.

— А где же Павел Александрович? — спросила Деянира Диогеновна, входя в комнату.

— Вышел!..

— Куда?

— В отставку!..

— Что это значит?

— Я его уволила из гениев... Вздумал, что я должна поклоняться его гениальности!.. вздумал ревновать меня и говорить дерзости!

— Я предвидела, что он не партия тебе: во-первых, ничтожное состояние, а потом — просто глуп! похвали его — он и нос подымет. Скажи, пожалуйста, неужели он не замучил тебя своими стихами? Ему нужна не жена, а внимательная слушательница его сочинений, которая бы ахала от удивления. Вот Василий Григорьевич совсем другой человек: во-первых, богат, а во-вторых, независим ни от родственных отношений, ни от своего таланта. От любви к тебе он, я думаю, скоро позабудет писать по-русски. Надо, моя милая, решиться скорей; ты знаешь наши обстоятельства — зиму мы будем жить в деревне.

— Не самой же мне делать предложения!

— О, он бы давно сделал предложение, если б не видел предпочтения другому.

— Кажется, теперь некого мне предпочитать ему.

— Надо же сколько-нибудь польстить человеку особенным вниманием, чтоб ему легче было объявить свои желания.

Елена промолчала, но не прошло двух недель, Василий Григорьевич был произведен уже в действительные члены семьи. С этим вместе кончилась необходимость в гениях: даже о юном гении-поэте не было уже помину. А он между тем держал экзамен и не выдержал — первое горе; а хозяин гостиницы между тем требовал самой глупейшей в свете вещи, а именно денег, — второе горе; а отец между тем пишет: «Что ж, мой друг, ты медлишь выслать Дмитрию Потаповичу и Федору Евсеевичу «Свод законов»?» — третье горе. А товарищ Айголова, который мог бы во всяком горе подать добрый совет, пропал — вероятно, уехал в *отъезд*.

Что было делать? Хуже всех бед была неотвязчивая требовательность хозяина. Чтоб удовлетворить его, поэт продал с себя весь модный костюм — все мало! Да еще вздумал предохранять нашего юного должника от увеличения долга: не велел давать ему ни чаю, ни обеда.

Не предвидя этого, сначала поэт прикрикнул на ходившего за ним слугу: что ж обед?

— Не готов еще, сударь! — отвечал слуга, молодой малый с добрым сердцем, посовестившись сказать правду.

— Ну, покуда чего-нибудь закусить!

— Да и чего-нибудь нет, сударь.

— Тьфу! — произнес с досадой поэт и хотел было идти прогуляться на бульвар, но вспомнил, что на нем старый, провинциальный сертук, — совестно! Остался дома.

Стало уже смеркаться, голод истомил поэта, а слуга не является; пошел искать его по коридорам.

— Что ж, братец, обедать?

— А вот узнаю, сударь, — отвечал слуга и исчез.

Поэт возвратился в свой номер, залег в ожидании на диван, ждал, ждал и заснул. Сон не вознаградил его. Во сне снилось ему, что он в каком-то богатом доме, гостей тьма, стол накрыт, кушанье давно подано, а за стол и не думают садиться. Ходит поэт вокруг стола и вздыхает. Но вот наконец разносят и закуску. Человек с подносом обошел всех; поэт нетерпеливо ждет его к себе, подходит — вскричал гневно поэт, взглянув на пустые тарелки, которые человек поднес наконец к нему. Садятся за стол.

Подают суп; вот уж и соседу подали, уж сосед с аппетитом съел, а ему нет как нет; он посматривает на людей — никто не думает ему подавать. Разносят пирожки; оставалось на блюде только два — сосед последние взял и проглотил одним глотком. Поэт в отчаянии.

— Бездонная пучина! — проговорил он, дрожа от досады и смотря с жадностью на приближающуюся огромную стерлядь. Но вот стерлядь все меньше и меньше — остался только хвостик, и тот проклятый сосед свалил на свою тарелку. Блюдо за блюдом; все уже кричат от сытости, а поэта изморил голод: то обнесут, то не донесут, то кушанья не достанет.

С горя хотел поэт съесть хоть кусок хлеба — и хлеба нет.

— Человек, подай мне хлеба! — спросил он. Человек принес хлеба; только что поэт протянул руку, вдруг все встают, человек отскочил с хлебом, стулья загремели. А поэт проснулся бледный, истомленный от голода, во рту пересохло. Вот, думает, принесут по обыкновению чаю — никто не несет. Склонив голову на стол и сжав ее руками, юный поэт был в каком-то бесчувствии.

— Как же, сударь, надо бы нам порассчитаться.

Поэт приподнял голову, а слезы струятся из глаз.

— На! рассчитывайся! — вскричал он, вскочив с места. — Вот тебе!

И он схватил свой чемодан, швырнул к ногам хозяина, снял халат, бросил его туда же.

— На! мало? возьми рубашку... мало? сдери кожу, возьми себе на подметки!

— Ах, барин, барин! Что ж мне с вами делать!.. Так и быть, потерплю недельку, покуда, как вы изволите говорить, вышлет батюшка ваш денег. Только уж сделайте милость, извольте перебраться в другой номер, а этот у меня нанимают помесечно. Я пришлю перенести вещи.

Хозяин вышел. Явился слуга, понес вещи в другой номер. Поэт молча следовал за своими вещами в грязную, темную комнатку. Положив чемодан, слуга вышел, а поэт осмотрелся вокруг.

— Славно! — вскричал он, улыбаясь сквозь слезы. — Это тюрьма, а я должник, которого голодом выпуждают платить долги! а это одр голодной смерти!.. Бесподобно! я буду мечтать, что я ем амброзию и пью нектар!.. это божественная пища!

И он повалился на деревянный диван, вроде нар, закрыл глаза и лежит. В обеденное время вошел слуга с миской и прибором.

— Вам, чай, кушать, сударь, хочется? — сказал он.

— Что это?

— Суп, сударь.

— Попробуем!.. так ли он хорош, как амброзия богов! — и поэт, присев к столу, начал есть суп.

— Такой недобрый человек, сударь, наш хозяин, — начал слуга, — говорю ему, что вам кушать пора, а он: пускай себе ходит обедать к знакомым.

— Хорошо, так я к нему буду ходить обедать, потому что он мне знакомее всех.

— Он даром и закусить не даст.

— Так он урод!

— Да такой урод, что ни на что не сжалится. Вот мне, бедному человеку, стало жаль вас, от своей порции уделил.

— Буду богат, горстью золота заплачу тебе за эту порцию.

— Нет, уж зачем, сударь, это; а я вот что вас попрошу: вы умеете писать, поучите меня; а я буду вам носить кушать...

— Браво! жажда к просвещению! Изволь!

— Вот уж как дорога будет милость ваша! — сказал радостно слуга. — Позвольте ж, я сейчас принесу жаркого и пирожного.

И он побежал к *обеденному столу*: высматривает, у кого из обедающих посетителей ресторации осталось больше жаркого на тарелке. Переменил тарелки у двух, свалил остатки жаркого в одну и — к поэту. Таким же образом составил он и порцию желе.

На другой день начались уроки, и ученик исправно исполнял *кондицию*, носил к своему учителю совокупленные остатки порций чая, завтрака, обеда и ужина. А между тем поэт торопился дописывать драму.

— Ты, дитя мое, накормишь меня алчущего, утолишь жаждущего, оденешь голого и дашь кров бесприютному! — вскричал он, кончив драму и сбираясь к книгопродавцу.

— Что моя поэма?

— Напечатана, — отвечал угрюмо книгопродавец.

— Вот, у меня готова драма... не хотите ли?

— Нет, не хочу-с,

— Я довольно дешево отдам.

— И даром не пужна.

Сердце поэта облилось кровию.

— Так дайте следующие мне экземпляры поэмы, — сказал он смущенным голосом.

— Да вот возьмите хоть всю тысячу экземпляров... занимают только место!

Молча поэт взял экземпляр своей поэмы и возвратился в свой тюремный помер.

Счастье бредни, слава дым! —

повторял он, сидя над листом бумаги с пером в руках, когда пришел к нему его ученик.

— Ты для чего хочешь учиться писать? — спросил он его.

— Как для чего-с? Вот мой один приятель служит официантом в клубе; как напишет, что в голову придет, у него книгопродавец и купит за синенькую да и напечатает-с; а это ведь немаловажный доход. Написал-с он историю про медведя и бабу — чудная вещь-с!.. а я знаю не хуже его историю про одного медведя — знагно напишу, как выучусь писать!

— Так и ты хочешь быть русским писателем? — вскричал поэт.

— Да не худо бы-с. Вот приятеля моего все знают, и в «Библиотеке» об нем пишут; к месту ли наняться или что — все уж человек известный.

«Так вот что значит пословица: «Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом», — подумал поэт. — Верно, плох тот и писарь, который не надеется быть писателем!» — Плохо быть там, где всякий... — начал было поэт, но вдруг кто-то постучался в двери.

Ученик поэта схватил свои бумаги, отпер двери и вышел.

— Здесь Ордынин? — раздался голос Айголовой. И он вбежал в комнату модным щеголем.

— Здравствуй!

— Куда ты пропадал? — вскричал обрадованный поэт.

— Тьма, братец, дела! занят пятнадцать часов в неделю: приготовление к урокам, то, се, другое, прочее, сие и это, так что минуты нет свободной!

— Где ж ты жил?

— Живу с одним товарищем, поближе к главной моей

кондиции... Верно, у тебя опять денег нема? Послушай, хочешь принять на себя *кондицию*, четыре часа в неделю, по пяти рублей... учить двух ребятишек русской грамоте.

— Как не хотеть!

— Так одевайся скорее, *en toilette*¹... надень фрак.

— Да у меня, братец, фрака нет, я все продал...

— Эх, какой ты! продавать нужное платье!

— Что же делать! и того не достало: хозяин требует денег. Да еще вздумал морить меня голодом!..

— Морить голодом! а ты и умирал!

— Лежал на одре смерти: есть не дает, а куда пойдешь в халате!.. И умер бы, если б не кормил меня Христа ради Петрушка за то, что я его готовлю в русские писатели.

— И ты позволил с собой это делать! да ты по сю пору похож на мореного!.. Ах он собака!

— Двое суток совсем ничего не ел.

— Ах он мошенник!.. переезжай ко мне!

— Он меня не выпустит, покуда не отдам денег. Да еще хочет в полицию объявить. А где мне взять теперь полтораста рублей!

— Ах он плут!.. постой же, я ему дам! Ложись в постель!

— Это зачем?

— Ложись, говорю!.. надо тебя выручить отсюда... Вытаращи глаза и лежи, а я пойду за хозяином. Да ложись же, братец, если не хочешь нажить себе беды!

И с этими словами Айголова выбежал вон, отыскал содержателя гостиницы.

— Пожалуйте сюда! — сказал он таинственно, встревоженным голосом.

— Что такое? — спросил содержатель.

— Что такое!.. а вот увидите, что вы сами наделали!

— Да позвольте спросить, что вам угодно от меня?..

— Поздно спрашивать, когда ему нужен священник.

— Господи, что такое! — повторил испуганный содержатель, следуя за Айголовой. И он вошел в номер, где поэт лежал растянувшись на кровати и завел глаза.

— Что с ним сделалось? — спросил содержатель.

— А вот что, видите, почтенный! вы уморили молодого неопытного человека с голода!.. вы не хотели подождать несколько дней, покуда он получит деньги; принуди-

¹ как полагается (*франц.*).

ли его продать все вещи, даже носильное платье. Мало! ты хотел голодом заставить его платить деньги... живодер! К счастью, я приехал, и он успел мне все пересказать... Он требует священника... я еду в полицию!.. ты убил человека!.. Сейчас же еду!

— Батюшка, возьмите, что хотите, только не доводите до начальства! — вскричал содержатель, схватив Айголова за руку. — Ей-ей, не виноват! верно, каналы служители не носили кушать им... Батюшка, что вам угодно, я все велю подать, — продолжал содержатель, подбежав к поэту, который заводил глазами.

— Поздно теперь, он уж без чувств! — вскричал Айголова.

— Не погубите! — вскричал содержатель, бросаясь снова к Айголове.

— Что ж мне делать! Он мой товарищ, я не снесу этого!

— Не погубите!

— Ну, поскорей карету, я его перевезу к себе; может быть, еще успею помочь ему... Скорей, скорей!

— Что хотите, только не доводите до начальства! — И содержатель выбежал, велел подавать одну из карет, которые держал для извоза богатых постояльцев, выдавая за извозчищи, и брал втридорога.

— Готова карета, — сказал он тихо Айголове, возвращаясь. — Батюшка!..

— Это что?

— На леченье...

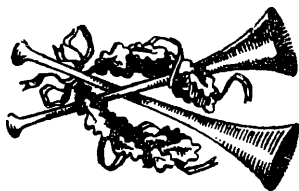
— Я дам тебе на леченье! Если я делаю тебе милость, так не за деньги, любезный, а из одного человечества!

— За милость вашу я не знаю чем и заплатить!

— Заплатить! все заплатить... наличной монетой!.. мешок! учись быть человеком: кто в нужде, не притесняй того; вот и заплата. Ну, призови людей перенести больно-го в карету.

Содержатель привел людей, сам Айголова взял под руки слабого поэта, и его перевели в карету. Вещи уложили, карета покатила по назначению Айголовой. Содержатель перекрестился, что сбыл беду с плеч.

Это было только вчера. Не знаем, что будет с поэтом далее. Известно только, что Москва, занявшись приехавшим из труппы европейским гением музыки, успела уже забыть о гении поэзии.



В 18.. году, рано утром, ехал я верхом из загородных кишиневских садов, называемых Малиною, в город. Проезжая мимо корчмы, у въезда, против торговой площади, я заметил привязанных к столбам навеса нескольких верховых лошадей, в турецкой сбруе. Смуглый, суровой наружности человек стоял, облокотясь на одну из них; он был в простой арнаутской одежде, в манти, обшитой в узор шнурками, и в молдаванской кушме, или высокой перегнутой на бок шапке из черных мерлушек; другая рука лежала на пистолете, который торчал за поясом. Приостановясь взглянуть на статных коней и палюбовавшись на них, я спросил у него по-молдавански, не продаст ли мне одного жеребца.

— Не годятся тебе, — ответил он равнодушно, окинув меня дикими взорами.

— Отчего же не годятся?

Отвернувшись от меня, он как будто не слышал моего вопроса.

Я понял, что от него не добиться более ни слова, и поехал своей дорогой.

Едва я поравнялся с областным почтовым двором, который был саженьей на сто от корчмы, как вдруг из ворот выбежал молдаван, а вслед за ним почтмейстер, отставной полковник, старый гусар, и вся его команда почтальонов, вооруженных кортиками. Все они бросились к корчме, на которую указывал молдаван и кричал: «Талгарь! талгарь!»¹

¹ Разбойники (здесь и далее в рассказе, кроме особо оговоренных случаев, подстрочные примечания принадлежат автору).

«Хайд!» — раздалось у корчмы, и по этому слову вскочило несколько человек, с ружьями за плечами, с ятаганами и пистолетами за поясом. Торопливо отвязали они лошадей, и между тем как на крики молдавана бросился с площади и народ, они вскочили на седла, оглянувшись, и вместо того, чтобы скакать за город, как птицы выпорхнули из окружавшей уже их толпы почтальонов и народа и понеслись вдоль по улице, прямо в город. Все бросились вслед за ними с криком: «Талгарь!»

Вскоре перед отчаянными всадниками вся улица залилась народом; отважные загородили им дорогу, надеясь криком и шапками испугать лошадей; но разбойники, бесстрашно, как скованные друг с другом, мчались сквозь толпы, поражая вправо и влево выстрелами из пистолетов и саблями всех, кто набегал на них и дерзко протягивал руку к узде.

Жандармская команда, на диких конях, также шла в погоню.

Проскакав большую часть улицы и видя, что перед ними толпы народа становятся гуще и гуще, они быстро своротили вправо в переулок, на грязную жидовскую улицу. У народа израильского в этот день был праздник «Труб». Жида, накинув на голову саваны и прикрепив ко лбу хранилище заповедей, углубленные в молитву, пробирались в синагогу; а жиденята, в воспоминание воинства Израилева, расхаживали толпами, вооруженные деревянными мечами и стрелами. Втоптав в грязь нескольких защитников Иерусалима от нашествия Навуходоносора, всадники мчались быстро вперед, преследуемые народом криком: «Талгарь!» — и воплями раздавленных.

В конце улицы показался навстречу им взвод солдат с гауптвахты.

Разбойники своротили к Булгарии¹; булгары, вызванные из домов необыкновенным криком, вооружились дубинами, бросились на них и принудили свернуть в переулок, который вел к огородам на долине реки Бык.

Прискакав к плетню, наездники не задумались перелететь через него; только один из них вдруг приостановился подле отдельной хаты, на возвышении, соскочил с коня, оттолкнул его от себя, выхватил пистолеты из-за пояса, ударил их об землю и сел на скате, спокойно, как будто

¹ Название улицы

в намерении отдохнуть; по лицо его, даже издали, было страшно, и глаза сверкали. Народ обступил его с ужасным криком; а между прочим болгары не отставали от прочих его товарищей, которые переносились отчаянными скачками через плетни; но бесконечные загороды и рыхлая земля гряд утомили наконец коней их; через несколько минут лихие копи и отчаянные всадники были уже в руках болгар. Преследуемые толпами любопытных, они повели разбойников в полицию.

На другой день узнал я, что это была шайка известного Урсула, ужаса Орхеевских лесов.

Любопытствуя видеть Урсула, я отправился в тюремный замок, где содержался он в особенном отделении, в тяжких оковах. Взглянув на него, я удивился прекрасной, мужественной наружности; суровость лица его смягчалась спокойными взорами, которые как будто вместе с мыслями его погружены были в пучину памяти о прошедшем. Он был еще молод, но седина клочками проглядывала на черных его волосах.

Зная хорошо молдаванский язык, я с участием сказал:

— Жаль молодца!

— Нечего жалеть, — отвечал он равнодушно. — Каковы дела, таковы и лавры.

Ответ его поразил меня.

— Лавры злодейские, — сказал я.

— Злодейские!.. — повторил он, встряхнув на себе оковы и бросив на меня дикий взгляд. — Кого укусит бешеная собака, тот сам взбесится, будет искать утolenия от палящего огня и бегать от воды.

Какая-то образованность понятий, заметная в ответах Урсула, увлекла мое любопытство; я видел, что это не просто бесчувственный злодей, рожденный зверем, и решился расспросить, что было причиною отчаяния, которое сделало его разбойником. Я имел случай быть при допросах этого человека и успел удовлетворить свое любопытство.

— Как твое имя? — спросили его.

— Вы знаете, — отвечал он.

— Запишите: Урсул, — сказал допрашивающий.

— Откуда родом?

— Если я Урсул¹, то нечего и спрашивать — из берлоги.

¹ Урсул значит медведь.

— Прикажете записать?— спросил писарь.

— Все это пустые речи,— сказал Урсул.— Поймав зверя, сдерите кожу — и кончено!

После этих слов он упорно молчал и смотрел на допрашивающих как человек, который не слышит, что ему говорят. Его вывели в другую комнату; и, между тем как допрашивали его товарищей, я имел возможность говорить с ним.

— Ты имеешь родных?— спросил я у него.

— Да; я не безродный.

— Какое-нибудь несчастье принудило тебя оставить семью?

— Да, оставил,— отвечал он.

— Любопытно мне знать твою жизнь.

— Зачем тебе знать? Знает про то бог. В его великой книге все записано... Сам я записал в нее и мое имя, и дела, и помышления, без допроса, без грозы и истязания... Придет время, Он скажет только: «На, читай — судись и казись!..» Для меня пришло это время; и день, и ночь, и наяву, и во сне, все читаю я про себя и, со скрежетом зубов, подкладываю под себя огонь, вымещаю на душе и теле все дела воли моей. Сушу в костях мозг, кипячу кровь, вытягиваю жилы... О, зол человек! Он сам себе мститель!

— Я вижу, Урсул, ты не из черни; и тем удивительнее, что ты даже в отчаянии избрал такой путь.

— Может быть, я учился кой-чему и знал кое-что; да не знал, что только бог тушит пожар в недрах.

— С чего же начались твои несчастья?— спросил я у него с участием.

«Как и все начинается — просто, из ничего. Отец сказал мне: «Пора тебе жениться, сын; ищи добрую жену», да не сказал: «Не женись на младшей сестре мимо старшей»... Я нашел себе невесту и по сердцу, и по душе; звали ее Иляной. Хороша ли она была, не умею тебе рассказать. Глупая память не в силах ее и представить себе — а часто хочется, чтоб память нарисовала ее передо мной, чтоб своим образом заслонила она от меня все!.. Глаза похожи: взор так и обнимает меня с любовью, а рот искривлен! Похожа улыбка: схвачена та минута, когда она шепотом рассказывала мне чувства свои и благовонно дышала на меня... а вокруг этого рта что-то безобразное! О, если б она вся вылилась похожею!.. Да нет, Мне бы страш-

по было видеть лик ее в тюрьме, посреди преступников!.. Избави бог! Я сказал бы ей: «Ступай на небо, ступай, моя заря! Не роняй слезы на нечистую землю!..» Знаешь, как хорошо, когда подружится душа с душою! Не прошло нескольких дней... и мы с Иляпой знали уже, что нам друг без друга не жптье. Я сказал Иляне, что хочу жениться на ней. «Как же тебе па мне жениться? А сестра?» — «Что сестра?» — «Она старшая, она не уступит мне тебя». — «Э, полно, Иляна, говорить про старые, глупые обычаи!» — «Не уступит!» — сказала Иляна, вздохнув, и слезы покапались у ней потоком из глаз. «Не ее воля, а отцовская!» — сказал я и пошел к отцу Иляны.

«*Кукон*¹ Петраки, примешь ли меня в свои зятя?» — «Рад,— отвечал он:— у невесты и приданое готово; Роксандра у меня добрая девка». — «Не Роксандру прошу я у тебя, а Иляну». — «Как можно! В своем ли ты уме? Роксандра старшая: ей черед выходить замуж; а тебе все равно жена: любить будет тебя и Роксандра, потому что ты молодец, каких редко встретишь». — «Нет, *кукон* Петраки,— сказал я,— если хочешь быть мне отцом, то отдай за меня Иляну! Мы друг друга любим и не будем жить один без другого». — «Как же я обижу Роксандру? Да и обычай у нас таков: старшей вперед, младшей позади. За что ж гнущаться тебе Роксандрой: они у меня обе равны». — «Полно, *кукон* Петраки, говорить против сердца,— сказал я ему. — Если б ты родил двух дочерей, которые различались бы только именами, тогда бы для меня все равно было называть жену Иляной или Роксандрой; но ты сам сравни их, а потом и вини людей за то, что они одну называют ангелом, а другую чертом. Вольно тебе не отдать красоту в монастырь, чтоб выдать уroda замуж...» Старик задумался. «Нет,— сказал он,— я люблю Иляну и ни за что не отдам ее в монастырь, хоть жена и добивается этого. Иляна моя дочь, а Роксандра бог знает в кого уродилась! Возьми Иляну,— продолжал добрый старик со слезами,— ты также мне по сердцу — она с тобою будет счастлива». Я сказал с своим желанием матери: она и слышать не хотела; да это было уж поздно: отец благословил нас, мать волей-неволей должна была согласиться. Когда получил я право назвать Иляну своею, душа, как чаша, вдруг наполнилась сладким чувством, и мне достало бы его на всю жизнь, если

¹ Господин.

б проклятое создание не отравило всё черною желчью своей... На другой же день Ильяна прижалась к груди моей со слезами. «Сестра грозит мне,— сказала она,— боюсь ее!» — «Чего ж ты боишься ее: она не съест тебя». — «Съест!» — отвечала Ильяна. — Посмотри, каким зверем смотрит она. Ты,— говорит,— отняла у меня жепуха, я тебе не подарю его». Я шутил над боязнью Иляпы; да, верно, страх ее был подарком. Через несколько дней заметил я, что румянец Иляны погас, будто смысл кто и загасил яркий свет в очах ее. «Что с тобой, сердце мое? — спросил я. — Ты вся похолодела». — «Нет, во мне все горит», — отвечала Ильяна. Прошел день, два; вижу я — тает Иляна!.. Настал назначенный день свадьбы... она закатывается на груди моей, как солнце, а вокруг меня все меркнет.

— Прощай! — сказала она наконец. — Прими душу мою.

— Ильяна! — вскричал я, да поздно: нет ответа, холодна! — Где ж Ильяна!.. Где?.. Это не она! — вскричал я снова и бросился бежать, сам не зная куда. И бродил я полумным в горах, звал ее; ночью садился на утес и отпевал бедную мою Иляну — так отпевал, что волки сходились толпами и были вокруг меня.

Жажда томила мне душу; да я не искал источника — я обламывал ветви с горькой осины и глодал их. Наконец пришла мне на мысль Роксандра, и я захохотал... Что ж я буду здесь, в глуши, делать?.. Не век тосковать!.. Роксандра из любви ко мне уморила Иляну... Пойду, женюсь на Роксандре, буду любить ее!.. И пошел. Иляны уж и следа не было в доме. «Роксандра, ты меня любишь? — сказал я ей. — Что ж молчишь? Говори, Роксандра, правду!» Я думал, что у ней желчь выступит на лице, а она покраснела, потушила глаза, как дитя. — «Говори же, Роксандра, любишь ли ты меня? Я женюсь на тебе». — «Ты любишь сестру», — отвечала змея. «Люблю сестру? Глупая! не мертвую же мне ее любить! Не ждать же мне ее воскресенья! Отец и мать сами сказали, чтоб я женился на старшей, на тебе, Роксандра. Сама ты упрекала Иляну, что она отняла у тебя жениха. Отняла!.. Где ей отнять! Она проста была на такие замыслы... Ты — дело другое! Другую Роксандру не скоро встретишь... За то я люблю тебя... Чего ж ждать? У меня горит сердце, приложи руку!..» Змея! Я думал, что она ужалит меня, когда я взял ее за руку, а она на меня нежно взглянула! «О, рай мой! пойдем

же к отцу и матери!» Пришли. «Благословите нас», — сказал я. «Видишь ли, — сказала мать, — сам бог не допустил, чтоб Ильяна отняла жениха у старшей сестры. Не Ильяне, верно, готовилось приданое...» Отец заплакал.

К свадьбе все было готово; на другой же день нас обвенчали. Тяжко было мне только стоять во храме божьем, да еще... тяжело было выносить людские взоры! Мне казалось, что все смотрели на меня, как на усопшего, и желали царства небесного.

— Ну, Роксандра, ты моя! — сказал я ей, когда мы остались одни. — Ты моя, *мититика*¹, душа, радость моя!.. Знаешь ли ты, сколько во мне огня?.. Посмотрим, серебряный источник мой, утолишь ли ты мою жажду! О, я высоко поцелую душу из тела!.. Что, крепки ли мои объятья? а? Роксандра, что ж ты? Целуй, называй, величай своим!.. Что ж усмирела ты? Что ж ты уснула, как рыба на берегу?.. Что ж ты, как мокрая птица, опустила крылья?.. Отчего ж посинела, как свинец, и только однажды вздохнула? А, проклятая! верно, чужое сердце придавило тебя, чужая любовь убила громом!.. Что ж молчишь? Здесь не могила, я не гробовой твой камень — не холоден! Злодейка! скажи, сладко ли отместил я за смерть Иляны?.. Змея! Что не отвечаешь? Прощай же, лед!.. Прощайте! — сказал я отцу и матери. — Возьмите свою Роксандру; я такой жены не хочу! — И ушел.

Ух, какая гроза во мне бушевала! Громы перекатывались в черепе, кровь ходила валами по жилам, била в сердце — а сердце, как скала!.. Хлынули бы слезы, легче б было, но только молния жгла внутренность, в очах переливалось кровавое зарево, под ногами все рушилось; вихрь крутил меня, я хватался за воздух...

И очутился я в лесу, в глухой лощине, в толпе вооруженных людей. Один схватил меня за ворот; я швырнул его от себя, и он покатился под гору.

— Ха! Урсуле, медведь! — крикнула вся толпа; некоторые прицелились уже на меня ружьями.

— Стой! — вскричал вдруг один из них. — Эту голову недаром носят плечи. Смотрите, что за красота! что за зверская, славная красота! Да это *арамбаша*² всем войникам, да это жених всем кукуницам³!

¹ малютка (молдав.) (прим. составителя).

² арамбаша — то же, что атаман, пачальник, предводитель.

³ барышня.

— Будь по твоему, Иорги, — отвечали все. — *Схиэ сена-тос!* будь здоров! — продолжал он, поднимая половок¹ с земли, и, испив, подал мне. — *Пуфтим*², Урсуле.

Жажда жгла меня, и я схватил половок, стал пить.

Чем больше пил я, тем более утихала во мне буря, и казалось, тяжесть спадает с плеч, и на душе становится легко... и казалось, будто все предметы понесли прочь от меня, и все опустело вокруг, опустела и память.

Много времени прошло, покуда я очнулся; много бед наделал я людям во время отвержения от всех чувств человеческих... Не хочу считать это время жизнью — пусть будет это сон!.. Послушай, отвечает ли человек за то, что делает он во сне?»

— Во сне? Кажется, нет; сон не оставляет ни на чем следов своих.

«А я думаю, что отвечает, потому что сон есть прошедшая жизнь наша, только перепутанная воображением... Я очнулся. Как хочешь понимай это слово. Я очнулся посреди богатого дивана, прислонясь на чью-то горячую грудь, и чья-то голова лежала на моей голове и дышала на меня как будто огнем, а на груди был золотой крест... «Господи, — подумал я, — помяни мя, егда приидеши во царствие твое!..» — и на глазах моих выступили слезы, а на душе было горько... Когда взор очистился от слез, я взглянул, где я и кто подле меня?.. «Ильяна!» — хотел я вскричать; да нет, это не Ильяна, это не она спит спокойно; это и не злая Роксандра... «Не обижай, не обманывай ее!» — проговорило в первый раз во мне чувство. Я поцеловал крест на спящей, и стало мне легче. Я вышел из комнаты; в передней сидели два арнаута; один пошел вслед за мною на крыльцо.

— Что, *домнуле*³, — сказал он мне, — нам здесь нечего делать. У бояра и в голове и в мешке пусто.

Это был тот самый арнаут Иорги, который, в глухой лощине, не дал меня убить своим товарищам и утолил мою жажду.

— Наши соскучились, — продолжал он. — Ужель понравилась куконица Аника? Лучше поедем, *домну* Урсуле.

¹ бочонок (молдав.) (прим. составителя).

² Пуфтим, или повтим — покорно просим; но слово в слово: имей желание, повта имай.

³ домне-луй — его господство.

Черт с ней! А что за скупая кукона¹ Катинька! Ока вина в день не даст, а кормят, как цыган, мякиной!.. Не житье здесь!.. Что, коня или трубку, *домнуле?*..

Я совершенно не понимал, что говорил он; душа во мне бушевала. «Давай коня!» — вскричал я, осматриваясь кругом и желая припомнить, каким образом очутился я в незнакомом месте. В это время вышел на крыльцо какой-то толстый бояр с заспанными глазами, отдуваясь и обтирая лицо платком. «Фу, как из кипятка! — сказал он. — А! *Домну Иоане!*.. Э! э! *мой!*² *кафэ ши*³ *люле!*⁴ — И он, бросив с ног папуши, расположился на широкой лавке крыльца, на которой разостлан был лохматый ковер. — *Чигында?*⁵ — спросил он меня, подкладывая под бок подушку и перебирая четки. «*Ниник!*» — отвечал я, смотря на эту кожаную бочку. «Как ничего? Нельзя ничего не думать, — продолжал он, принимая из рук арнаута трубку и от босой цыганки кофе. — Вот я так всегда думаю; и теперь думаю, что надо к свадьбе выписать из Кишинева цыган, потому что у меня дома только кобза да скрипка. Пошлю *ватаву*⁶, *домну Иоане*, запиши-ка, купить: десять ок «Одубешти»⁷ да ящик *домнешти*⁸ *кочковалу* ок пять, да литры две сахару, — запиши!» — «Не умею я писать», — отвечал я толстому бояру. «Как, *домне Иоане*, не умеешь писать?» — «Так, не умею». — «Каким же образом ты *логофет ди Вистиария?*⁹» Я усмехнулся горько над простодушием бояра: арнаут Иорги жаловал меня везде высокими званиями и чинами. «*Гата!*¹⁰» — вскричал Иорги, подскакав верхом к крыльцу с другою, богато оседланною лошадейю.

Я встал и пошел с крыльца.

«Куда? — спросил бояр. — Гулять, *домну Иоане?*» — «*Драку шти!*¹¹» — «Ты что-то не в духе или поссорился с Аникой?..»

¹ хозяйка.

² Звук мой! — по-молдавански выражает: эй, ты!

³ кофе и (молдав.) (прим. составителя).

⁴ люле — трубка, люлька.

⁵ Что думаешь, что гадаешь?

⁶ приказчик.

⁷ Одубештского вина.

⁸ домнештских яблоков.

⁹ логофет казначейства.

¹⁰ Готово!

¹¹ Черт знает!

Не отвечая на вопрос бояра, вскочил я на седло, подобрал поводья и...

— *Домну Иоане, домну Иоане!* — раздался женский голос с крыльца.

Я оглянулся; это была та девушка, подле которой я очнулся на диване. Пришпоренный турецкими стремянами, конь быстро вылетел со двора, и я, сопровождаемый арнаутом Иорги, пронесся по деревне, выехал на дорогу, которая извивалась между виноградными и фруктовыми садами в гору, и вскоре выехал на самую вершину. На оконечности хребта возвышалась Могура¹, увенчанная огромною могилой².

— За Могурой, на хугоре, наши люди, — сказал мне Иорги.

Я поскакал к Могуре и вскоре взлетел на коне на крутую могилу; передо мной открылась вся бесконечность волнистых хребтов. Со стороны запада тянулась туманная полоса реки Прута, а за ней гряды отраслей Карпата. Небо было ясно, и все было так мирно подо мной; казалось, ничто не нарушало земного безмолвия; ни шумом, ни раздорами, ни жалобами не оглашался воздух. И вдруг вся эта пустота стала населяться призраками прошедшего, и страшно зашумели они вокруг меня... Орел ринулся с высоты камнем на жертву.

— Что ж мы смотрим здесь? — сказал Иорги. Я очнулся.

— Это, кажется, видны Яссы? — спросил я.

— Да, это виден монастырь Галата, — отвечал Иорги.

— Куда ж ехать нам?

— Не в Яссы ли?

— Зачем?

— Да, может быть, вздумается побывать у молодой жены, *домнуле?*.. Ласковая куконица Марьёла; стоит, чтоб вспомнить об ней.

Кровь взволновалась во мне от этих слов.

— А нам бы теперь не худо воротиться в Яссы, — продолжал Иорги. — Из Ясс бояры бегут; турки в Букаресте, а мы покуда похозяйничаем.

— Едем в Яссы! — сказал я.

И, сдавив коня стремянами, ринулся с крутой горы; од-

¹ Название горы.

² Курган.

ним скачком хотел я перелететь с Могуры на возвышенность перед Яссами, но очутился под горою, в глубокой ложине, окруженной голыми крутизнами. Йорги свистнул коршуном, и через несколько минут человек двадцать отчаянных голов скакали уже вслед за мною.

На ночлег приехали мы к корчме селения Флорешти. Молодцы мои заставили жидовку готовить ужин, а жида носить из погреба вино. Несколько человек молдаван, бывших в корчме, завидев нас, почтительно поклонились и убрались домой. Узнав, что в корчме *небуни*¹, никто из новых гостей не являлся. Жидовская соленая рыба не понравилась: прогнали жида к ватаману деревни, чтоб прислал молодого барана да несколько кур на ужин. Вскоре все явилось, и в дополнение — коновка² свежей брынзы да круг *кочковали*³. Я прилег на разостланном ковре на прилавке, под навесом корчмы, и смотрел, как мои *небуни* хозяйничали, распоряжались, чтоб был хороший ужин, вино, корм лошадям, и заботились провести вечер весело.

— Добрая деревня! — кричали они, когда ватаман принес припасы. — Кланяйся бояру да скажи, не худо бы прислать ему и хорошего вина, — у жида кисло.

Ватаман отправился и не замедлил принести большой полобок доброго вина.

— Кстати, пришли нам и цыган, *мошуле*⁴; они нам споят:

*Спуне, спуне, молдовень,
Унде друму ла Фокшень?
Унде кас мититика?
Унде фата формошика?*⁵

— *Амуш, амуш!* сейчас, сейчас! — отвечал послушный ватаман. — Постой, *фрате*⁶, не худо бы сладить *джок*⁷; вечер славный; а жид выставит вам на наш счет коновки две *ракии*⁸, слышишь? Мы попляшем; посылай сюда народ. —

¹ недобрые люди.

² деревянная чаша (прим. составителя).

³ сорт сыра (прим. составителя).

⁴ старинушка.

⁵ Скажи, скажи, молдован,

Где дорога на Фокшаны?

Там есть маленькая хата,

В хате девушка красotka (вольный перевод А. Вельтмана).

⁶ брат.

⁷ пляска.

⁸ водки.

Амуш, амуш, бояриле,— отвечал ватаман; надел шапку и пустился бегом в деревню.

Через несколько минут слышались кобза и скрипка. Весело раздавалась *мититика*. Это шли цыгане-музыканты, а за ними молодежь, в кушмах набекрень, и *формошки фети*¹. Цыгане встали на площади против корчмы, а вокруг них в одно мгновение составилась круг *джока*. Мои *небуни* выбрали также себе пары, и пляска началась.

Надо было видеть, как весь этот народ беспечно веселился! И о чем им было думать? Каждый наслаждался тем, что составляло наслаждение его жизни: перед старыми стояло вдоволь вина и *ракии*; молодежь и красные девицы выплясывали *мититику*, *сербешти* и *булгарешти*. *Талгари* беспрекословно хозяйничали под кровлей добрых людей; даже мохнатый чабан², глазевший на пляску, был рад, что его заставили проплясать *чабанешти*³. Завидую этим людям, я неприметно заснул... И во сне тот же *джок*; но я устремил внимание на одну девушку, которой лицо совершенно закрыто было платком; только черные глаза ее блестя ярко, и взоры часто останавливались на мне. Подле нее стоял Иорги... Вдруг она вырвалась из *джока* и бросилась утомленною на прилавок; села у меня в головах.

«Что ж ты не пляшешь со мной, Иоане?» — прошептала она. Кровь застыла во мне... голос Иляны! Я схватил ее руку. «Тс! — произнесла она, отдернув руку: — ты видишь, на нас смотрит сестра». — «Где?» — «Вот, вот она». — «Иляна, это арнаут Иорги». — «Полно говорить; я знаю, что это сестра; не смотри на наружность, она — *дракуляса*⁴, прикидывается чем хочет; она извела меня и тебя хочет извести за то, что ты замучил ее... Ступай налево, а я направо пойду; захвати коня; сойдемся за корчмой в долине и ускачем... Скорее, скорее, покуда не разгорелась смоляная бочка: осветит нас — все пропало!»

Иляна вскочила с места и скрылась вправо; я также хотел встать, а на мне оковы, вот эти самые оковы!.. Рвусь, да напрасно; а надо мной кто-то хохочет... «Ха, проклятая Роксандра!» — вскричал я и очнулся. Подле меня стоял Иорги.

¹ красные девушки.

² пастух.

³ пастушеская пляска в одиночку, с посохом.

⁴ ведьма.

— Насилу добудился я тебя, *домну* Урсуле. Верно, жаль расстаться с куконицей Роксандрицей?

— Ха, проклятая *дракуляса!* — повторил я, смотря на Иорги с отвращением.

— Что, худой, верно, сон спился? Зато будет хорошо наяву, — продолжал он.

Прохлада утра освежила чувства мои, и я пришел в себя; но сердце сильно колотило в грудь: тоска по Иляне вспенила кровь, по всему телу рассыпались жгучие искры.

— Все готово к пути, — сказал Иорги.

Я вскочил с прилавка, осмотрелся, — ни *джока*, ни Иляны; только жид стоял в дверях и кланялся, а из-под полы его выглядывал босой жиденок. *Небуни* стояли уже, прислонясь на оседланных лошадей, и пыхтели дымом из закурренных трубок.

Мне подвели коня, я сел и поехал по дороге, которая шла к переправе Скулянской.

— Нас добром не пропустят на паром, — сказал Иорги, — надо своротить вправо, в кут, пробраться к реке лесом, выехать поправее болотень, между кордонами, к броду; попадетсЯ казачий разъезд — не беда: *фрате* Василику ответит его в сторону.

Моим молодцам не впервые было переправляться через границу. Пробравшись по глухой тропинке почти к самой реке и притаившись за деревьями, мы ожидали, куда Василику осмотрит, нет ли казачьего разъезда на береговой дороге.

Не прошло нескольких минут, как вдруг он гикнул и пустился во весь опор влево по берегу. Разъездные казаки понеслись за ним вдогонку. Только что они промчались, а мы тихомолком к реке да в воду, вплавь...

— Хе, хе! Сюда, казак! сюда! — закричали мои, переправшись на молдавский берег.

Гнавшиеся за Василикой два казака оглянулись, а он бух в воду и поплыл.

— Здравствуй, *фрате* казак! *Буна доминяца*¹. *Пуфтим* к нам! — крикнул Василику казакам, которые остановились в недоумении и послали несколько недобрых слов да две пули вдогонку за нами.

С кордона на выстрелы прискакали еще несколько казаков, да поздно! Они посмотрели на нас, потолковали,

¹ Доброго утра.

прокричали что-то нам и шажком поехали обратно к кордону, а мы пустились скоком по дороге в Яссы.

— *Домну* Урсул, в Яссах нужны деньги, а у нас мало, — сказал один из моих молодцев, подъехав ко мне, — позволь занять у кого-нибудь... Вон, на дороге едет *бутка*¹; верно, какой-нибудь бояр; мы попросим у него взаймы.

— Под расписку, — прибавил другой.

— А чем отдадите? — спросил я.

— Как чем? Пусть вычтут из жалованья; возвратим бояру сторицей — урожаем и приплодом.

— А если бояр не захочет вам дать?

— Не может быть. Он побоится божьего наказания за скупость.

— А если он будет отвечать вам пулей в лоб?

— Ну, уж это вызов на бой! Чья возьмет: чье поле, того и воля.

— Просить просите, просить бог не запретил, а силой не брать, слышите!

Войники мои пустились стрелой на большую дорогу, по которой ехала коляска. Не прошло нескольких минут, бояр продолжал уже путь, а моя команда воротилась.

— Дал по десяти *гальбинов*² на брата, — донесли они мне. — Предобрый человек! Говорит: дал бы больше, да больше нет. Мы спросили, как зовут, где живет? — на случай приехать, расплатиться. «Не нужно, не нужно, — сказал, — что за счеты между добрыми людьми?» — «Ну, мы приехали бы в гости, боярского вина отведать». — «Кисло, *фрате*, — отвечал, — сам покупаю». Верно, не любит гостей.

— Теперь не худо бы пообедать, — продолжали *небуни*. — Вот, кстати, стадо баранов; чабан уступит одного. Гей! *мой!* чабан! поймай-ка, *фрате*, баранчика.

— *Амуш, амуш, бояриле!* — отвечал чабан и тотчас же поймал крючком своего длинного посоха одного жирного барана за ногу.

Между тем разложили огонь. Чабан сам снял шкуру с барана; вздели его на палку, и *фринтура*³ поспела. В котелке сварили мамалыги; вино было запасное.

После обеда мы отправились далее и к вечеру подъехали к Яссам.

¹ коляска.

² червонцев.

³ жаркое.

— Вы ступайте на Магалию, а я с *домнеалуй* поеду в *куртбоярск*¹, — сказал Иорги прочим своим товарищам.

Проехав большою улицей до поворота в Копо, мы свернули влево.

— Поскачу вперед, скажу куконице, что хозяин едет, — сказал Иорги и пустился к дому, который стоял на скате реки Бахлуй, окруженный большим двором и садами.

«Тут Марьёлица, жена моя, — думал я, — но что ж из этого? какой я муж для нее?» После этих мыслей равнодушие снова овладело мною, и я поехал шагом, приближался к дому, как к корчме на большой дороге, с одним желанием отдохнуть после трудного пути.

И вся жизнь мне казалась в эту минуту путем, а каждая кровля — заездным ханом² или ратушей³. Кто б ни был, хозяин или хозяйка, — все равно они возьмут с меня что-нибудь за ночлег, не деньгой, так выслугой: потребуют, чтоб я жил у них как покорный сын, как послушный раб или как угодливый муж.

— Иоане, Иоане! — раздался вдруг приятный голос, когда я подъехал к дому. Едва соскочил я с коня, как с крыльца сбегала молодая прекрасная женщина, бросилась ко мне на шею, осыпала всего поцелуями.

Забилось сердце, когда я взглянул на нее, на ее радость и на радостные слезы. Она совершенно онемела, иступленно обнимая меня. «Господи боже! — думал я, — меня ли целует она так нежно, так сладко, с таким же чувством, как целовала Ильяна! Я безумен или безумна она и видит во мне призрак того, кого любит? Или это сон, тяжкий сон».

— Где ты был, Иоане? — произнесла наконец она: — я думала, что ты совсем оставил свою Марьёлу... Пойдем, пойдем скорее! Ты устал с дороги, пойдем.

И она помогла мне всходить на крыльцо, ввела в комнаты.

— Садись, сядь на диван; отдыхай, цвет мой, мое золото, сердце мое! Я думала, бог знает что с тобой сделалось!.. Истомилась я в это время! Ах, Иоане, как ты похудел! Здоров ли ты? Мне кажется, что ты нездоров... или ты устал с дороги?

¹ боярский двор.

² постоянным двором (*прим. составителя*).

³ трактир.

Так говорила Марьёла. Не зная, как высказать свою радость, она снимала с меня скуфью, манту, пояс; целовала мне руки, грудь, глаза; приказывала, чтоб подали мне чубук и кофе, чтоб накрывали скорей на стол, принесли вина.

— Ах, Иоане,— продолжала она,— с тобой, верно, случилось какое-нибудь несчастье! Я боюсь тебя спрашивать. Знаешь ли что? Мне приходило все в голову, что *армаи* Иордаки убил тебя... Да, эта мысль измучила меня... Мне сказали, что он поклялся мстить тебе за то, что ты перебил у него невесту!.. Злодей какой! он хотел, чтоб я против сердца шла за него замуж!.. Нет! Когда я тебя увидела, я не пошла бы за самого господаря!.. Он грозил увести меня... Я день и ночь жила за закрытыми воротами; не спала — все прислушивалась, не идет ли кто; все молилась за тебя...

Я смотрел на Марьёлу, слушал ее и молчал.

«Как хороша женщина, которая любит»,— думал я. Но мне казалось, будто все это сон; я боялся произнести в ответ слово, чтоб не разбудить самого себя.

Марьёла и не замечала, что я не отвечал на ее поцелуи поцелуями, на ласки ласками и что ее вопросы были безответны.

Накрыли на стол, подали ужин; Марьёла угощала меня как гостя, а в моей голове ходили черные мысли тучами. «И здесь я проезжий,— думал я,— проезжий, от которого хозяйка требует любви, так соблазнительно требует любви!.. требует любви по праву. Да где ж взять мне этой платы? Нет у меня любви ни к чему живому!»

Здесь рассказ Урсула прервался: за ним пришли.

— О, как досадно! — вскричал я.

— Вижу,— сказал он,— тебе хочется знать конец моей истории.

— О, хочу, очень хочу!

— На какой улице ты живешь, в чьем доме?

Я сказал ему.

— Хорошо, найду... около полуночи... без оков и без свидетелей мне легче будет рассказывать...

Приподняв оковы, которыми отягчены были ноги, Урсул пошел между двумя солдатами. А я, пораженный и рассказом его, и последними словами, долго смотрел вслед за ним и с недоумением возвратился домой. Убежденный в невозможности таинственного посещения, я, однако ж,

как будто боясь приближения ночи и страшного гостя, ушел из дому и провел время привидений с товарищами. В начале первого часу возвратился домой и по привычке вместо ужина стал пить чай. Вдруг цыган-дворник пришел и сказал, что приехал какой-то бояр и спрашивает адъютанта, который здесь стоит.

— Кто такой? — спросил я, вскочив с места; но вместо ответа отворились двери, и я содрогнулся, взглянув на вошедшего бояра в богатой *антерии* и чалме. Это был Урсул; я узнал его более по предчувствию: так одежда изменила и возвысила его наружность! Я выслал своего человека; но чувство ужаса оставаться наедине с преступником смутило меня.

«Вы, может быть, думаете... — начал он, смотря на меня, и, не кончив речи, продолжал: — Не беспокойтесь... есть добрые люди, которые верят и моему честному слову... моя воля и здесь в оковах... Дайте и мне чаю, я люблю чай... Я немного опоздал, — продолжал он, — что ж делать... когда уж не от себя зависишь!.. Тяжко было мне начинать повесть свою; но слеза сожаления дорога для души моей... Люди будут судить меня как преступника, казнят в страх другим преступникам... Да что их казнь? Благодарить против той казни, которой я казнюсь со дня женитьбы на Роксандре!.. Да! живая Роксандра погубила Иляну, а мертвая Роксандра погубила меня... и никто не разуверит душу мою, что это не она, в разных образах, водила меня по мукам сердца! О, она, она же была и в образе Марьёлы, хоть я и не дурак, чтоб верить оборотням! Слушайте: когда, чувствуя голод, я сел ужинать, Марьёла села подле меня, прижалась ко мне, приклонила голову на плечо и угощала меня, как ребенок, с такою радостною, доброю улыбкой, какую демон не смел бы припять на себя. «Скажи, за чье здоровье ты пьешь, Иоане?» — спросила она, когда я взял стакан вина из рук ее. «За здоровье моей милой хозяйки», — отвечал я. «Иоане, дай мне руку... Слышишь, как бьется? Выпей же за здоровье твоего сына!.. сына, я чувствую, что сына!..»

Камень расплавился в груди моей от этих слов; кипящее стекло покатилося струей из глаз на лицо Марьёлы... Она пламенно взглянула на меня; я ее обнял, поцеловал и... испугался собственного поцелуя. В эту минуту в первый раз пришло мне на мысль: не Роксандра ли ставит сети, чтоб душа забыла Иляну, а чувства изменили ей?..

Но если б ты видел Марьёлу!.. Это была душа, облеченная во все чувства любви, плоть во всей роскоши!

— Я не хочу расспрашивать теперь, Иоане, где ты был, и не рассказывай мне, — говорила Марьёла, — я хочу, чтоб ни одно грустное слово не нарушило моей первой радости: может быть, что-нибудь страшное заставило тебя вдруг скрыться отсюда; может быть, твоя жизнь была в опасности!.. Нет! завтра, завтра расскажешь, когда я буду в состоянии плакать; а теперь обними меня... обними! потому что младенец и в недрах матери чувствует любовь отца... О, как радостен его трепет!.. Что ж ты замолк, Иоане?.. ты побледнел! Что ж ты отклонился от меня!.. ты что-то скрываешь на душе!.. поделись со мной! Я вижу, что это недаром! Я заметила по лицу твоему с самой минуты приезда, да боялась спрашивать... Ах, Иоане, пища моя! если б и мужчины знали только одну любовь и искали всех благ жизни в ее объятиях, тогда я поцеловала бы твою руку, не облитую собственными моими слезами; я бы боялась только одного... чтоб ты не разлюбил меня... Правда ли, Иоане?.. Солнце мое! ты опять взглянуло на меня!..

— Марьёла! — хотел я вскрикнуть. О, боже! я так же страшно сдавил бы ее в объятиях, как Роксандру... Вдруг дверь спальни откинулась, и я чувствовал только восклицание Марьёлы, да что-то холодное впилося в грудь мою...

Вот рана, только не смертельная!»

С этими словами Урсул распахнул грудь, и я увидел след глубокой раны.

«Да, трудно помириться с судьбою! — продолжал он. — Я с раскаянием готов был подать ей руку, а она коварно выждала минуту бессилия моего, чтобы снова отбросить меня от всех земных надежд!..

Ты можешь вообразить, долго ли я был в жару страдания, без чувств и памяти; но это беспамятство было слишком памятно мне! В бреду отвратительный, страшный призрак не оставлял меня, и чей образ, думаешь ты, принял он? Арнаута Иорги. Мне казалось, что его тяжкая голова лежала на груди моей и грубый его голос упрекал меня в измене и повторял собственные мои слова: «Что ж ты молчишь? Здесь не могила, я не гробовой твой камень! Что ж ты посинел, как свинец? Не потухай же, Иоане! Целуй, нежь меня! Любовь не знает ни сна, ни отдыха!..»

С содроганием открыл я глаза, а Иорги перевязывал

мне рану... Я хотел оттолкнуть его и не мог; хотел проклясть его и не мог.

— Прочь! — вскрикнул я наконец с напряженным усилием. — Прочь, демон!

— Будет жив! — сказал он, кончив перевязку и отходя от меня.

Я окинул вокруг себя взорами и видел, что лежу в какой-то землянке; вся шайка моих была тут же; на прилавках, на полу, сидя и лежа, играли они в карты, а подле топившейся печки сидела какая-то старая ведьма.

Слабые веки мои закрылись, я лежал неподвижен, как мертвый; только чувство слуха не замерло. *Небуни* говорили про меня. Невесело было мне слушать рассказ, старые подвиги. Для самого меня они были как будто новостью, я удивлялся собственным поступкам.

— А что, Иорги, — говорил один, — надежда плоха, а мы только теряем время. Оставим его здесь на руки *матушка*¹, а сами отправимся повоевать.

— Нет, *фрате*; как свою голову, не оставляю я его здесь добровольно, — отвечал Иорги. — Правду сказать, Урсула никто нам не заменит; счастлива его рука: при нем мы как-то везде гости, везде нам ласковый прием; не то, что прежде: житья между людьми не было...

— Он должен быть не прост, — продолжал другой, — где ни покажется — везде хозяин. Что за смелость! Едет себе прямо на двор к боярам, и мы вслед за ним. Никому и в голову не придет спросить нас, что мы за люди. Право, житье с ним! Недоброго слова ни от кого не услышишь, и собаки-то как будто не лают на нас. Право, он не прост, в нем есть дьявольщина! А женщины так в глаза ему и смотрят: все до одной сбежали бы за ним со двора...

— Должно быть, что он не христианин! — сказал третий. — Сколько у него теперь жен счетом, Иорги?

— И счет потерял, — отвечал Иорги.

— А ты еще не рассказал нам про *куконицу* Зоицу, что близ Романа, — продолжал второй. — Что сказал ты бояру, когда мы подъезжали к *курте*², а ты поехал вперед? Нас приняли там как визиря... Ты, верно, сказал, что едет какой-нибудь господарь?

— Вот хорошо! Я лгать сроду не лгу; я просто при-

¹ тетка.

² ко двору.

ехал во двор, вселел скорей вызвать бояра и крикнул, по обыкновению: «*Домну Иоане едет!*» — «Какэй *домну Иоане?*» — спросил он... «*Домну Иоане,*» — отвечал я, — сию минуту будет; извольте скорее отвести ему покой, да не забудьте приготовить *подложанов* с сорочинским пшеном: без этого он и за стол не сядет; да тотчас же чтоб был кофе». Сказал и пошел встречать *арамбашу*. А бояр и куконица как полоумные стали разбегаться, кричать, толкать в шею цыган, чтоб прибирали в доме да резали скорее баранов и кур на ужин. Когда подъехал наш *домну Иоане*, Урсул, к крыльцу, бояр выбежал встречать, а сам трясется от страха.

— Правду сказать, — перервал Василику, — у него такое важное, суровое лицо, что сам Али-паша показался бы перед ним бабой.

— Как стал всходить на крыльцо, я повел его под руку, — продолжал Иорги, — и дал знак бояру также помогать. *Кукона* с *куконицей* встретили нас в дверях, потупив очи. А он, по обыкновению, идет молча, как султан; сел на диване. Между тем как ему подали трубку и кофе, я сказал бояру, чтоб подумал о корме людям и лошадям. Он пошел, а хорошенькая *куконица* Зойца увидалась около меня. «Скажи, пожалуйста, кто этот *тамаре-бояр*¹?» — «Как кто? *Домну Иоане*». — «Зачем же он приехал сюда?» — «Как зачем? Да вы, *куконица*, лучше меня это знаете». — «Право, не знаю». — «Полноте пустое говорить; если б вы не знали, *домну Иоане* не приехал бы к вам ни с того ни с сего».

Божится *куконица*, что ничего не знает и не ведает, а *домну Иоане* никогда в глаза не видала. «Ну, — сказал я, — если вы не видывали его, так он вас видел», — сказал, да и пошел от нее. Смотрю, крадется сам бояр; отвел меня в особую комнату, стал угощать вином, вынул обрезанный *гальбин* и дает мне. «Возьми», — говорит... Такая скряга! а у самого золота целая могила. «Зачем это, бояр?» — спросил я. «Так, в знак дружбы». — «Спасибо, бояр, подай лучше нищему, а у нас, слава богу, денег довольно, по милости *домну Иоане*, — сказал я, вынув из-за пояса артельный кошель и захватив горсть *гальбинов*. — По пятидесяти *гальбинов* дает на месяц, да его одежда: пара бархатная, шитая золотом, да пара простая, да шаль ту-

¹ большой господин.

рецкая». — «О! богатый он человек! — сказал с удивлением бояр. — Скажи, пожалуйста, твой господи куда едет?» — «Как куда? Да он к вам приехал». — «Да зачем же, скажи пожалуйста?» — «Вам про то лучше знать». — «Ей-ей ничего не знаю!» — «Пустое вы все говорите! С чего же *домну* Иоане, когда поехал из дому, приказал все готовить к свадебному пиру да созвать народ из всех своих деревень? «Я, — говорит, — еду к *кукону* Петраки Макареско; через неделю приеду с молодой женой, с *куконицей* Зоицей», — и поехал прямо сюда». — «Да это что ж такое ты говоришь, чудеса какие неслыханные! *Домну* Иоане приехал жениться на моей дочери, а я ничего о том и не знаю!» — «Да и зачем вам было знать прежде времени?» — «Как зачем? я отец!» — «Пустое вы все говорите! Если бы *домну* Иоане не захотел сам жениться на вашей дочери, вам бы и во сне не видать такого жениха. Он же делает вам честь, да еще и спрашивать вас, хотите ли принять ее? *Домну* Иоане не простой бояр, у него своих деревень пятьдесят: Гульпешти, Мынчешти, Градешти, Малаешти, Албинешти, Горешти, Гальбинешти...» — «*Домне ферешти!*¹ — вскричал бояр: — я рад такой чести; пусть только скажет мне о своем желании». — «Говорить! да с чего вы взяли, что он будет говорить?» — «А как же не спросить согласия ни у отца, ни у невесты?» — «Он сроду никого ни о чем не спрашивал... Да что говорить пустые речи? Я не знаю, не мое дело; как хочет *домне* Иоане, так и будет... А что, готово ужинать?» — «Готово». — «Ну, я пойду доложу».

Вот и пошел я к *домну* Урсулу и сказал, что хозяин человек, каких мало на свете, и годится ему в тестя. «Хорошо, — сказал он, — готовь, как знаешь, дело к свадьбе».

«Что, подавать ужинать?» — спросил бояр. «Нет, подождать; *домну* Иоане сказал, что он хочет перед ужином жениться». — «Как, перед ужином жениться?» — вскричал бояр. «Что ж тут странного? Свадьба всегда бывает перед ужином. — «Да какая же свадьба?» — «Уж это не мое дело; не угодно ли самому бояру спросить его». — «Что ты говоришь за чудные речи... я пойду спрашивать!» — «Как хочешь, бояр, что мне за нужда». — «Иорги! — крикнул *арамбаша*: — готово ли?» — «Вот сам хозяин!» — сказал я, указывая на *кукона*. — «Готово!» — отвечал бояр, клаясь. «Ну и прекрасно, — сказал *арамбаша*, — я рад такому те-

¹ Господи! Слово в слово: сверши господи!

стю; прикажите послать за *парентием*¹, ведите сюда невесту!» — «Слышишь, бояр», — шепнул я остолбеневшему кукону. «Что ж это такое будет?» — проговорил он, выходя вслед за мною. «Как что? *Домну* Иоане желает скорее быть твоим зятем». — «Да я не хочу!» — вскричал вдруг бояр. «Если не хочешь, так скажи сам об этом, а я не пойду докладывать: в сердцах, зачем не исполняют его приказания, он изрубит меня в куски, да и ты, бояр, не жди себе добра! Я знаю, каков он в сердцах!» — «Что ж он мне делает?» — «Что? Просто скажет: сжечь его со всеми потрохами!» Мы и сожжем, потому что мы должны слушать, что он прикажет. «*Валю! валю!*² — вскричал бояр. — Ну, води *парентия*. Что ж мне за нужда? пусть его женится на моей дочери — я бедный человек!.. Что ж я могу сделать такому великому господину!»

Вот и послали за *парентием*, сыграли свадьбу; кто весел, а *куконица* всех веселее. «Поздравляю, куко Петраки, — сказал я бояру, — *логофет-маре*³, дядя *домну* Иоане, обещал, когда племянник женится, сделать тестя его *стольником-маре*»⁴. Обрадовался бояр и так развернулся, что диво; откуда что взялось — помните?

— Как же! — перервал Василику. — На третий день шестеро из нас повезли три воза приданого в Яссы, в дом боярского зятя, да свернули ошибкой в горы. Как теперь помню, на границе австрийские жида купили весь хлам за пять тысяч левов, кроме турецких шалей. А на четвертый день поутру и мы отправились с *домну* Иоане.

— Просто уехали?

— Э, нет; сказали кукону, что едем вперед, чтоб встретить молодую, по обычаю, в доме молодого. В тот же день *куконица* с отцом, с матерью и со всеми родными должна была отправиться в Яссы и приехать прямо на двор *логофета-маре*. Любопытно было бы посмотреть, как их там приняли?

— Э, так вот что! Знаю! — вскричал цыган Лупа. — Я был тогда кучером у *логофета-маре*; помню! Только что я подал *бутку* к крыльцу, вдруг едут на двор две *бутки* да воза два горничных цыганок. Слуга прибежал, спрашивает: «Здесь *домну* Иоане?» — «Какой *домну* Иоане?» —

¹ священником (молдав.) (прим. составителя).

² ой! ой! (молдав.) (прим. составителя).

³ великий логофет.

⁴ великий стольник.

«Племянник *логофета-маре*». — «Здесь; а кто приехал?» — «*Куконица* Зоица, жена его». «Какая же это *куконица*? — думаю я себе, отъезжая от крыльца. — Кажется, *куконаш*¹ еще не женат?»

Только что *бутка* подъехала к крыльцу, и из нее вышли какой-то бояр, старая кукона да молодая, а с крыльца сходит *логофет-маре*. «Что вам угодно?» — спросил он бояра. «Здесь живет племянник *логофета-маре*, *домну* Иоане?» — «Так точно, мой племянник со мной живет, — сказал *логофет-маре*, — а вы кто, позвольте узнать?..» — «Я его тесть, честь имею представить себя; а это дочь моя, его молодая жена». — «Его молодая жена!» — вскричал *логофет-маре* и остолбенел. — «Как! мой племянник женат?» — «Так точно; вот уже четыре дня, как была свадьба». — «Где ж он сам?» — «Он поехал вперед». — «*Сараку ди мини*!² без моей воли жениться, и обманом! Сказал, что поедет дней на пять в деревню! Гей!.. цыган! выбросить на двор все вещи его и не пускать его ко мне на двор! Подавай *бутку*!..» Я подал, и мы поехали к господарю. Вещи *куконаша*¹ выбросили на двор; дней через пять приехал он и сам; прямо было к дяде. «Да позвольте! — сказали ему: — дядюшка не велел вас пускать на двор». — «Как?» — «Да так, за то, что вы женились». — «Кто женился?» — «Да вы». — «Пустяки ты говоришь!» — «Какие пустяки! спросите хоть у дядюшки». — «Спрошу, что за чудеса! Пусти же меня к нему». — «Э, нет, не приказал пускать...» Туда-сюда, доложили *логофету-маре* — и слышать не хочет; и велел гнать со двора племянника. Ей-богу!.. Так прошло с неделю; я ушел от батогов за то, что линяли кони и обсыпало однажды бояра шерстью. Бедный *куконаш*! Уж я уверен, что ему не оправдаться и не получить в наследство откушенного ногтя!..

Вот разговор моих молодцов, который остался у меня в памяти от слова до слова. Ты можешь понять из него, что в безумстве своем я был вместе и атаман, и игрушка разбойников.

Но с возрастающими силами и возвращающеюся памятью во мне стали бороться два чувства: Ильяна и Марьёла становились существами нераздельными со мною; мне казалось, что Ильяна всегда подле меня справа, а Марь-

¹ барин.

² Слово в слово: «бедный я!», но произносимое с сердцем значит почти то же, что «черт возьми!».

ёла слева. Ильяна — бледная, как свет луны, облачная, с нежным, томным взором, с улыбкой умиления; а Марьёла — пламенная, страстная, дышущая жизнью и наслаждением чувств. Меня бросит в огонь — Ильяна повеет сладостною прохладой, и мне хочется испить ее дыхания. Обдаст меня холод — Марьёла пыхнет на меня жаром любви, и мне хочется согреться в ее объятиях... Но стыдно небесной Ильяны — она тут... Задумаюсь, предамся грусти — а Марьёла приласкает меня взором... я забудусь снова; по в минуту ушосья взгляну вправо — Ильяна стоит, как ангел над гробовым камнем, плачет без слез, ропщет без голоса!.. О, как мгновенно стынет во мне жар сердца! как быстро пробуждается жалость о погибшей Ильяне! От одного моего взгляду уныние ее исчезает, все в ней пробуждается, как на лице природы, когда она радуется, что солнце возвращает ей любовь свою! И мне хотелось скорей умереть, чтоб соединиться с небесной... а младенец? а месть злодею *армашу*?¹ И я жаждал снова жизни!..

— Йорги,— сказал я, почувствовав, что могу сесть на коня,— ты видел рану мою? Знаешь ее меру? Знаешь ты *армаша* Йордаки? Он нужен мне: это его дело.

— В Яссах теперь турки,— отвечал Йорги,— да все равно, я допытаюсь, куда уехал *армаш*.— И в тот же день к вечеру воротился Йорги из Ясс в одаю² и уведомил меня, что *армаш* Йордаки уехал в Австрию.

— Едем туда! — сказал я своим.

— Туда не пустят,— отвечали мне,— или отберут оружие на границе; а уж этого мы не снесем! Не словами же защищать свою голову!

— Едем! — повторил я. И мы пустились к австрийским границам. Против селения Маморницы, близ реки Прута, мы остановились в лесу, в одном *кишле*³. Я послал Йорги в Черновцы разведать об *армаше*. Был там, да и уехал в Бессарабию. Нечего делать, едем в Бессарабию; где быть ему кроме Кишинева. И точно, след найден, да и тут не застали — уехал на время в Бендеры.

Выехав на Бесидерскую дорогу, я расположился ждать

¹ молдавский чиновник.

² Временный хутор в степи, состоящий из нескольких землянок. Собственно же хутор предполагает в себе хату для жилья помещика или помещика.

³ Временное жилье чабанов или пастухов в степи, с загоном для стад и табунов.

проезда *армаша* в селении Мирепях. Отправленный мною в Бендеры Иорги на другой день прискакал с известием, что *армаш* своротил с большой дороги в Бульбоках и поедет в Кишинев правою стороною реки Быка. Тем лучше! Мы переправились через реку против селения Синжеры и расположились в скрытом месте, на половине дороги от этого селения до Кишинева. Около вечера показалась вдалеке бричка. «Он!» — вскричал Иорги. Только что бричка спустилась в лощину, я не вытерпел, первый бросился к ней. Арнаут, сидевший на облучке, выстрелил по мне, да мимо. Мои остановили лошадей, обезоружили арнаута, который, однако же, нашел между ними старых товарищей. А я между тем вытащил *армаша* из брички. «Отдам, отдам Марьёлу! только пощади!» — кричал он. «Поздно, друг! теперь сам возьму!» — Скрутив руки *армашу*, его взвалили на бричку; я сел подле него, посадил на козлах двух из своих, крикнул: *хайд!* — да ни с места. Никто не заметил, как проклятый *суруджи*¹ перерезал шлейку и ускакал по дороге в город.

Василику, служивший прежде на почте, вызвался править; связав шлейку, вставил в нее своего коня, ударил передовых лошадей вожжами, и — мы понеслись к Кишиневу. Подъезжая к городу, мы выждали ночи, и я велел своим ждать меня в той самой корчме у въезда в город, где нас окружил народ.

Около полуночи, по указанию *армаша*, подъехали мы к воротам дома, где жила Марьёла у сестры его.

Василику слез с коня и постучал. «Кто там?» — спросил сторожевой сонный цыган. «Отворяй скорее! присхал *кукон армаш*; *кукон* очень болен». Цыган отпер ворота, а мы вытащили связанного *армаша* из брички и повели под руки. Он молчал и дрожал от страха. «Охай! — шепнул я ему, показывая пистолет. — Да скажи цыгану, чтоб никого не будил, да шел скорей за доктором». *Армаш* повторил приказание, охая. Цыган побежал, а мы взойшли на лестницу. Дом разделялся коридором на две половины; от левой ключи были у *армаша* в кармане. Осторожно отперли, вошли. Я приказал стеречь *армаша* и ощупью нашел дверь в другую комнату; из этой в третью дверь приперта задвижкой. Отдернув тихо, я приотворил; тут кто-то храпел; я подкрался к постели, прислушался... Нет! это не Марь-

¹ почтарь, кучер.

ёла, это что-то отвратительное. Вдруг заметил я слабый свет в скважине, это была дверь; осторожно отворил, взглянул... Лампада чуть-чуть теплилась перед образом; на диване лежала женщина, а подле нее, на подушке, младенец. Долго смотрел я на них. В первый раз в жизни выступила из глаз моих радостная слеза... Не такая, как эта — мутная, горькая... нет, сладкая, алмазная!»

При этих словах Урсул приподнял было руку, чтоб отереть слезы, но вдруг остановился.

«Нет,— сказал он,— не отру, не затаю в сердце! Знаешь ли ты, ведь эта женщина была Марьёла, а младенец — мой сын. Я затаил дыхание и простоял бы над ними до утра, да беда была на плечах: некогда было и вздохнуть радостно. «Марьёла, Марьёла!» — прошептал я. Вдруг младенец заплакал; Марьёла очнулась, взглянула на меня с ужасом и вскрикнула. «Тс! это я, Марьёла, я... Возьми скорее младенца, дай ему груди, уйми плач его!» Она схватила младенца на руки и продолжала смотреть на меня, как на привидение. «Я за тобою пришел, Марьёла,— сказал я ей шепотом,— не время думать и радоваться».

«За мною? — проговорила она.— О, дай мне пожить для младенца!» — «Тс! что говоришь ты, я не мертвец, я твой Иоане».— «О, Иоане, подожди хоть одну минуту: я накормлю его грудью!» — «Не время ждать, Марьёла»,— сказал я и, накинув на нее шаль, схватил на руки и понес.

«Кто тут?» — раздался охрипый голос в темной комнате. Торопливо притворил я дверь, запер задвижкой. «Василику,— сказал я, проходя покой *армаша*,— завяжите ему рот, уложите в постель, идите за мной!»

«Ты понимаешь? — продолжал он дрожащим голосом, схватив меня за руку.— Выбежав на улицу, бросился я в переулочек и бежал, сам не зная куда. В первый раз испытал я страх; мне казалось, что за мной гонятся, отнимут у меня жену и сына. Выбравшись из глухих, грязных улиц к реке, утомленный, я подошел к одной отдельной хате на пригорке, сел на прилавок, перевел дух, взглянул на Марьёду... голова ее лежала на плече моем, а в руках нет ничего!.. нет моего младенца!..»

При этих словах Урсул затрепетал; крупные слезины копились на глазах его. Слезы блеснули и на моих глазах.

«Что ж мне было делать! Я бросил мать, побежал искать сына. Проклятый город! и направо, и налево переулки; и направо, и налево слышится плач младенца. Прислу-

шиваюсь, который голос ближе к сердцу, побегу вправо... а сзади как будто кто-нибудь кричит: не туда!.. Остановлюсь на перекрестке, схвачусь за голову — голова горит; заверчу ее и брошусь опять бежать... Видишь, я поседел в эту ночь!.. Стало уже светать, люди проснулись, дети плачут; то там, то здесь раздается голос младенца, да это все чужие!.. не моя кровь!.. а Марьёла очнется, хватится ребенка, бросится искать его, и все пропало!.. И побежал я назад к Марьёле, пришел, а на прилавке одна шаль лежи! Что с ней случилось?.. Если б она была жива, она пришла бы ко мне... Ах, нет! она не знает, что ее муж... Урсул!»

И Урсул закрыл лицо, зарыдал; у меня надрывалось сердце от жалости, и слезы выступили на глазах.

«Теперь мне легче,— продолжал он,— спасибо тебе, заплати тебе бог всеми благами жизни за эти слезы сострадания. Ничего не остается мне более сказать тебе... Разумеется, что я преодолел отчаяние и пошел к своим. Долго заставил я их ждать себя и был причиною их оков. Уж день был на дворе, когда я пришел к ним; и едва только вступил в двери, как сторожевой подал голос. Мы были окружены. Толпы народа не удержали бы нас, если б я бросился к выезду; но безумие и чувства повлекли меня в город, и все поскакали вслед за мной. Я не спасался, а искал Марьёлу и сына... Подле той самой хаты, где я оставил ее, народ окружил меня... Тут должны были кончиться все призраки жизни моей и мысль обратиться к Иляне, а за мыслью и сам я!..»

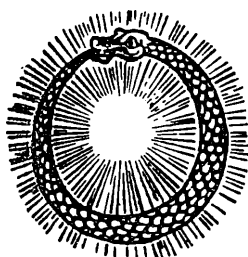
Урсул замолк.

Я содрогнулся; молчание было страшно.

Он встал с места, заходил большими шагами по комнате. Дрожь пробегала по мне, а внутренний голос повторял: это не человеческое наказание!

Когда я очнулся от тяжести состояния души, все уже было вокруг меня тихо. Урсул исчез, как привидение.

Вскоре пронеслись слухи про страшную муку, которую наказывал сам себя Урсул, не довольствуясь ни божьим, ни человеческим наказанием.



Есть в большом свете наука, наука новая, но не *Scienza nuova*¹, до которой нам дела нет: есть великая наука, *le grande science*, которая не преподается с кафедры. Если вы жили в свете, жили широко и видели людей, достойных не только всеобщего, но и вашего собственного удивления; если вы были во всех, как говорится, лучших обществах, во всех известных гостиных, в салонах, лежащих под 0° долготы и 48°50' широты, видели и *grand monde*, и *beau monde*, и *nouveau monde*², но не обратили особенного внимания ни на одного из представителей новой науки, то вы — человек темный: вы не знаете, на чем свет стоит. Быть великим, быть героем, политиком, философом, язычником, монополистом, быть чем-нибудь — ничего не значит; затмить всех своей славой — также ничего не значит. Но уметь жить в свете так, чтоб не чувствовать жизни; чтоб ни во взоре, ни в наружности, ни внутри, ни вне не было ничего вчерашнего; чтоб завтра не смело прежде времени выказывать себя посреди белого дня или озаренной воском и стеарином ночи; чтоб быть в одно и то же время и всем и ничем, везде и нигде... о! это много значит!

Когда ум разумел, а сердце чувствовало, тогда никто не старался жить: само жилось. Но когда, не довольствуясь божьим днем, стали искать жизни посреди темной ночи, блудящие огни завели бедных светских людей во тьму кромешную, и родился вопрос — как быть и как слыть? быть ли тем, что есть? быть ли выше или ниже

¹ новая наука (*итал.*).

² большой свет, светский мир, новый мир (*франц.*).

того, что есть? слыть ли прямым, открытым или слыть непонятным, пероглифом посреди людей? просто ходить или ползать и извиваться? играть ли самим собой или играть другими? Покуда во мраке решались эти вопросы, каждый живущий, волею или неволею, выбирал наобум разные пути, средства и цели к достижению счастья, не понимая, в каком пмешно количестве золота оно заключается, в какой степени величия и тщеславия, в каком чине и классе, во скольких знаках отличия, в оковах ли, налагаемых на себя или на других, в самом ли себе или в окружающих предметах. И вот иной целый век проповлевал, чтоб затравить во что бы то ни стало бурю ли-сицу; другой всю жизнь пробегал, чтоб не отстать от людей; третий истомился, упирая великих; четвертый устал, поднимая малых; иной, считая алтыны, просчитал тысячи; многие прошли жизнь без пути и дороги, а все остальные в постоянном, беспокойном сомнении, по той ли дороге идут. Словом,

Чем дальше в лес, тем больше дров,
Чем дальше в жизнь, тем больше горя:
На море — алчешь берегов,
На суше — болен жаждой моря!

Какой же философии следовать? Жить своим умом или чужим? Себя тешить или других забавлять? Делать то и другое или не делать ни того ни другого?

Новая светская наука разрешает этот вопрос, с позволения сказать, следующим образом:

Все, *monsieur*, зависит от случая. Если вы, кроме человеческого образа, получили в наследие и благоприобретенное добро, то вы на земле — человек случайный, вы — богач, вы — языческий божич, потому что не нуждаться в людях значит уже принадлежать к династии богов. Перед вами отворяются все двери настежь; вы можете казаться, и даже быть, умным или глупым; можете, по произволу, слушать других или не давать никому произнести слова; можете одолжать и не одолжать, но все-таки вокруг вас будет толпа алчущих и жаждущих одолжения и милости. Вам, *monsieur*, не для чего заботиться приобретать себе славу: она, как жид-фактор, сама протрется к вам в переднюю, сама вызовется быть вашим герольдом, будет даром бегать скороходом, трубить перед вами в трубу или стоять на запятках гайдуком. Не за-

ботьтесь, monsieur, ни об уме, ни о познаниях, ни о чем внутреннем, подлежащем сомнению даже в тех, которые имеют эти невещественные капиталы: за вас будут умны другие, за вас будут мыслить, говорить и делать другие... только изъявите желание. Не хлопочите, monsieur, искать со свечой друга: он сам найдет вас в потемках. Не трудитесь привлекать к себе сердце, способное гореть пламенною любовью, и приобретать взаимность; полюбите только сами или, лучше, притворитесь влюбленным: взаимность давно уже заготовлена, как у импровизатора ода на всякий случай; стоит только в общую формулу вставить ваше блистательное имя. Но если вы, *mon cher*¹, или, *sans façon*², если ты, *mon cher*, не получил ничего в наследие, кроме самого себя, то учись искусству делать карьеру в свете; учись входить и в дом и в душу людскую; благорастворяй в свою пользу сердца; внимательно различай тех, которые любят расходы, от тех, которые любят приходы. Чтоб не сбиться с карьеры, ты, *mon cher*, не должен ничего чувствовать, кроме желания пользоваться чувствами других, ничего не знать, кроме умения пользоваться знанием других. Это нетрудно: слушай только каждого со вниманием, и каждый припишет тебе, *mon cher*, и свой ум, и свои чувства, и свою начитанность, и свои познания; а для обиходу слишком достаточно и ходячих сведений. Записной читатель расскажет тебе все новости печатные. Всякое дело, *mon cher*, есть работа, и потому предоставляй его рабочим людям, на которых навьючиваются все дела и которым за труд дают стойло да корм. Человек *comme-il faut*³ должен уметь только делать карьеру, жить господином посреди чужой доброты, простоты и глупости. Чтоб распознать, *mon cher*, людей, в которых заключаются источники твоих доходов, знай правило древних франков, что добр тот, кто любит, прост тот, кто верит, а глуп тот, кто надеется. Это — твои дапники. Но, чтоб быть истинным франком и фряком, должно, во-первых, говорить по-фряжски: по-русски хоть не разговаривай, потому что тебе, *mon cher*, непременно скажут: «Вы, сударь, любите разговаривать» — или не будут тебя слушать. С привилегированным же языком ты пройдешь весь свет, и в щель и в скважину, и теперь

¹ мой дорогой (*франц.*).

² попросту (*франц.*).

³ приличный (*франц.*).

никто уже не осмелится назвать себя по-русски *пройдой*, по скажут по-фряжски: *il fait sa carrière*¹. А это очень почетно: делать карьеру — очень почетно. Не должно забывать также главных фряжских вещей — тону, духов, помады, перчаток, париков, фраков, эластических шосюр² и пузырного вина. Обеспечив себя всем этим снабдьем, можно взбираться по какой угодно лестнице, сидеть на каком угодно месте, говорить только о переезде с балу на бал, брать у дам бриллиантовые булавки и употреблять их вместо зубочисток.

Так думала некогда и премудрость эллинская, так говорит теперь премудрость фряжская. Здесь мы будем иметь честь представить напоказ одного из прозелитов этой премудрости.

Вот он сидит в халате из какой-то неизъяснимой материи, подложенном каким-то неописанным пунцовым бархатом; в колпачке или шапочке, которую вышивала золотом и шелками шемаханскими какая-нибудь страдалица с спеленанной талией, с стесненным сердцем, с сжатой, сдавленной грудью. Он зевает; но на лице его нет ни скуки, ни грусти, ни задумчивости: он зевает от неги; он упоен еще вчерашним днем, и в нем только что пробуждается желание опохмелиться настоящим. Сонными глазами, с улыбкой смотрит он на нежно свешенную кисть руки и на кольцо: бриллианты крупнее горьких слез. День давно уже на дворе, пробрался и в переднюю — долго ждал: наконец *monsieur* дозволил ему осветить себя, и Жозеф впустил его в комнаты.

Вот он. Как бы его назвать?.. Назовем — *monsieur* Медов. Это название так идет к нему, и неизвестно, происходит ли от Медов, или от *Medhof*, или от *Meadow*. Можно надеяться, что вы не будете осматривать его с ног до головы и обратно, потому что это не водится в свете, а если водится, то означает презрение. Вы не будете замечать, какие у него глаза. Смотреть в глаза также неприлично: смотрит в глаза без нежности только подобоострастие, когда ждет подачки. Вы не будете испытывать, умен ли он и знающ, потому что па это испытание, может быть, не достанет собственного вашего ума и познаний. У него еще нет недвижимого имения, кроме зеркала, вмазанного в ка-

¹ он делает свою карьеру (*франц.*).

² обувь (*франц.*).

мин наемной квартиры, роскошной живописи и паркету; но это ничего не значит: по новейшей науке, все движимое легко обратить в недвижимое. А все движимое господина Медова — превосходно: какая роскошная резная мебель! какие вещи!.. все рококо! Что за тканые цветы раскинуты по полянам гостиной, кабинета и спальни! Вернее всего, что над ними трудилось не ремесло, а пламенная любовь. Какие кенкеты!¹ Как хорош его рабочий стол, перед которым какой-нибудь великий бородобрей брест ему кончик бороды, сам фабрикант *великой фабрики париков* завивает его и перед которым лично трудится он обмывать лицо нежной, пухлой губкой, подравнивать усы, подчищать ногти, перетирать свои кольца и внимательно осматривать или делать *la revue générale*² благообразию своему в складное зеркальцо. На этом столе все есть, что только может приятно и полезно занять утро молодого светского человека. Тут — фарфоровая книга с ароматами: в ней *bouquet à l'Impératrice*³, немая из Портичи и амброзия; тут — содовое мыло и мыло из амбры, и бальсамическое мыло; тут — молоко Дианы и благовонная бумага Мекки; тут — гребни из мамонта и черепахи, из золота и пальмы; тут — тьма инструментов, щетки для головы, для *favoris*⁴, для зубов, для ногтей; *cure-dent*, *cure-ongle*⁵ с чудными ручками, мило, стройно разложенные, чистые, опрятные, как будто ввек не тронутые, вечно новые, никогда не употребляемые и готовые на смотр, как вещи солдатского ранца. Какие флаконы, с гранью, с живописью! Какие шкатулки, несессеры!.. Другой стол — *нижменный* стол. Тут, на узорчатой дамского сукна салфетке, прямо — семь дней недели; влево — хрустальный сфинкс распростерся на живописной бумаге для писем и преимущественно записок; вправо — бронзовая Венера покоится на чернильнице, два дельфина образовали хвостами бассейн для гербовых облаток; влево — механические стальные перья с английским патентом; вправо — павлин распахнул свой эмалевый хвост для сигар; влево — статуйка *мотыляющей* Тальони; прямо, влево, вправо, по всему столу разбросана тьма вещей, выделанных из лавы Везу-

¹ лампы (*франц.*).

² генеральный смотр (*франц.*).

³ аромат императрицы (*франц.*).

⁴ бакенбард (*франц.*).

⁵ зубочистка, ушечистка (*франц.*).

вия, из допотопного мамонта, из остатков черепа сицилийского сорокасаженного гиганта Полифема, — вещиц, выкопанных из подземных городов и вывезенных, разумеется, прекрасными путешественницами.

Пробило двенадцать часов. Медов еще раз зевнул, и ему подали на серебряном приборе дежёне¹, чай с гренками, а Йозеф, министр всех афер, доложил о прибытии нескольких ливрейных посланцев и вручил депеши — крошечные живописные грамотки, тонкие, как газ, с каймами гирляндными, с бордюрами кружевными, нежно исписанные цветными чернилами.

Тут такая-то приказала кланяться и прислала пробитые об заклад вазы с гиацинтами; тут такая-то не может обойтись без вкусу его, чтоб решить, в каком виде рисовать свой портрет и что надеть к лицу; тут такая-то пишет, что друзей не забывают, и уведомляет, что теперь может располагать известной суммой, и просит приехать сейчас же.

Без сомнения, это дело касалось до возобновления мира, и его немедленно же должно было ратификовать. Взглянув на записку, Медов крикнул: «Одеваться!»

Пара платья только что снята с *mannequin*² модного портного, у которого все стекла и стены украшены фряжскими щеголями последней моды и последней позитуры, который снимает мерку анатомически, с дробной математической точностью. Над сертуком, похожим на кафтан *валета*³, старые люди посмеялись бы и сказали, что в таком платье (ошибка: читай — *пальто*) хорошо бегать от долгов и играть в горелки; но старые люди и сами поклонились моде в ноги. Мода, как Будда, не велит различать ни возрасту, ни породы, ни звания, ни состояния; притом же покрой сертука так хорош, что до прибытия новых образцов из Парижа лучше выдумать нельзя. Сукно, как китайский атлас; сидит впору, гладко, ловко, как кожа; нигде не жмет, не ежится: можно подумать, что в этой паре платья на свет родился. На батисте, прилегшем к груди Медова струями, запонка с яхонтом, который годился бы украсить *гадж* шегин-шаха⁴. Бархатный жилет — с нашивными шипками, пли, как говорят ботанисты, распуколками роз; пашее — шаль из какой-то толсто-великой материи, завя-

¹ завтрак (*франц.*).

² манекена (*франц.*).

³ слуги (*франц.*).

⁴ головной убор шахиншаха.

занная пухлым узлом; золотая цепочка так хороша, что можно ее употреблять вместо оков сердечных; модные перчатки — цвету рукавиц. Тоалет кончен; Бальзак в руке, Циммерман на голове; кабриолет подан; у дорогого копя хвост, во славу английского вкусу, опахалом; жокей пестр, как шут; шелковые с золотой канителью вожжи куплены на дамском базаре, в залах Благородного собрания, и их работал не шорник. Медов едет; толкучий народ рассыпается на стороны; из проезжающих экипажей кивают головки; он отвечает приятной улыбкой и легким движением головы и туловища. Он едет к тадамте такой-то. Но через час он уже будет на бульваре, в толпе промышляющих золотым временем.

Двигаясь почти механически вперед, изломившись немного назад, Медов, прищурясь, лорнирует вправо, влево и вдаль и вдруг очутился между двумя группами дам как между огнем и полымем. Как по команде «дирекция на средину», перья двух шляпок колыхнулись; с той и другой стороны раздалось «Ah, monsieur» — два звука таких, которые не могли быть в одном аккорде. Нельзя же было кланяться в обе стороны и представить из себя Януса. Медов не потерялся: он звучно произнес «Ah!» — и остановился поднять хлыстик, выпавший у него из рук. Новый букет дам вывел его из затруднения, и он пристал к первым знакомым.

Затруднение Медова при описанной встрече происходило от неопределенных отношений его к шляпке лунного цвета, украшенной перьями марабу, и к шляпке розового цвета, осененной перьями крылатого верблюда. Первая была княжна Варвара Туровская, вторая — Аглая Ангорская. Княжна Варвара была добрая, милая девушка, но не красавица, но не богата, но немного с излишеством чувств. Обставленная родством с историческими лицами, связями со всем, что составляет силу времени, она озарялась последними лучами заходящего великолепного солнца полубогов. Рыцари, поддерживающие щит на фронтоне дому князя Туровского, лишились уже рук и ног; стерся и герб на огромной карете, сооруженной для пуга; бессменная четверня некогда гордых коней устала возить ее: а между тем надо доездить век и вывозить дочь!

А розовая шляпка?.. О! эта девушка нравилась всем безотчетно, как драгоценная жемчужина. Право обладать ею и говорить самому себе и другим: «Она моя» — заклю-

чало в себе какие-то особенные прелести, какое-то высокое очарование, словом, поэзию, по выражению современных прозаиков. Красота ее была так полна, с такой очаровательной обстановкой... И в этом-то заключается дело. Но обратимся к дому князя.

Князь был прекрасный, добродушный человек, с тонким, прозорливым умом, но с мягким сердцем, уступчивым нравом, особенно в отношении к настойчивой воле княгини. Он не любил ссор за пустяки и привык издавна считать пустяками все, что делалось против его смыслу и желания. Князь и княгиня долго поддерживали пышность своего дому, не отставая ни от обычаев времени, ни от привычки держать вокруг себя сотни услужников и угодников, офицантов, малых и больших болванов, гайдуков и карликов. Но после 1812 года, когда все старое погорело вместе с Москвой, обрушились портики великолепных палат и вместо палат вознеслись семиэтажные каменные отделения квартир; и вместо одного герба над домом стали красоваться по стенам сотни вывесок; и вместо одного подъезду тысячи входов с нумерами; и вместо барина тысячи господ,— весь дворовый люд, успевая также в просвещении, обращался постепенно в барских бар и способствовал князю прожить все свое великолепие. Имение заложилось, перезаложилось, обратилось в долг; а князь и княгиня доживали последние годы и последние средства, в надежде воскресить феникса выгодным замужеством дочери.

В один из последних балов, которыми они проявили достоинство свое в свете, был представлен им Медов, в возрасте мужества, наружности приятной, со всеми тонкостями светских движений и выражений, Медов, тот monsieur, который взошел на горизонт большого света родственником одной пожилой дамы. По легкости и смелости обращения и приемов можно было думать, что он перепял их по крайней мере в Париже, если не во всех гостининых европейских столиц. Он так умно, красноречиво и пленительно говорил улыбкой, взорами, движением головы и колебанием туловища, что мог бы обойтись совершенно без языка, если б большой свет не нуждался в восклицаниях удивления и похвалы. С ним так все были разговорчивы, особенно женщины, он так умел поддерживать целые монологи говорящим вниманием, что ничье воображение не истощалось, ничей язык не уставал заговариваться и

повторять, за неимением новостей, тысячу раз одно и то же. О чем бы ни шла речь, она его занимала и умом, и чувством, и остротой; он слушал ее с любовью и участием. Большой свет так тонок и проницателен, что для него достаточно умного и внимательного молчания, чтоб изведать ум и познания человека. Трудно ли узнать знатока музыки по впечатлениям, которые производят на него превосходные пассажи? Он невольно приходит весь в движение, и это значит, что в нем самом есть те же струны, те же гармонические звуки и мелодическая, поющая душа.

Сначала княгиня приняла Медова как обыкновенного светского человека, но вскоре сама удостоверилась, как приятна, умна и занимательна его беседа. Княгиня была словоохотлива, Медов так возбuditельно внимателен. Он как будто питался разговорами с нею, являлся сначала как ежепедельный вестник новостей, потом как «Московские Ведомости», в среду и субботу, а наконец — ежедневной газетой. Сообщив все современное, он с наслаждением переносился в прошедшее и вздыхал по нем вместе с княгиней. Когда и князь начинал рассказывать о политике европейских дворов осемнадцатого столетия, о делах предков и собственном участии в механизме государственного управления, Медов как археолог обожал древность, любил развалины и предания и не обращал внимания на жизнь новую, молодую. Княжна Варвара также не была забыта: нередко переходила она от общего разговору о вчерашнем дне и днях прошлых в другую комнату, к роялю и задумчивому ожиданию, не уступят ли ей отец и мать хоть на несколько слов Медова. Медов и не произносил к ней более нескольких слов, но так умно и мило, что не только княжна Варвара, но и всякой убедился бы, что смысл заключается не в словах, а в голосе.

У княгини не было сына, а недостаток сыновней любви есть большой недостаток для сердца женщины. Смотря на молодых людей, она всегда смотрит на них с особенным вниманием и, кажется, ищет между ними похожего на идеал, каким она представляет собственного своего сына. Она завидует заботам матерей и праву ласкать и нежить юношу, который бренчит уже саблей и шпорами, не отстаёт от людей или, *à la mode*¹ по моде, вышаркивает кадрили на скользком паркете, дав свободу голове произ-

¹ выламываясь (франц.).

вольно держаться на плечах, а рукам опадать, как отве-сам, от тяжести белых перчаток. Княгиня в Медове видела все, что желала бы видеть в родном сыне, смотрела на него материнскими глазами.

Таким образом, Медов был почти друг дому, но безопасный для княжны. Ему должно было отдать справедливость: он не соблазнял ее души. Казалось, что она была для него недоступна, как святыня для грешника, но с каким-то родственным чувством он заботился только об ее судьбе и оберегал ее от наваждений женихов, недостойных ее руки.

Богач и действительный статский советник стал часто посещать дом. Князь понял цель его и, по всем расчетам, рад был отдать за него дочь, но княгиня напугана была последствием неровного брака: Медов рассказал ей тьму несчастных случаев.

— Страшная бездна между двадцатью годами и пятидесятью! — говорил он ей. — Какой же муж для семнадцатилетнего существа вот хоть, например, *monsieur le conseiller d'état*?¹ Он будет ревнивым дозором над сердцем, жаждущим жизни. Скупец запрет ее в четыре стены и дозволит вход в дом только своим родственникам, партнерам рублевого виста.

Княгиня вполне разделила мнение Медова.

В гостиной княгини явился новый гость, гвардейский ротмистр Санский. Он введен был в дом, как водится, с некоторыми предувещаниями. Княгиня с первого разу оказала ему особенное внимание; князь не томил его рассказами о прошлом, но сам внимательно слушал его рассказы о подвигах в персидскую войну.

— Есть же такие странные люди, для которых цель жизни — визиты, балы, карты, *rendez-vous*!² Положат на все это нравственные и вещественные свои силы и потом ищут средств поддержать их женитьбой! — сказал Медов княгине, когда вышел ротмистр.

Княгиня догадалась, на чей счет сказаны были эти слова.

— В десяти домах бывают они с одной и той же целью — прицениться, где выгоднее, — прибавил Медов и потом склонил разговор на другие предметы.

¹ господин статский советник (*франц.*).

² свидание (*франц.*).

Не успел еще новый искатель быть трех раз с визитом у княгини, как пронесли под сурдиной слухи, что он женится на Ладиной.

— Может ли быть! — говорил, удивляясь, Медов. — Я скорее бы думал, что он женится на которой-нибудь из Собольских: он, кажется, так близок был в доме.

— На которой же?

— Не знаю. Но, кажется, Ирена волочится за ним.

— Вот забавно! Скорее Мари.

— А вернее всего кажется, что где две певесты в доме, там не женишься ни на одной.

— Но главное: отказали ему или он сам отказался?

— В сущности, все равно; но во всяком случае лучше самому заблаговременно отретироваться.

— Не думаю, чтоб он сам на это решился.

— Ну, глупо!

— Глупо, ужасно глупо! Удивляюсь Санскому!

Этих семян достаточно было, чтоб расплодить толки об отказе в доме Собольских и об новом сватовстве. Разумеется, что слухи дошли до Ладиных. Ладины стали встречать ротмистра сперва испытательных оком, а потом очень щекотливым для самолюбия. Он перестал ездить в дом: а из этого родились новые толки под сурдиной, вследствие которых и княгиня, припоминая слова Медова, стала очень холодно встречать Санского. Посещения его и здесь прекратились. Князь вздохнул и пожал плечами.

Можно было бы подозревать Медова, что он, отклоняя других, сам имеет тайные замыслы на руку княжны. Но что ж для него княжна? Состояние ее отца пришло в совершенный упадок; открытая, светская жизнь постепенно изменилась в тишину келейную; приемы и выезды кончились; сохранились только отношения родства и та *haut consideration*¹, которой знаменитая порода никогда не теряет. Только неизменный Медов продолжал посещать постоянно внимательную княгиню как друг дому: другого титула он не искал, хотя и видел, что чувства княжны так же привыкли к нему, как и чувства ее матери.

Когда Медов пропускал день, княгиня спрашивала Варепьку: «Что это значит, сегодня Медов не был у нас? Без него скучно».

Вопросы матери дали и дочери право спросить иногда:

¹ большое уважение (франц.).

«Что это значит, monsieur Медов не был у нас?» — а вместе с этим и право скучать без него.

Носясь по паркетам и выигрывая общее внимание, людское самолюбие начинает наконец добиваться чего-нибудь выше гостиного звания *homme comme-il-faut*¹, ему хочется какого-нибудь звания классного, почетного, какого-нибудь значительного чину. Но каким же образом и его приобрести на блестящем поприще гостиных?.. Трудно!.. невозможно!

— О, княгиня! — сказал однажды Медов. — Я присажую к вам отдыхать от светского шуму! Час от часу увеличиваются знакомства и так развлекают меня, что я желал бы посвятить себя службе.

— Давно я думала об этом. С вашим умом и познаниями вы можете приносить пользу и быть государственным человеком. А сверх того не должно пренебрегать звания.

— Совет ваш для меня — закон. Но скажите же, какую избрать мне службу? Согласитесь сами, нельзя же мне разорвать связей с обществом и вступить в писцы.

— Без сомнения, кто ж посоветует вам идти в писцы?.. Но какую же должность избрать бы вам?

— Разве по особым поручениям?

— Именно! Место почетное, а между тем идут чины и награды.

— Но затруднение...

— Можно похлопотать, — сказала княгиня тоном, который значил: «Это для нас легко».

— Что для вас возможно, княгиня, то не для всякого возможно.

— Это уж мое попечение. Мне пужно только решительно знать ваше намерение.

— О, я так дорожу вашим участием!

На княгиню нельзя было не положиться. Она сказала сама себе: «Я его выведу в чины», — и копчено! Деспотически распоряжалась она родными со влиянием в свете, как бабушка внучками.

— Что ж, *mon cher*, будет ли толк в том, что я говорила?

— Княгиня, право не знаю... Это дело затруднительное.

¹ приличного человека (*франц.*).

— Этих затруднений я знать не хочу!

— Неужели вы думаете, что я не исполнил бы вашего желания?

— Кто ж говорит это? Знаю, что исполнишь. Поезжай-ка, поезжай, да и не приезжай, покуда не будет по-моему!

Медов был определен по особым поручениям. Медов был определен над чем-то почетным смотрителем. Медов начинает уже жаловаться на тягости службы: ему надо быть и здесь и там, на все бросить свой взгляд, все обдумать, все привести в порядок и... мало ли дел!

— Это ужасно! — говорит княгиня. — Им попадись только умный и деятельный человек, все на нем повезут! А лентяи стоят в стойле и двойной корм едят!

И она хлопочет об Медове как об сыне. А известно, как хорошо быть маменькиным сынком. Папенька «пустил корабль на море, отдал богу на руки», а маменька для любимого сына готова переделать весь мир божий, поднять на ноги всех от мала до велика, и своих и чужих, чтобы укатали перед ее сыном дорогу, срыли горы и засыпали моря. Сын в службе: цени и то, что он трудится носить мундир! Папенька рад, когда сына и без вины наказывают, по пословице «без вины мука — вперед наука», а маменька рада, когда сына даром награждают, по своей пословице «все-таки лучше!».

Княгиня знала, как делаются дела в свете, знала, что если к чему нельзя подойти сбоку, так можно подойти со стороны.

Немного прошло времени, а Медов далеко уже подвинулся вперед. Княгиня любовалась на него как на собственное произведение. Он вошел в полные права на ее материнское сердце: она иначе и считать его не хотела, как сыном.

Сначала заговорили было в городе об отношениях его к дому князя; но в продолжение трех лет эти отношения не изменялись, и все забыли об них, тем более что на Медова падало подозрение не в отношении только княжны Варвары: флюгер его отношений в свете повертывался по собственному его произволу; по нем нельзя было даже узнать, с которой стороны дует ветер. Если Медов не привыкал и не отвыкал, то княгиня и дочь ее более и более к нему привыкали и ревновали к другим знакомствам. Когда доходили слухи о чем-нибудь, касающемся до сердца Медова, не одна уже княжна изнемогала от мысли, что

он, может быть, любит другую, но и княгиня стала бояться, чтобы кто-нибудь не сглазил его.

Только князь был спокоен в отношении Медова: ему казалось, что причудливая княгиня нашла в нем угодливого молодого человека, которого можно иногда послать вместо записки, заставить читать или говорить, когда хочется слушать, и слушать, когда хочется говорить. Но княгиня неожиданно открыла ему глаза.

— Варе почти двадцать пять лет.

— Да.

— Об ней надо подумать.

— Кажется, что мы об ней и думаем.

— Но, кроме нас, кажется, никто об ней не думает.

— Кого ж заставишь думать?

— Особенно когда в приданое достаются долги.

— Когда были женихи, так мы от них в сторону: теперь не навязывать statt!

— Я думаю, что если б женился на ней и не очень значительный человек, но с умом и умением извлечь из имения все выгоды и поправить дела...

— Сыщи такого человека.

— Я нашла.

— Ого!.. А кто такой?

— Прекрасный человек, благородный человек.

— Есть три благородства, княгиня: по роду, по душе и по званию. Боюсь, что избранный тобою не более как его благородие или, много, его высокоблагородие.

Князь не хотел догадываться, а княгиня не хотела сказать, покуда не внушит князю собственного мнения о Медове.

— Лучшее, образованнейшее общество света, в котором он живет, — порука за него.

— Мало ли кто теперь в лучшем, образованнейшем обществе! В нем теперь есть разного сорту ремесленники.

— У него не так еще значителен чин, но его легко вывести в люди.

— Вывести!.. И то уж много выведено в люди таких, которых надо выводить из дому!

— Я одно желаю знать: ты не будешь противиться отдать дочь свою за камер-юнкера?

— За камер-юнкера?.. Кто ж он такой?

— Покуда тайна.

Княгиня совершенно привела в тупик князя и отклонила его подозрение от Медова.

— Странные женщины! — сказал он.

После этого разговору княгиня решительно стала заботиться о Медове как о родном сыне и будущем зяте. Она добыла ему еще несколько почетных должностей. А между тем холера как нарочно проявилась, чтоб убить тысячи, а Медову доставить средства к отличию. Ему поручена была целая часть города. Сама княгиня заботилась о пожертвованиях на больных в эту часть. Пожертвования были огромные и приписаны заботам Медова. Помощник его был исправен, и, следовательно, каким бы то ни было образом, прямым путем или стороной, польза была принесена, и Медову легко было доставить в награду почетное звание.

— Теперь и в свете и в службе карьера ваша сделана, — сказала княгиня, когда он явился к ней в шитом мундире, — теперь вам остается жениться.

Медов скромно улыбнулся.

— Я сама буду вам искать невесты... Вы положитесь на мой выбор?

— О, княгиня! — отвечал Медов с чувством благодарности. — Я столько обязан вашему участию в отношении ко мне... Если б я мог надеяться...

— Отчего же не надеяться? — спросила княгиня, уверенная, что поняла его, и ожидая сознания.

— Надежды так обманчивы! — сказал Медов с выражением грустного чувства. — Думаешь видеть берег, приближаешься к нему, и... призрак рассеялся! Признаюсь вам, княгиня, я разочаровываюсь светом. Что он? Чего ищешь в нем? К чему все эти заботы?

И Медов встал, отошел к окну.

— Сегодня должны бы были одушевлять вас радостные чувства, потому что вы получили новую награду; а вы, напротив, как будто огорчены чем-нибудь. Скажите мне, что вас тревожит. Я приму в вас родное участие.

— Вы спрашиваете, княгиня?.. Меня тревожит даже то, что я должен теперь смотреть на часы и торопиться туда, где мне тяжело быть... Скажите, радость ли мне, что каждая степень возвышения более и более оковывает мою свободу, связывает со светом и вводит в новые отношения. За эту честь я буду расплачиваться золотым временем, которое доставляло мне прежде столько наслаждений. Я не

могу уже располагать им произвольно, не могу быть там, где хочу, а должен быть там, куда призывает обязанность должностных отношений. Например, теперь, в эту досадную минуту...— И Медов с сердцем взглянул снова на часы.— Я бы желал провести время в приятной беседе с вами, а вместо того должен скакать, являться, ждать приему; потом в заседание... Если б вы знали, какая это тоска!..

— Так я вас жду к себе обедать.

— Весь мой день растерзан на части. Обедаю также по обязанности, на именинах, и вперед уверен, что и вечер мой пропадет там же.

«Бедный Медов! — подумала княгиня, когда он вышел.— Он создан для спокойствия семейной жизни; его тяготят и рассеяние света и должностные отношения... В самом деле, как несносно лишиться свободы располагать по произволу своим временем!.. Что значит, однако ж, эта безнадежность, на которую он мне жаловался? Стало быть, он искал в Варе привязанность к себе и не нашел?..»

— Медов уже уехал? — спросила княжна Варвара, войдя в комнату.— А я торопилась одеваться, чтоб взглянуть на него, пристал ли к нему мундир.

— Да он вдруг заторопился, как будто именно для того, чтобы ты его не видала,— отвечала княгиня, смотря испытующим взором на дочь.

— Для чего же это?

— Право, не знаю. Я даже сказала ему, что ты торопишься одеваться, чтоб взглянуть на него; но он как будто не слышал моих слов.

Княжна Варвара вспыхнула.

— Я не знаю отношений ваших,— продолжала княгиня,— может быть, вы в ссоре между собою?

— В каких же отношениях, маменька, мы можем быть, чтоб ссориться?

— Так, может быть, ты была невнимательна к словам, равнодушна к угождению, не хотела отвечать... Мало ли самых простых вещей, которые обижают человека и заставляют его удаляться!

Княжна, как виновная, покраснела снова.

— Медов,— продолжала княгиня,— человек, достойный особенного уважения, с добрым, нежным сердцем, дорожит нашим вниманием, и потому малейшее невнимание его тревожит. Он как родной принят в нашем доме. Мне

неприятно бы было, если б это невнимание он встретил в тебе.

На это замечание, которым княгиня хотела дать почувствовать дочери многое, княжна не знала, что отвечать. Она в самом деле решилась с некоторого времени избегать разговоров с Медовым, встречать его не радостной, но холодной улыбкой. Этому были причиной выведенные ею слухи, что он почти ежедневно бывает у Ангорских и равнодушен к Аглае Ангорской. Холодным обращением с Медовым княжна думала испытать его сердце в отношении к себе. Она явно видела, что Медов даже не заметил притворной ее перемены. Она готова уже была сознаться себе самой: «Он меня не любит!» — и излечиться от любви безнадежностью, как вдруг сама мать говорит ей: «Люби Медова, ему нужна твоя любовь». Княжна хотела сказать матери: «Отчего вы думаете, что я невнимательна к Медову?» Но скромность девушки побоялась произнести слово *внимательна*: ей казалось, будто это все равно что спросить: «Отчего вы думаете, что я не люблю Медова?» Однако ж сердце ее забилося радостно: слова матери были для нее добрым предзнаменованием.

Между тем Медов мчался к Ангорским. В день именин Аглаи он в первый раз является в блестящем шитом мундире. Взаимные поздравления: это что-нибудь да значит! И здесь Медов принят как свой в доме: и это что-нибудь да значит! Ангорский, по прежнему званию своему, привык к молодым помощникам, и теперь ему как-то пеловко казалось быть без этой подставки вроде костыля, которая повсюду обязана была поддерживать его и словом и делом. Жена его также привыкла к поворотливому и говорливому *aide-de-maison*¹, потому что муж был тяжел и молчалив. И сколько удобств иметь подобного человека при себе! Можно с полной доверенностью все поручить, попросить куда-нибудь съездить, купить, сказать что-нибудь кому-нибудь, посмотреть за людьми: словом, удобства неисчислимы!

Не успели еще разнестись слухи о красоте шестнадцатилетней Аглаи и о намерении отца ее проживать доходы с двух тысяч душ в Москве, Медов уже был знаком в доме: *monsieur* не мог уже без него никуда схать, а *madame* надавала ему тьму маленьких поручений. Только Аглаи нисколько не занимал фрак: она привыкла к мундирам,

¹ своему человеку в доме (*франц.*).

а уважала только кавалерийские. Это была девушка во всем смысле военная. До самого приезда в Москву, все памятное время она прожила между военными. Первый фрак увидела она в Москве. «Фи! что это такое!.. без шитья!.. без эполет!.. воротник откладной!.. хуже отставного мундира!» И Аглая не могла смотреть без хохоту на *фракийцев* московских. Живая, веселая, беззаботная, она привыкла к откровенности военной и потому без церемоний говорила в глаза:

— Фи! что это вы носите!.. Как это можно порядочному человеку носить фрак?.. И шляпа какая смешная! круглая, без кокарды и султана! Ни шпаги, ни сабли, как под арестом! А на шее какой узел!.. Фи!

Все светские полотеры, образчики последних мод, теряли при Аглае ловкость свою: она осматривала их с ног до головы и обратно, с готовностью хохотать. Они боялись при Аглае кивать всем корпусом, носить руки фертом: она преспокойно, в глаза, передразнивала все светские манеры, вывела из моды шаркать в кадрили и заставила всех просто ходить. Только Медов не робел перед Аглаей: он знал, что время ко всему приучит и что покуда прекрасные черные глаза Аглаи не поймут достоинства фрака, до тех пор она — неприступна для фрака. Он знал, что в ожидании этой перемены опасность предстоит только от наличных в Москве мундиров и от приезжающих из Петербурга колетов, ментиков и различной военной униформы. Медов, посещая почти ежедневно Ангорских, вел себя предосадным образом для Аглаи: он именно делал то, что она передразнивала и называла смешным; смотрел на нее равнодушно; видел, что она существует на свете, но не замечал, что она — красавица и стоит страдальческой любви. Но он заботливо следил и наблюдал за теми, которые ухаживали за Аглаей и могли иметь влияние на ее сердце. Как добрая мамушка старых времен, он старался предохранять ее от сетей любви.

Первый, кто возмутил было душу Аглаи с первой кадрили, был князь Осокин, прекрасный молодой человек, с необыкновенными усиками. Медов своим полицейским вниманием заметил, как этот зажигатель бросил искру в ее сердце. Не дав искре долететь до пороху, Медов потушил ее собственным самолюбием девушки.

— Как самонадеянность увлекает многих! — сказал он ей холодным и насмешливым тоном.

— Не насчет ли меня вы это говорите? — спросила Аглая.

— О, нет! Вы имеете все право быть самопадеющей. Я говорю про одного человека, который мне досаден за всех тех девушек, которым мог бы он нравиться.

— Кто такой?

— Я одно скажу: это — cheri¹ московских дам, прекрасный собою мужчина, но так много думает о себе, так играет женщинами...

— А что?

— А что бы вы подумали о человеке, который бьется об заклад, что он влюбит в себя всякую, какую угодно девушку?

— Вот прекрасно!.. всякую девушку!.. может быть, всякую дуру! — произнесла горделиво Аглая.

— Ну, нет! Он столько самолюбив, что его выбор всегда падает на цариц балов, и он уже выиграл не один подобный заклад. И как жаль мне одной!

— Скажите, кто он такой?

— Не далее как сегодня я слышал новый его заклад вот с этим другим господином. Я сижу на креслах, что за дверьми маленькой гостиной. Они вошли и не заметили меня. «Об дюжине бутылок шампанского! — сказал он. — Я эту птичку заставлю петь мне про любовь!»... Какая дерзость!

— Да скажите же, кто такой?

— Нет, не скажу. Со временем, может быть, сами узнаете.

— Я буду сердиться на вас, если не скажете.

— Сердитесь. Я буду терпеливо переносить ваше сердце.

— Фи! какой вы холодный человек! Я вас не люблю!

— Ваша добрая воля. Я не бился об заклад, чтоб влюбить вас в себя.

Аглая вспыхнула, повторила: «Я на вас сердита!» — и отошла от Медова. Но в душу ее запало сомнение.

Как в этот вечер было небольшое общество у Ангорских, танцевали под фортепиано и танцующих кавалеров было немного, то князь почти долгом считал ангажировать Аглаю на мазурку, которую, вопреки моде, она очень любила.

¹ любимец (франц.).

Когда он подошел к ней с искательным взором, Аглае точно как будто кто-нибудь шепнул: «Вот он»,— и ей вдруг сделалось страшно. Она бы рада была отвечать «Нетанцюю» или «Ангажирована», но невозможно было. Она села, по новому обычаю, на стул, сложила смиренно ручки. Князь поместился подле нее.

После нескольких пустых вопросов и предисловий к разговору, на которые Аглая отвечала довольно холодно, князь решился, по французскому выражению, *пощупать* сердце ее. Князь полюбил в Аглае не только красоту, роскошно обставленную, но и воинственный дух: его идеалом была всегда жена укладистая, готовая скакать как денщик с его высокоблагородием на перекладных и не отставать от супруга, когда он гоняется за зайцами. Он иногда воображал блаженство и в том, чтоб жена распила с ним вдвоем бутылку шампанского. Аглая показала ему способною составить его счастье на всех этих условиях. «С ней не должно церемониться,— думал он,— надо форсированным маршем идти к ее сердцу!» С первых двух-трех встреч он заметил в глазах ее в отношении к себе что-то такое, какую-то готовность воспринять ощущения любви.

— Во вторник вы будете в Собрании? — спросил он ее.

— Буду.

— Позвольте мне быть вашим кавалером на первую кадрили...

— Ах, нет!.. я не буду.

— Почему же?

— Так.

— Как жаль!

— Что ж тут жалкого?

— Я хотел танцевать с царицею бала,— сказал князь, употребив форменное выражение.

— С царицею бала?.. — «А, это он!» — подумала Аглая и спросила с притворным равнодушием: — А мне что ж до этого за дело?

Князь улыбнулся, считая слова Аглаи за желание остеречь.

— О, большое дело! Без вас не будет и царицы бала.

— Не понимаю, это какая-то загадка,— сказала Аглая сухо.

— Которую всякий тотчас разгадает.

— Не понимаю. А кто ж царь бала?

— Его выберет сердце царицы.

— Каким же образом вы, прежде избрания, назначаете себя избранным?

— О, нет! Я только могу желать и искать этого счастья,— отвечал князь, несколько смутясь.

— А имеет она сама право выбирать не из числа соискателей?

— О, конечно! — отвечал князь, не зная, что отвечать на подобный вопрос, несжиданный и колкий для каждого искателя.

— Так я бы советовала ей избегать претендентов, которые самонадеянно, прежде времени, назвали ее своей.

Хоть эти слова не были логическим выводом из предыдущего вопросу, однако Аглая не заботилась о логике. Подозревая, что князь избрал именно ее предметом закладки, и, убедившись в этом его льстивыми словами, она не утерпела, как оракул, чтоб не похвастать тем, что она знает вся сокровенная, и не сказать вперед, что поход его будет неудачен.

Князь в самом деле пошел навстречу ей довольно самонадеянно и потому, приняв слова Аглаи на свой счет, смутился. Чтоб прервать незаметно разговор, он спросил:

— Это, кажется, третья фигура?

— Нет, последняя,— отвечала Аглая, заметив его смущение и торжествуя в душе, что разорвала расставленные сети паука.

После этого Аглая так явно стала оказывать невнимание к князю, с такой холодною ленью поднималась с места, когда он приглашал ее танцевать, так заботливо уклонялась от разговоров с ним, обращаясь к кому-нибудь подле стоящему, что, казалось, ненависть заступила место первого впечатления, которое он в ней произвел. Но когда он стоял задумчивый и безмолвный в кадрили с другою девушкой, Аглая смотрела на него и сама задумывалась. И в эти минуты все чувства в ней про себя шептали: «Ах, если б он любил меня истинно!» Часто, спрятав голову в подушки, Аглая снова повторяла эти слова и засыпала, мечтая о блаженстве быть им любимой. Но сон ее был всегда страшен: ей все снилось, будто князь Осокин пьет уже выигранное шампанское, смеется над пей; а однажды представилось ей, будто он держит новый заклад, что сведет с ума ее Фидельку. «Нет, изменник! — вскричала Аглая. — Нет! Ты успел обмануть меня, но я спасу мою Фидельку от твоего коварства! Я не позволю, чтоб ты брал

ее на руки и гладил!.. Лай на него, Фиделька! лай на этого скверного человека! искусай ему руки до крови!» И Аглая проснулась в страшном волнении. Едва являлся князь Осокин, она не могла преодолеть невольного опасения показать ему даже простое светское внимание. Особенно при Медове, вопреки чувствам, она старалась даже оказывать ему презрение. Затронутое самолюбие мужчины, который не добивается насильно любви, недолго переносит холодность. Притворная холодность убийственнее настоящей. Князь Осокин реже, реже в дом; а между тем обиженное сердце хочет вознаградить себя хоть чем-нибудь, и он, как комета, перешел в другое созвездие.

Таким образом Медов, несмотря что Аглае время было любить, отводил от нее все стрелы московских искателей ее сердца и руки и так ловко, что она на иного не могла смотреть без смеху, на другого без сожаления. Только что анонсируют в доме какого-нибудь нового и опасного человека, Медов тотчас рисует его в воображении Аглаи в такой сходной карикатуре, что она уже иначе не может его видеть.

Этот труд, однако ж, был не так велик. Но когда северные женихи прослышали об южной невесте, число отпусков увеличилось, и целые толпы, от ротных и взводных командиров до полковых командиров, представились кому следует в гостиниой Ангорского. Тут только начался истинный труд Цербера, охраняющего сокровище. Один интересный северный искатель, monsieur Т***, пошел прямо, с уверенностью в успехе, к цели. С первого вечера он очаровал собою отца, мать и дочь. Интересный monsieur Т***, опытный, как демон, возмущать женское сердце, овладел всеми путями к *таковому* Аглаи и начал разговор прямо с Невского проспекта и железной дороги.

— Так вы не были еще в Петербурге?.. Ах, какая разница — Петербург и Москва! Москва — огромная деревня. Вам непременно надо жить в Петербурге. Вы здесь ничего не видите. Кто должен украшать собой свет, как вы, должен жить в Петербурге. Не бывши в Петербурге, нельзя вообразить себе, что такое Петербург. Представьте себе: железная дорога, Тальиони, Нева, усеянная кораблями, прекрасные тротуары, французский театр... очарование! Беспрестанные балы во дворцах, у посланников... Величие, блеск, все там есть! От вас только зависит доставить Петербургу *красоту*.

Аглая не знала, что отвечать на такой длинный комплимент.

— Мне очень хотелось бы посмотреть Тальиони и картину Брюлова,— сказала она, бросив на интересного такой взор, от которого у него в голове перемешались все понятия.

— Ах, она несравненна! Двадцать аршин в длину и пятнадцать в ширину!.. Как танцует! Это — грация!

— Что ж вам больше всего в ней нравится?— спросила она с некоторой ревностью к красоте Тальиони, несколько не думая о картине.

— Выправка групп и драпировка колориту... Чудны!

— Ах, нет! я не об ней спрашиваю.

— Ах, я думал, что вы говорите о Тальиони!.. Извержение Помпеи мне нравится особенно.

— Нет, Тальиони?

— Виповат!.. О, она в «Сильфиде» несравненна! Тальиони — первый живописец в мире: это уж признано! Во всех газетах пишут.

Между тем как интересный сбился с толку, не заметив сам этого, Медов наблюдал за Аглаей, которая также не могла дать отчету, слушала она интересного monsieur T*** или думала об нем. Медов подходил то к одному, то к другому из своих знакомых, заводил беглый разговор и мимоходом собирал сведения об интересном. Наконец он подошел к Ангурской.

— У вас сегодня собралось неожиданно довольно много гостей, и большая часть не знает, что делать без тапцев,— сказал Медов, показывая на военную молодежь, которая тоскливо бродила по комнатам в ожидании, когда враг оставит Аглаю или Аглая ускользнет от него, чтоб быть общим кумиром.— Можно было бы танцевать хоть под фортепиано.

— В самом деле,— сказала Ангурская.

— Так я скажу mademoiselle Аглае.

И с этим словом Медов подошел к Аглае, увлеченной в разговоре с monsieur T***.

— Мне поручила маменька вам кое-что сказать,— прошептал он ей скоро и таинственно.

— Что такое?— спросила Аглая с удивлением.

— На минуту,— продолжал Медов, отходя и взглянув на интересного, как будто извиняясь, что нарушил разговор.

— Да скажите же, что за тайна такая?— спросила Аглая, встав с места и подходя к Медову, который, сделав несколько шагов, остановился в ожидании ее.

— Маменька зовет вас к себе: она хочет, чтоб танцевали под фортепиано. Попросите mademoiselle Тихую играть.

— Только-то? Я думала, бог знает что! Извините,— сказала Аглая, обратясь к интересному, и пошла к матери, а Медов сел подле него, на месте Аглаи, как *свой человек* в доме, как человек, который старается занять гостя во время отсутствия хозяйки.

— Вы в первый раз в Москве?

— О, нет!— отвечал monsieur T***, воображая, что Медов если не родной, то по крайней мере cousin¹ Аглаи.— Лет десять тому назад я был здесь.

— Не правда ли, большая разница с Петербургом?

— И конечно. Совершенно другая жизнь.

— Совершенно! По общему мнению, в Петербург надо ехать служить, а потом в Москву — жениться. Там нужна протекция для получения хорошего места, а здесь — сваха, для приискания невесты с хорошим приданым. И прекрасный обычай!.. вам поднесут список, и вы преспокойно можете выбирать, как блюдо по вкусу и карману.

— Неужели это еще водится здесь?

— О, и как! Я полагаю, что вы женаты, и потому вам нечего опасаться преследований свих. Но если бы вы были холосты, они не оставили бы вас в покое.

— К несчастью, я холост.

— О, так ожидайте предложений! Здесь иначе не смотрят на новое лицо, явившееся в обществе, как на человека, приехавшего жениться. Вас познакомят со всеми домами, где только есть невесты.

Интересному показалось довольно щекотливым это замечание.

— Что ж, тем лучше! — сказал он сухо. — Скорее к делу!

— Я распорядилась, извольте ангажировать дам,— сказала Аглая, подходя к Медову.— Вы танцуете, monsieur T***?

— Нет, не танцую.

— Так танцуйте вы со мной,— сказала Аглая, обращаясь к Медову с намерением показать интересному, что она желала танцевать с ним.

¹ двоюродный брат, кузен (*франц.*).

— Престранный человек этот господин!— сказал Медов Аглае, когда они стали в кадрили.

— Чем же странный?— спросила она с готовностью возненавидеть Медова, если он найдет какой-нибудь недостаток в интересном.

— Помилосердуйте! ни с того, ни с сего начал мне рассказывать, что приехал сюда жениться!

Сказав эти слова, Медов начал продолжать шассе¹.

«Жениться?.. стало быть, у него есть невеста?» — подумала Аглая, и с этим вопросом казалось, что сила увлечения, которой она предалась, вдруг исчезла; взор, всматривавшийся тайком в интересного, вдруг отпрянул от него.

— Что вы сказали?— спросил Медов, воротясь на место.

— Вы говорите, у него есть невеста здесь?

— Я сам думал так и спросил его об этом. «И, помилуйте!— отвечал он.— В Москве невест много, есть из чего выбирать».— «Но каким же образом успеть познакомиться, узнать девушку, сблизиться с ее чувствами и понятиями в короткое время вашего здесь пребывания?» — спросил я. «Вот забавно!— отвечал он.— Не душу узнавать — душа у всех женщин одинакова, а число душ...» Мне так странно показалось это, что я...

Медов остановился, заметив, что monsieur T*** подходит к Аглае.

— Как хороша музыка кадрили,— сказала Аглая, обращаясь к нему.

— Прекрасная!

— Это из «Невесты»,— продолжала Аглая, говоря неправду, с намерением кольнуть интересного.

— Неужели?.. Бесподобная!

— Вы видели «Невесту» в Москве?

— Нет еще!

— О, посмотрите! Приезжать в Москву и не смотреть «Невесты»!.. Многие нарочно для этого приезжают из Петербурга.

— Я не знаю, когда дают ее.

— Кажется, *завтра*, и только один дивертисмент в приданое,— сказал Медов, увлекая Аглаю в бессмысленные, кукольные движения французской кадрили, столь необходимые для этикетной, церемонной жизни.

¹ фигура танца.

Ангорский и жена его, с которыми познакомили интересного именно как прекрасную партию для их дочери, пригласили его *быть своим* в их доме. Monsieur T***, увидя Аглаю, как нельзя более хотел воспользоваться этим приглашением. Он ухаживал за ней. Но и в отношении к нему первое впечатление было потушено.

— Знаете, какая новость?— сказал Медов через несколько дней.— Monsieur T*** собирает об вас статистические сведения!

— Это что значит?— спросила Аглая, презрительно улыбувшись.

— Да разными окружными дорогами он допрашивал меня, чисто ли ваше имение от долгов, не заложены ли ваши души в Опекунском совете. Извините, я не знал, что отвечать ему... Без сомнения, он имеет какие-нибудь намерения...

— Фи!— произнесла Аглая, сделав маленькую гримаску отвращения.

— Но послушайте, mademoiselle Аглая,— продолжал Медов,— для чего это презрение? Много ли таких людей, которые носили бы покрой одежды, нравящейся вам, и вместе искали собственно вас, а не вашего богатства? Вам также нравится не просто человек, а его звание, его личный наружный блеск; и вот является перед вами герой, который поправил для женитьбы свое здоровье на Кавказе и приехал сюда жениться на той, которая также ищет в мужчине приданого — его звания и его блеску.

— Как вы колки! Неужели вы думаете в самом деле, что для меня значат что-нибудь подобные вещи?.. Пожалуйста, не ревнуйте меня к наружности, хотя бы она была вся облита золотом!

— Аглая, вам легко сказать мне подобные слова, даже в шутку, но я прошу вас не бросать искры в порох. Если все эти господа, которые смотрят вам в глаза, не довольствуясь простым вниманием вашим, и легко сносят взгляд, который равняет их с прахом, то я не таков: я бываю у вас в доме, вижу вас, пользуюсь ласковым расположением вашим ко мне и не погонюсь за опасным, неверными надеждами на большее счастье, чтоб не лишиться моего умеренного счастья.

Медов отошел от Аглаи.

В первый раз еще слышала Аглая подобное, прямое объяснение в любви, не требующее в ответ ни *да* ни *нет*

и которого нельзя было ни принять, ни отвергнуть. Это самоотверженное бескорыстие любви, которая в маленьком бренном существе видит что-то сверхъестественное, довольствуется ее ласковым расположением и не дерзает помышлять об обладании, поразило Аглаю. В первый раз почувствовала она сладостное щекотание самолюбия и забылась, как Веста в неосязаемых объятиях Неба.

«Ах, какой странный человек!» — подумала она, смотря на Медова, который что-то одушевленно рассказывал ее матери и дал волю игре черных глаз, но ни одного взгляду на Аглаю, взгляду, смущающего девушку.

С этой минуты Аглае как будто стало все яснее. Не зная еще любви, она поняла, что любовь не иначе должна ценить ее, как ценит Медов. Все раболепно расточаемые льстивые речи ее красоте и совершенствам потеряли для нее всю силу прелести и соблазну, как для современных любовников сентиментальные речи, клятвы и коленопреклонения любовников прошедшего столетия.

Оградив себя от подозрений в искательстве сердца Аглаи, Медов приобрел этим право быть проще и откровеннее в обращении с нею. Он никогда не говорил с ней о себе, не говорил и об ней самой; но разговор его всегда касался до нее: он говорил о мужчинах, которые желали ей нравиться, о женщинах, которые могли соперничать с нею в красоте и совершенствах. Тех и других повергал он холодными сарказмами к ее подножию. Каждый раз беседа с ним была для нее торжеством и победой. И Аглая не чувствовала, как, удовлетворяя ее самолюбию, Медов отклонял ее от всякой искры, которая могла запасть на ее горячее сердце.

Интересный, будучи обласкан отцом и матерью Аглаи, не отстал бы от своей цели покорить ее чувства и руку; но Медов, отклонив ее собственное внимание от этого опасного искателя и внушив ему подозрения насчет себя, сделал ее совершенно неприступною даже для удовольствия сказать ей несколько слов.

Только что интересный подсядет к ней и готовится завлечь ее внимание к своим словам, Медов уже тут, с каким-нибудь предложением, с какой-нибудь шуткой, после которой всякий серьезный приступ интересного к разговору никуда не годится. Только что он начнет лорнировать Аглаю, чтоб приблизиться к ней, Медов уже успел шепнуть Аглае: «Смотрите, берегитесь! Лев прикинулся лисой,

крадется к вам и сейчас же спросит о вашем здоровье». И Аглая едва может удержаться от смеху, когда интересный подойдет к ней с пошлым вопросом о здоровье.

— Мое здоровье?.. я ничего не чувствую,— отвечает она.

Разлетевшись скорым шагом к атаке, атакующему показалось неприятным переменять его на церемониальный и начинать с объявления отцу и матери, что он желает *приобрести* руку дочери. Он еще был довольно молод, самонадеян и желал, чтобы девушка лично оценила счастье быть его супругой. Явившись искателем в дом Ангорских, ему невозможно было переменить вдруг дирекции, и потому он возвратился по первому пути в Петербург и стал поносить красных невест московских с таким же ожесточением, с каким барон Брамбеус хвалит наши московские романы.

Слухи об отношениях Медова к дому князя Туровского мало занимали Аглаю. Но в день своих именин, когда он явился в первый раз в парадном камер-юнкерском мундире, она спросила его между прочим:

— Вы, я слышала, часто бываєте у Туровских?.. Приятный дом?

— Это мое давнее знакомство,— отвечал Медов.— Князь и княгиня так меня любят, что, право, как ни скучно иногда проводить настоящее золотое время в воспоминаниях прошедшего, я жертвую им много времени.

— Но не все же вы проводите время с стариками: у них есть дочь, и, говорят, милая, образованная девушка?

— Все это правда. Но для чего вы спросили меня об этом таким странным тоном?

— Нисколько!— отвечала, несколько смутясь, Аглая.— Я так спросила.

— Нет, не так: вероятно, какие-нибудь московские слухи?

— Может быть.

— Например?

— А вы признаетесь, справедливы они или нет?

— О, конечно! Но я предупрежу вас: верно, говорят, что я женюсь на княжне?

— Да.

— А я скажу вам... только между нами... что этого быть не может.

— Отчего же?

— Оттого что я не приневолю своего сердца ни для княжества, ни для богатства.

— Княжество вам и не достанется, хоть и жепитесь на ней; а в приданое, кажется, будет только то, что на билетах — «урожденная княжна Туровская».

— Кто это вам сказал?

— Это известно.

— А мне известно совсем другое... но только между нами!.. а именно, завещание ее тетки, которая назначает ей в приданое двести пятьдесят тысяч; известны также и бриллианты ее матери, по крайней мере на сто тысяч; а в дополнение князь, как последний в роде, передает свои права тому, кто женится на его дочери.

— И вы отказываетесь от всего этого, если вам предлагают?

— Во-первых, этого не предлагают, а во-вторых, все это не составило бы моего счастья.

— Так, стало быть, вы не видите в княжне расположения к себе?

— По крайней мере до сих пор и не заботился испытывать ее расположения.

— Отчего же не заботились?

— Это легко решить.

— В самом деле, легко: вы — холодный человек? довольствуетесь сами собой?

— А вы это заметили? — спросил Медов, устремив проницательный взор на Аглаю.

— Да, — сказала Аглая, смутясь и не зная, что ответить, — почему знать?.. может быть, княжна вас любит... А для вас это все равно!

— Это еще *может быть*. Но что вас любят все, у кого только есть чувство и сердце, в этом нет и сомнения. Однако ж вы до сих пор были холодны ко всем и довольствовались сами собой... Так не упрекайте же меня!

— Как вы злы! — сказала Аглая.

Медов ничего не отвечал. Аглая задумалась. Сердце ее, как голубь, которого ловец отовсюду спугивает и гонит к сети, утомилось без пищи и стремглав бросилось на приманку.

— Вы на меня рассердились? — сказала она, заметив, что Медов берет шляпу.

— Нет, — отвечал он, — ваш упрек наказал меня за притворное равнодушие. Мне должно было с самого пача-

ла выпить чашу, наполненную ядом безнадежности, а не приучать себя к этому яду ежедневными приемами по капле.

Сказав это, Медов сделал движение, как будто хочет идти.

— Я вас арестую,— сказала Аглая, вырвав шляпу из рук Медова.

— Если я виноват, то поеду под арест к себе в дом.

— Нет, вы не поедете!

— Отчего же?

— Так я хочу!— отвечала Аглая.

На лице ее разгорелся румянец, взоры блуждали.

— Полноте, Аглая! Я не желаю, чтоб вы были даже малейшим поводом к моему ропоту на вас!

— Не желаете?— сказала Аглая вспыльчиво.— Я вас не удерживаю!

Она положила шляпу и вышла из комнаты.

— Она не поняла меня: тем лучше!— сказал Медов, отправляясь домой, чтоб снять оклад, а потом ехать на вечер к княгине, где связь отношений его дошла до конца и должна была заключиться глухим узлом или распуститься, как вязаный снурок. Княжна Варвара была счастлива в этот день. После разговору с матерью боль сердца вдруг унялась, да душе так стало весело и спокойно, мрачные мечты исчезли, как ночь. «Вот заря моего дня!» — думала она, радостно всматриваясь в мерцание надежды, этого северного сияния на берегах ледовитой жизни. В уверенности, что Медов не будет ввечеру, она не томилась по обыкновению ожиданием, не была скучна и рассеянна, не прислушивалась, едет экипаж мимо или остановился у подъезда, не вздрагивала, когда отворялась дверь в залу с едва слышным скрипом, внятным только для раздраженных нервов больного.

Она сидела подле рояля и с особенным одушевлением пела одну из баллад Алябьева. Подле нее сидел, облокотясь на рояль, le prince Basil, cousin¹ в третьем колене, молодой ветрогон, дутик большого света.

Во всякое другое время Медов мало заботился о расположении духа княжны, чем она занимается и что ее занимает. Но в этот раз, явясь нежданно, Медов окинул значительным взглядом княжну и ее кузена и прошел, не сказав ни слова, к княгине.

¹ князь Василий, кузен (франц.).

— Не могу... трудно...— сказала княжна, сбившись с такту и взяв несколько фальшивых нот голосом.

— Ах, продолжайте, продолжайте! Это невозможно!.. я в восторге!.. я не слышал вас так приятно петь, как вы сегодня поете!— вскрикнул князь Василий, умоляя княжну продолжать.

— Я не ожидала вас,— сказала княгиня, усаживая подле себя Медова.

— Благодаря обычаю уезжать не прощаясь, я воспользовался им и бежал от скуки.

— Кто ж велит вам быть там, где вы скучаете?

— О, многое! Чтоб обеспечить для себя одно приятное знакомство, надо иметь для отводу злословия тысячу не-сносных знакомств; а неприятнее всего то, что эти пустые знакомства вводят часто в такие отношения, которых не знаешь как избежать: хочешь прекратить посещения, ищут повсюду, схватывают как беглеца, увозят к себе насильно... Я не знаю, что делать!

— Где ж это вы попали в такие отношения?

— Сначала ездил в дом только по зову: что же?.. оклаивали предупредительностью, разными поручениями; заговаривали разговорами и наконец свели все это на намеки, будто я искал и, следовательно, должен взять!

— Скажите, какая дерзость! Мне кажется, я догадываюсь... это что-то в восточном духе,— сказала княгиня, намекая на Ангорских, которых она всегда называла Иата-рами.

— Добро бы сколько-нибудь оказывал внимания девушке! Но у меня не только в сердце, но и в голове ничего не было... Вот счастье: где не ищешь, там как оса в глаза; а где ищешь, не находишь!

— О, так у вас уже есть на примете!.. а я еще вызвалась помогать вам!— сказала княгиня с усмешкой, убежденная, что это касается до ее дочери.

Княгиня опасалась несколько отношений Медова к дому Ангорских, но он сам разуверил ее в этих опасениях; и для княгини не оставалось уже сомнений, что Медов любит княжну Варвару.

— Благодарю вас, княгиня, за это участие; но... прежде всего мне нужно собственное убеждение. Я должен еще испытать, могу ли я надеяться на счастье.

— Charmant! charmant,— повторял князь Василий, входя в гостиную,— бесподобная музыка!

— Ах! это, кажется, новая ария?— сказал Медов, вставая с кресел и выходя в залу, где княжна все еще сидела подле рояля и, задумавшись, пересматривала какие-то ноты.

— Вы сегодня особенно хорошо пели, княжна,— сказал Медов довольно резким тоном.

— Вы не слыхали и хвалите!— отвечала княжна.

— Я и не имел права слушать, потому что вы не для меня пели. Но я повторяю слова князя Василия: он в восторге от вас.

— Его похвалу я принимаю не иначе как за светское приличие.

— Напрасно вы так думаете: я знаю, что он от души хвалит вас, точно так же как и граф Стремин.

Княжна усмехнулась.

— И особенно барон Лони.

— Странны ваши замечания!— произнесла, вспыхнув, княжна.

Граф Стремин был молодой камергер, также дальняя родня княгине; полковник барон Лони — состоящий по кавалерии, красавец собою, богач, раненный слегка в руку, но ни разу не раненный еще в сердце, соловей, о котором вздыхали все розы Москвы. Камергер и барон изредка бывали в доме князя, но никогда ни взгляд, ни слово, ни даже обыкновенное светское внимание их не польстили княжне. Она понимала это, и потому слова Медова, особенно касающиеся до барона Лони, тронули ее, тем более что ей было бы обидно, если б кто-нибудь мог подозревать, будто и она не равнодушна к общему идолу гостиных.

— Что ж странного, если я также заметил то, что вы должны были заметить?— отвечал Медов.— Впрочем, со стороны все заметнее.

— Я не понимаю вас,— сказала княжна, по лицу которой разлился пылкий румянец.

— Повторите, княжна, тот романс, который вы пели для князя Василия.

— Я для себя пела, а не для князя Василия.

— Что это значит?.. вы сердитесь?

— Нет, я только не понимаю сегодня вашего языка.

— Извините меня: я плебей, и чувства мои говорят простонародным языком.

Медов отошел от княжны, возвратился в гостиную, проговорил до девяти часов с князем и княгиней, про-

стился с ними и снова явился в гостиную Ангорских, где только что начинался вечер.

— Помните или забыли уже сердце свое на меня?— спросил он, подходя к Аглае.

— Забыла,— отвечала она довольно сердито.

— Вы могли забыть по двум причинам: или не считая меня *достойным вашего сердца* или... Но не довольно ли этой одной причины, Аглая? Скажите мне.

Аглая, вместо ответа, склонила взор и покачала головой.

— Аглая! понял ли я вас?— спросил Медов, взяв ее руку.

Ответа не было. Но не всегда он и нужен. Медов не стал повторять вопросу, чтобы понять, что отвечала бы Аглая, если б скромность девушки не связывала ей языка. Он сжал ее руку: ответ и здесь не был слышен. Но его можно было чувствовать.

Таким образом, судьба Аглаи была решена в промежутках приглашения на кадрили и первой фигурой кадрили.

После подобного молчаливого объяснения, иногда выказанного без воли сердца, в минуту особенного состояния души, в минуту жажды, когда горящие уста готовы припасть к дождевому потоку,— после подобного объяснения девушка чувствует страх и уклоняется от разговору, в котором руки счастливец влекут ее уже как жертву в объятия, а раскаленные уста налагают таинственную печать на все, к чему прикасались прежде только взоры. Но Медов понимал положение Аглаи: как хитрый заимодавец старается осетить должника своего предложениями и верою на слово, чтоб со временем, в минуту его крайности, взять в заклад все, чего нельзя уже и выкупить, так он вверял свои чувства Аглае, выжидая времени, когда за сладкое чувство любви она готова была пожертвовать свободой. Медов не выискивал случая, чтоб вынудить Аглаю отвечать на вопрос: «Ты меня любишь?.. О, скажи же *люблю!* скажи *я твоя!*» — Он верил слабому пожатию руки, и, не успев еще одуматься Аглая, Медов говорил уже с ней языком человека, получившего права на ее сердце.

— Странно,— сказал он во время кадрили,— не верят предопределению, снам и предчувствию... О! я верю... я на себе испытал!

— Каким образом?— спросила Аглая.

— В тот самый день, когда я собирался ехать к вам

в первый раз, я видел сон. Мне снилось, будто по зале посится светлое небесное существо и тьма молодых людей гоняется за ним, ловит его. Истомив преследователей своих, оно вдруг заметило меня и спросило: «Что ж ты неловишь меня?» — «Ты — дивное, неуловимое существо!» — отвечал я. «Нет, я твой ангел», — сказала оно, и...

— Ну? — произнесла нетерпеливо Аглая.

— Я проснулся и... когда увидел вас, я не верил своему счастью, боялся сна как обманчивой надежды, боялся и вас; а между тем тайное чувство говорило мне: «Это твой ангел Аглая».

Аглая с изумлением улыбнулась, не заметив, что рассказ сна был переходом от *mademoiselle Aglaé* к *mon ange Aglaé*¹.

Звание камер-юнкера давало Медову право надеяться, что, овладев сердцем Аглаи, ему нетрудно будет получить руку, тем более что сама *madame Ангорская* любила его без памяти, а старик муж допрашивал его уже: «Скажите, пожалуйста, ведь если вы, например, женитесь, ведь жена ваша, конечно, также будет при дворе?» — «Без сомнения», — отвечал Медов. «Вот как! Да ваше звание важнее многих других!»

Таким образом, дела Медова в доме Ангорских устраивались во благо ему, а он между тем сблизился в несколько дней с бароном Лони, стал другом неразлучным и всегда уговаривал его заехать вместе *на минуту* к князю Туровскому.

— Что тебя туда тянет всякий день? — спрашивал его Лони.

— Я хлопочу по некоторым делам княгини, и потому часто надо переговорить с ней. Мы пробудем не более получаса.

— Но мне, *mon cher*, скучно сидеть с князем, покуда ты беседуешь с княгиней.

— Волочись за княжной: я тебя ревновать не буду.

— А что, ты не имеешь ли вправду намерения?

— А что ты думаешь?

Лони в самом деле предполагал, будто у Медова важные дела с княгиней, оставлял их и по большей части болтал с княжной.

— Что это значит, — спросила наконец княгиня, — что вы неразлучны с бароном?

¹ мой ангел Аглая (*франц.*).

— Я, право, не знаю, как отделаться от него,— отвечал Медов.— Он как будто стережет меня, когда я еду к вам. Я не понимаю его цели.

— Странно!— сказала, задумавшись, княгиня.

— Я уверен, что он сейчас же прискачет, не застав меня дома.

В самом деле, через несколько минут явился барон Лони. Сказав несколько слов с княгиней и заметив, что Медов замолчал при входе его, а княгиня также была в каком-то недоумении, он подсел к княжне, которая сидела близ окна и занята была работою.

На этот раз, как нарочно, сердце княжны, раздраженное на Медова, вздумало мстить ему притворным вниманием к словам барона. Она увлекла его в разговор, засыпала вопросами, отыскивала слабую струну самолюбия, затронула ее так, что он забылся и декламировал, рассказывая о каких-то подвигах своих на Кавказе.

В первый еще раз княгиня обратила внимание на беседу барона Лони с ее дочерью. Вслушиваясь в их разговоры и всматриваясь во все движения, как будто желая проникнуть в намерения барона и в чувства дочери, она рассеянно поддерживала разговор с Медовым, который сидел мрачен и, казалось, был возмущен до глубины души.

Это еще более подало подозрение княгине. Невольно родилось в ней сравнение барона Лони с Медовым: все выгоды светского расчета пали на сторону первого. Но привычка сердца считать Медова своим заставила ее пожалеть об нем, однако ж с нерешительностью — идти ли против чувств дочери или предпочесть ее собственный выбор.

— Что вы так задумчивы?— спросила она Медова.

— Так!.. думаю о том, что не стоит ни малейшего внимания,— сказал Медов небрежно.

— Мм! не стоит?— произнесла княгиня горделиво.

— Да,— отвечал сухо Медов.

Княгиня гневно посмотрела на него, а Медов, вслушиваясь в начатый бароном рассказ, которого он, по приличию, не мог прервать, порывисто встал и раскланялся.

— Куда?— спросил Лони.— погоди немного, сейчас! И он начал торопливо досказывать.

— Извини, барон,— сказал Медов,— мне необходимо съездить на несколько минут. Я не прежде как через час буду дома.

— Так прощай!

Медов сухо поклонился княжне и вышел; а княгиня, видя, что барон увлекся своим рассказом, пошла в кабинет к мужу.

— Я тебе принесла новость,— сказала она.— Оставь, пожалуйста, на минуту свою политику.

— Но это интересно, мой друг... Ну, что такое?

— Барон Лони, кажется, имеет какие-нибудь виды...

— Например?

— А вот что. Вероятно, подозревая Медова в намерении жениться на Варе, он не оставляет его ни на шаг и, кажется, испытывает его отношения к ней.

— Каким же образом ты это заметила?

— Сам Медов проговорился: он в отчаянии от этого соперника.

— Ты подала Медову надежды, допустила до короткости в доме. Это слишком уже заметно для всех, и каждый порядочный человек, который желал бы жениться на Варе, подозревая, что у ней есть уже жених, оставит свое намерение.

— Ты знаешь пословицу: «Худой жених прокладывает дорогу хорошему».

— Мм!.. чего доброго! может быть, в городе говорят уже, что Медов — жених Вари; а вернее всего, что он сам распространяет и поддерживает слухи о своей короткости в нашем доме... Конечно, трудно и поверить, чтоб мы за какого-нибудь пролаза решились отдать дочь. Но теперь он добыл звание, при котором короткость его с нами допускается только в одном случае.

— Что ж такое? Я бы не прочь, если б только Варя любила его. Но, кажется, это сомнительно: я подозреваю, что ее занимает барон.

— Это значит, что она умна, ценит себя и не допускает до унижения... О! если б барон Лони имел намерение... с богом! Он богат, прекрасной фамилии, а мне еще и тем приятнее, что я с отцом его был искренний друг... Да! это не Медов, будущий родоначальник нового рода, который, без сомнения, так же как и он, прославится паркетными подвигами.

— Да,— сказала княгиня,— если б барон посватался, я бы не стала тебе доказывать, что Медова должно предпочесть. Выйди же к барону: он здесь.

— Здесь? Сейчас... Разумеется, если он стучит в двери,

то не для чего медлить отворять их,— сказал князь, выходя из кабинета.

Между тем барон, кончив рассказ, хотел уже ускользнуть от княжны, которая, по выходе Медова, вдруг стала задумчива и невнимательна к словам барона.

— Куда, барон?— вскричал князь вслед ему.— Нет, не годится так поступать с другом вашего отца! Покажетесь на минуту — и вон!

— Князь, я обещал Медову ехать вместе...

— И, полноте! — перервал князь, как будто шутя.— Не мешайте Медову! Ведь он теперь камер-юнкер: обеспечив честолюбие, он, верно, теперь хлопочет обеспечить и сердце, а ваше присутствие для него невыгодно.

— То же может быть наоборот и со мной, князь,— отвечал в том же тоне барон.

«Ага!» — подумал князь, приняв эти слова не за шутку.

— По крайней мере,— сказал он,— не у меня в доме. Дружба вашего отца ко мне не совсем еще уплачена, а вы — наследник его. Оставайтесь же у нас обедать, попросту, без церемоний.

Барон не мог отговориться. В первый раз князь распространился особенно о покойном своим друге, а княгиня об удовольствии, которое доставит сын его, посещая их дом. Это излишние дружбы действовало и на княжну. Она с особенным расположением села после обеда за рояль по просьбе Лони, тем более что ей хотелось испытать истину сказанного Медовым. «Неужели в самом деле барон меня любит?» — подумала она и стала замечать за бароном. Ей показалось, будто Медов не совсем обманулся.

«Что ж? — рассуждало ее огорченное сердце по-французски, — если Медов *делает из себя трудного*, то и я не так легка, чтоб быть игрушкой его капризных чувств».

С этой мыслью княжна встретила Медова довольно холодно по прошествии двух дней, во время которых он не навещал княгини, как будто пользуясь также правом обиженного сердца.

Княжна даже не спросила, против обыкновения, почему он не показывался.

Но сердце княжны недолго выдержало месть свою.

— Как вы скучны! — сказала она с чувством, желая даже звуком голоса высказать себя и изгнать ревность из сердца Медова.

- Да! я стал очень скучен,— отвечал Медов.
- Отчего это? Признайтесь мне.
- Оттого что есть люди занимательнее меня.
- Я совсем не в том смысле вас спросила.

— О! если в другом смысле, то я не знаю, чему же радоваться моей благородной породе, у которой в гербе — не корона, а корзина с плодами! Увлечись возможностью войти в гостиную монументальных людей, вообразить, будто можно сродниться по чувствам с этими богами, и страшно обмануться в надеждах своих...

— Что ж вас обмануло? Не сами ли вы обманываетесь?

— Кого ж я могу обвинять, кроме себя! Я и говорю, что я обманулся: именно я! Или, лучше сказать, мои чувства меня обманули. Но я наконец понял, что все, что сияет, может только озарять меня, но не делиться со мною светом.

Княжна Варвара приняла эти слова за упрек любви и верности.

— Женщина легко растает со своим холодным сиянием для того, кто может согреть ее жаром любви! — сказала она с решительностью, которая взволновала ее до глубины души.

И ничего больше не в состоянии была княжна сказать тому, кого любила, в сознание любви своей. С боязливостью ожидала она уже сочувствия в ответе Медова, но он холодно спросил:

— И вы думаете, что княжны, графини предаются без угрызения совести любви плебеев? Нет! — продолжал оптимистически. — Дорого заплатил простой смертный за похищение огня с неба! Ему достался в приданое ящик Пандоры!

— На кого вы сердитесь, господин Медов? — спросила из другой комнаты княгиня суровым голосом.

— Ни на кого не сержусь, княгиня, — отвечал Медов. — Мне только досадно, что долго не едет барон Лопи. Однако ж я его не буду ждать.

— Прощайте, — сказала княгиня с холодной усмешкой.

Княжна, бледная, безмолвно и неподвижно сидела: казалось, будто со вздохом, вылетевшим вслед за Медовым, она испустила дух.

— Что он говорил? — спросила княгиня, позвав ее к себе.

— Так!.. мы разговаривали... о разных предметах.

— Мне кажется, он что-то говорил тебе с выговором?

— Мне?.. Нет, маменька.

— Я не думаю, Варя, чтоб ты допустила себя до тех отношений с ним, в которых каждый шаг назад он имел бы право назвать непостоянством.

— Ах, никогда! — отвечала княжна, скрывая смущение свое.

— Эти пролазы дерзки! К каждой оказанной им ласке они готовы привязаться как к изъявлению дружбы и любви.

Горьки были княжне эти слова. Она не Медова обвиняла, но себя; хотела бы заступиться за него, но это значило бы сознаться в чувствах своих. Она торопливо отвернулась, потому что на лицо ее скатилась слезка.

— Куда ты, постой! — сказала княгиня.

— Я сейчас приду, — отвечала она и вышла из комнаты.

— Мой друг, Варя, — сказала ей мать, когда она возвратилась, — заметила ты, что барон Лони особенно внимателен к тебе?

— Нет, не заметила, маменька.

— Так я почти уверена в том, что он имеет на тебя виды.

— О, клянусь вам, что нет! — отвечала торопливо княжна, с простодушным чувством, желая разуверить мать свою в этом подозрении.

— Удивляюсь, что в двадцать пять лет не замечаешь ты различия в обращении мужчин с тобой! А я тебе скажу, что это-то именно и было причиной гневу Медова, который... также надеялся... Но его надежды слишком далеко зашли!.. Что с тобой, Варя?

Кровь бросилась в голову княжны и потом вдруг отхлынула: она побледнела как полотно.

— Не знаю... дурно, — проговорила она, стараясь встать, но все члены ее онемели.

Княгиня испугалась и сама помогла ей дойти до спальни.

Припадок княжны развился в изнеможение. Призванный доктор, разумеется, прописал лекарство от слабости нервов. В продолжение двух дней ни Медов, ни Лони не показывались в доме, а между тем любопытство княгини насчет чувств дочери старалось испытывать ее наклонности. На третий день явился барон Лони.

— Вы нас забыли, барон, что это значит?— сказала княгиня с некоторым упреком.

— Извините, княгиня... собирался в дорогу... совершенно было некогда.

— Вы едете!.. Куда?

— Срок мой кончился: опять еду служить на Кавказ.

— На Кавказ!— повторила пораженная княгиня.

— Я могу видеть князя?

— Его нет дома.

— Как жаль! Я его не увижу, чтоб поблагодарить за его внимание.

— Вы сегодня же и едете?

— Лошади готовы.

Еще несколько слов, и барон простился с княгиней.

По выходе его она задумалась, покачала головой и потом позвонила.

— Ступай сейчас к Медову и проси его ко мне,— сказала она вошедшему человеку и спустя несколько времени пошла в комнату дочери.

— Сейчас был у меня барон Лони.

Княжна с испугом взглянула на мать.

— Он приезжал прощаться... Он едет на Кавказ.

Лицо княжны ожило.

— С богом!— сказала она.

— Да, в людях легко обмануться!— сказала княгиня, вздохнув.

Мать и дочь молчали, когда возвратился посланный человек.

— Ну, был у Медова?— спросила княгиня.

По лицу княжны разлился яркий румянец.

— Был, ваше сиятельство,— отвечал слуга.

— Что ж, будет он?

— Никак нет, ваше сиятельство: они наняли другую квартиру, весь дом, а сами поехали в деревню к генералу Ангорскому. Дом-то отделяется без них... Богатый дом, ваше сиятельство... Поговаривают, что...

— Ну, что такое?— спросила нетерпеливо княгиня.

— Что к свадьбе.

Как будто ветер порывисто дунул на лицо княжны и спалнул последние листики с облетевшей розы.

— Ступай,— сказала княгиня человеку и бросилась к дочери.— Что с тобой, Варя?

— Не знаю... дурно,— проговорила княжна таким голосом, что на глазах ее матери выступили слезы.

Опять за доктором. Снова доктор отгадал причину расстройства и прописал новое лекарство. Да что ж помогут унции, граны, капли и вся аптека, даже гомеопатическая, там, где нужен только человек и взаимная его любовь? А этот человек сделал свою карьеру и... история кончена! Не выходя из гостиной, он принес тьму пользы, достиг почестей, женат на красоте, роскоши и богатстве; ни разу ни в чем не виноват: вечно прав; ничего ни у кого не отнял и между тем все взял. Это значит — управлять своей судьбой по произволу, без обиды другим, без распри, не внушая никому зависти. И кому придет в голову завидовать ему? Всем известно, что он получал награды, не *выслуживаясь*; всем известно, что его *женили*. Княжна упрекает сама себя за кокетство с Лони; княгиня сожалеет о Медове, который с отчаяния бросился в сети, расставленные ему в доме Ангорских.

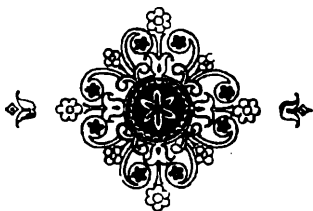
Если б вы видели теперь Медова!.. Какой теперь у него кабинет! какая у него половина! Жена живет на другой половине, дети — на *третьей*. Это так должно: человек должен быть свободен, как птица. Вскоре после медового месяца сердце Аглаи отпущено на волю: оно выкупилось тысячью душ приданого, которые Медов пустил в обороты и живет... что твоя старая жизнь княжеская, с полным домом и с полной головой забот о жене, о детях, о хозяйстве! Медов предоставил заботиться о всех этих скучных мелочах другим. Жена — на руках кавалеров-сервенте¹, дети — на руках гувернеров и гувернанток, хозяйство — на руках управителей. И все в порядке: нет ни ссор, ни распрь, ни размолвок, ни раздоров домашних, ни ревности между мужем и женой, ни скуки быть вместе, ни тоски быть врознь. Дети не бушуют по комнатам, не мешают ни думать, ни говорить, ни принимать гостей, ни выезжать в гости.

Может быть, скажете вы, что в роскоши и наслаждениях этой жизни не участвует сердце?.. Да что ж вам до сердца! К чему оно?.. сердиться?.. Сердиться — вредно и опасно. Любить?.. Еще опаснее! Так бросьте же нарушителя вашего спокойствия в кандалы, заключите его в тайники свои, не позволяйте ему выглядывать на свет и жить

¹ здесь: услужливых (*шутл.*).

на свободе. Ум, не связанный прекрасной своей половиной, сердцем, добудет вам все, как демон, проведет вас по морю аки по суху, доставит вам все земное напрокат, меблирует вашу жизнь пышно и великолепно, усладит ваш вкус, ущекотит осязание, ублажит все чувства... И как дешево вам все это достанется! Вы расплатитесь одним сердцем: что его жалеть! Когда ж послышится вам изнутри жалобный его голос: «Подайте бедному заключенному, Христа ради!» — отвечайте: «Бог подаст!» — и оно умолкнет.

НЕ ДОМ, А ИГРУШЕЧКА!



I

Мы, люди, вообще многого не знаем, многого не видим, что около нас делается, не ведаем всего, что на свете есть и чего нет. Такова, верно, природа людей; в этом-то, может быть, и заключается сущность дела: видеть и в то же время не видеть, знать и в то же время не знать. Например, все знают, что Москва сгорела во время нашествия французов; а кто знает, что сгорело в ней, кроме домов и кроме имущества жителей? Москва отстроилась напоказ, на славу, стала великолепнее и в то же время грустнее, скучнее,—точно как будто внутренний свет, эта беззаботная веселость духа вылилась наружу и оставила сердце в потемках.—Что ему там делать? — Сидит себе ни гугу. Отчего это? — Оттого, что кроме зданий и имущества погорели в Москве старинные домовые.

Как это ни странно кажется теперь, но в старину было правдой. Старинный дедушка-домовой был не призрак, не привидение, не гороховое пугало, а вот что: как говорится, во время оно каждый родоначальник, укореняясь на новоселье, с каждым новым поколением принимал почетные звания отца, деда, прадеда, прапрадеда, все жил да жил и рос в землю; год от году все меньше и меньше и наконец хоть снова в колыбельку. Дадут ему с ложечки молочка, он и заснет спокойно; а вся семья ходит на цыпочках, чтоб не потревожить дедушкина дедушку. Достигнув до возраста семимесячного ребеночка, дедушка, проснувшись в последний раз, среди белого дня говорил: «Детушки, и на печке стало мне холодно, оденьте-ка меня в белый балахончик, окутайте да уложите в печурочку. Я сосну, а вы себе живите да поживайте, не заботьтесь обо мне,

а поминайте поминайте: пищи мне не нужно, только в сорочины блинков напеките да крещенской водицы поставьте. Белого дня мне уже не выпести, а придет иное время — проснусь в почку, посмотрю, сладок ли сон ваш. Мирно все будет, и я буду мирен; а как постучу, так смотрите, оглядывайтесь, помните, что дедушка стучит недаром. Ну, вот вам последнее слово: держите совет и любовь».

Боясь дедушки-домового, все от старого до малого свято исполняли его последнее слово. Им в семье хранился мир: жили к старшим послушно, с равными дружно, с младшими строго и милостиво. Ладно и весело на сердце. А чуть что не так, дедушка стукнет, все смолкнут, оглянутся — дедушка, дескать, стучит недаром. Стерегись.

Бывало, деревянный дом, а стоит-стоит — и веку нет; стены напитаются человеческим духом, окаменеют; вся крыша прорастет мохом — гниль не берет.

То были времена, а теперь другие: и теперь есть домовый — да внутри нас; тоже заголасит подчас, да про глухого тетерева. Вот в чем беда.

До нашествия французов много было еще таких домов, со старинными домовыми, а после того, сколько мне по крайней мере известно, только два, по соседству, рядышком.

Старинные дома были как-то не то, что теперешние. Старинные дома были гораздо хуже, и сравнения нет, да в старинных домах были такие теплые углы, такие ловкие, удобные, насиженные места, что сядешь — и не хочется встать. Про печки и говорить нечего: печки были, как избушки на курьих ножках, с припечками, с печурками, с лежанками; и на печке, и за печкой, и под печкой — везде житье, а теплынь-теплынь какая! И домовому был приют. То были времена, а теперь другие. Бывало, все в полночь спит мертвым сном. Не спалось, бывало, только тому, чей день был грешен. Зато он и наберется страху от грозы домового, заклянется от греха: век, говорит, не буду! И теперь тоже говорят: век не буду, да по пословице — «день мой, век мой» — с наступлением зарп нового века принимаются за старые грехи, а пугнуть некому: старинных домовых нет, и внутренний голос осип.

Один из старинных, упомянутых нами домиков, в которых водились еще дедушки-домовые, принадлежал одной старушке. Это была чудо, не просто старушка, а молодая старушка; зато дедушка-домовой и лелеял ее сон,

ходил на цыпочках и, как домовый «Чуровой долины», вместо обычной возни наигрывал на гусях и распевал любовные песни. Дедушка в самом деле был влюблен в нее, как домовый «Чуровой долины» в княжну Зорю. И был прав: при неизменчивости душевной красоты и наружная не вянет, по крайней мере в памяти. У старушки неизменны были и ангельская улыбка, и приятный взор. Морщинки как будто еще украшали ее личико; недостаток зубков как будто придавал нежность речам: ведь выпадают же у детей молочные зубы, и это нисколько их не портит; а добрая старость тоже младенчество.

У старушки был внучек Порфирий. Она так любила его, нежила и берегла, что даже в комнате для предостережения от простуды он ходил в чепчике и грудка его сверх курточки обвязана была большим платком. Так как по старому обычаю молодой человек лет до 20 считался ребенком, то и старушка смотрела на внука своего, как на дитя, хотя ему было уже около 18 лет. Он в самом деле был премилый ребенок, и, когда летом сидел в мезонине у открытого окна, в чепчике и бабушкином платке, чтоб не пахнул ветерок на грудку, проходящие и проезжающие современные юноши заглядывались на него, воображая, что это сидит в тереме красная девушка. Не хуже красной девушки он потуплял глаза свои от нескромных взоров.

Старинный дом по соседству был как родной брат дому старушки и также с мезонином, которого боковое окно обращалось к соседу; но стекла от времени сделались перламутровыми.

Соседский дом принадлежал старичку больному, дряхлому, мнительному и капризному и от лет и от бед, которые он перенес в жизни. У него оставалось одно утешение — внучка Сашенька, ребенок — душка, каких мало. При Сашеньке была старая няня, а при самом старичке старый Борис, дряхлее своего господина, который по ночам, во время бессонницы, заговаривался уже с домовым.

В продолжение дня старик сидел в глубоких креслах, обложенный подушками, тяжело дышал от удущья и, поглядывая на внучку, которая играла подле него куколками из тряпочек, все бормотал что-то про себя. Иногда и разговорится: няня свернет Сашеньке новую куколку, внучка подбежит к дедушке и похвастается своей куколкой: «Дедушка, куколка!»

— А! куколка? — скажет старик. — Хорошо... вот стой... я куплю тебе настоящую куклу...

— Да только все обещает дедушка, — отвечает вместо Сашеньки няня.

— А вот... будет хорошая погода... так мы и поедem в город... — скажет старик, посматривая в окно сквозь тусклые стекла летних и зимних рам. — Видишь, какая пасмурная погода...

— Бог с вами, какая пасмурная, — скажет няня, — если уж эта пасмурная, так светлой-то нам и не дожидаться.

— Сырость в воздухе, — проговорит старик, — это я чувствую по себе... так и душит...

Во время ночей старик мается на постели и также все бормочет:

— Совсем сна нет... вить уж скоро, чай, заутреня? Заутреня скоро!.. О-хо-хо!

— Ого, — ответит домовой, повернувшись за печкой с боку на бок.

— Смотри пожалуй... где это стучат? Чу, стучит... а?

— Ага! — отзовется домовой.

Старик начнет прислушиваться, потом кликнет сонного Бориса и спросит:

— Где это стучит?

— Нигде не стучит.

— Что-о?

— Нигде не стучит, — крикнет Борис на ухо.

— Что ж это... в голове, стало быть, стучит?..

И старик снова начинает прислушиваться, где стучит: в голове или вне головы. А Борис, уходя, бормочет себе под нос: стучит! Черт, домовой стучит, прости господи! Ляжет, а домовой и начнет его душить за ложь и брань.

II

Так проходили годы. Сашенька подрастала, старик дряхлел и час от часу становился мнительнее и боязливее за внуку. Соблазн ему представился во всем ужасе. Припоминая свою храбрую молодость, он знал, что девушка в 15 лет как кудель: стоит только бросить огненный взор — и загорелась. Не доверяя и глазу старой няни, он без себя не стал отпускать Сашеньку даже в церковь. Напрасно няня представляла ему, что это великий грех.

— Когда ж вы соберетесь-то сами? — говорила она ему,

— А вот... погода будет лучше... поедет в соборы... в соборы поедет... покуда дома помолится... все равно...

— Нет, не все равно! грех!

— Ну, ну, ну, ты дура... По-вашему, не грех женихов выглядывать!..

— Что ж такое? А по-вашему как? По-нашему, дай бы бог, чтобы нашелся женишок Александре Васильевне,— отвечала няня с сердцем.

Старик пришел в ужас.

— Молчи!.. дура!.. Я прогоню тебя!— вскричал он.— Видишь, что говорит!.. научит еще ребенка под окном сидеть, напоказ!.. окон на улицу у меня ни под каким видом не отворять!.. слышишь? а не то заколочу! Я тебя заколочу и окна заколочу!

— Слава тебе господи, дослужилась до доброго слова!— проговорила няня, залившись слезами.

Тревожное опасение за внучку день ото дня увеличивалось. Только и думы у старика: как бы скрыть свое сокровище от обаяния какого-нибудь чародея.

«Где ж усмотришь за девочкой,— думал он,— выглянет на улицу — и беда! Вон, эво, так и шныряют проклятые ястребы — пет ли в окне добычи».

Подозрительный глаз старика так и преследовал всех молодых людей, проходящих по улице. Как на зло ему, большая часть останавливалась, чтоб посмотреть на два старинных домика. В самом деле, после 12-го года они одни красовались посреди пожарища и казались такими завидными для всех погоревших, что, проходя мимо, каждый останавливался и восклицал: «Смотри пожалуй, кругом все обгорело, а эти чертовы избушки стоят себе, как будто бы ни в чем не бывало!.. Ей-богу, на удивление!» Но вскоре все соседство как будто разбогатело после пожара — вместо деревянных домов выстроило себе каменные палаты, и снова все прохожие, вместо умильного взгляда на почтенную древность, восклицали: «Смотри пожалуй, две чертовы избушки втесались между каменных палат! Ей-богу, на удивление!»

Эти остановки проходящих и любопытство взглянуть на обросшие зеленым мохом домики мнительный старик понимал по-своему.

— Ох, эти мне,— бормотал он про себя,— глазом не видят, так чутьем слышат.

Долго придумывая, как бы охранить внучку от соблазна, старик наконец ухитрился.

— Постой, погоди, молодцы,— сказал он,— я вас провожу мимо двора щей хлебать!..

И тотчас же, несмотря ни на горе покорной внучки, ни на слезы и ропот ее няни, приказал обстричь под гребешок прекрасные волосы Сашеньки. Потом велел Борису вынуть из сундука все старое платье и принести к себе.

Притащив груду рухляди, Борис, кряхтя, сложил ее перед стариком и, казалось, начал приподнимать по очереди слежавшиеся дружно тени нескольких поколений огромного некогда семейства. Память о далеком прошедшем ожила перед двумя стариками, но барин думал о своем.

— Тут должна быть курточка Кононушки!— сказал он.

— Где ж тут курточка?— отвечал Борис, перебирая и рассматривая мужские и женские платья прошедшего столетия.— Это не курточка!

— Покажи-ко: какая ж это курточка, это камзол дедушкин...

— Эка,— проговорил Борис со вздохом,— носить бы да еще носить!.. бархат-то! а?.. Это робронт!.. Кажись, покойницы матушки... Дай бог ей царство небесное.

— Покажи-ко. Какая ж это курточка?..

— Какая ж курточка, кто говорит... кафтан-то ваш... а? шитье-то какое!.. Кажись, Палагея-то Васильевна своими руками вышивала... материал-то! Не то, что теперь!..

— Не матерчатая, а сукошная, я тебе говорю!..

— Сукошная? Так бы вы и сказали... Какая ж сукошная?.. Вот сукошный-то ваш мундир весь моль съела...

— Как моль съела? Покажи-ко.

— Словно решето.

— И Кононушкину курточку-то моль съела?..

— А бог ее знает: вот ведь тут ее нету... Разве в другом сундуке.

После долгих поисков курточка была найдена. Старик обрадовался, призвал Сашеньку и велел ей надеть, а на шейку повязать платочек.

— Для чего же это, дедушка?— спросила она.

— Для чего! Ты у меня будешь амазонка... Посмотришь-ко в зеркало... хорошо? Ты у меня будешь амазонка...

— Да что ж это, для чего ж это, сударь, нарядили так барышню-то?

— А для того, что я так хочу. Ты, дура, не знаешь ничего, так и молчи. Немножко широка... сшьем повенькую, поуже, к празднику... так и ходи. Ты у меня будешь амазонка, в амазонском платье.

— Вы говорили, дедушка, что в амазонском платье верхом ездят... Помните, проехали верхом какие-то дамы?.. Вы будете меня учить верхом ездить?

— Верхом!.. Видишь ты какая!.. погоди... вот, подрастешь, лет через десяток... а теперь и так хорошо... и под окошко сядешь... не простудишься... а то грудь и шея открытые... не годится...

Распорядившись таким образом, старик успокоился, рад выдумке. Сядет подле окна, посадит подле себя внучку и насмехается в душе над проходящею молодежью.

— Да, смотрите, смотрите!.. Каков у меня внучек? Хорош мальчик? а?.. Что ж не смотрите? Это, верно, не девочка? Такой же небось юбошник, как вы?.. Да! как же, так и есть!.. Нет! милости просим мимо двора щей хлебать!..

III

Заколдованная дедушкой от всех глаз, которые ищут предметов любви, долго Сашенька была еще беспечным ребенком, которого занимали сказки няни, птички, цветы и даже порхающая бабочка в садике. Но вдруг что-то стало грустно ей на сердце, чего-то ей как будто недостает, время от утра до вечера что-то тянется слишком долго: сидеть с дедушкой скучно, рассказы няни надоели, все бы сидела одна у окошечка да смотрела на улицу — нет ли там чего-нибудь повеселее?

— Нянюшка, отчего это мне все скучно?— говорит она няне.

— Отчего же тебе скучно, барышня?— отвечает ей няня.

— Сама не знаю.

— Оттого, верно, тебе скучно, что подружки нет у тебя.

— Подружки?— проговорила Сашенька призадумавшись.— Где ж взять ее, няня?

— А где ж взять? Откуда накличешь?

«Накликать»,— подумала Сашенька, когда няня вышла, и она стала накликать заунывным голосом под напев сказки про Алепушку:

Подруженька, голубушка,
Душа моя, поди ко мне;
Тоска-печаль томят меня.

Вдруг показалось ей, что голос ее как будто отзывается где-то. Она прислушалась: точно, кто-то напевает в соседском доме.

Сашенька приотворила боковое окно, взглянула, вспыхнула, сердце так и заколотило.

— Ах, какая хорошенькая! — проговорила сама себе Сашенька. — Вот бы мне подружка!

И долго-долго смотрела она стыдливо сквозь приотворенное окно на Порфирия, который также разгорелся, устремив на нее взоры, и думал: «Ах, какой славный мальчик! вот бы нам вместе играть!»

«Я поклонюсь ей», — подумала Сашенька. Но вошла няня, и, как будто боясь открыть ей свою находку подружки, захлопнула окно.

На дворе стало смеркаться, а няня сидит себе да вяжет чулок. Так и вечер прошел. Легли спать; а Сашеньке не спится, ждет не дождется утра.

Настало утро. Надо умыться, богу помолиться, идти к дедушке поздороваться, пить с ним чай, слушать его рассказы, а на душе тоска смертная.

— Не хочется, дедушка, чаю.

— Куда же ты? Сиди.

Ах, горе какое! — Сашенька с места, а дедушка опять:

— Куда ж ты?

— Сейчас приду, дедушка.

Сашенька наверх, в свою комнату, а там няня вяжет чулок.

Так и прошло время до обеда; а тут обед. А дедушка кушает медленно, а после обеда, покуда заснет — сиди, не ходи.

Господи! Что это за мука!

Но вот дедушка уснул. Няня вышла посидеть со старым Борисом, за ворота. Сашенька одна; приотворила тихонько окно, тихонько запела: «Подруженька, голубушка», но никто не ответит, в соседском доме окно закрыто.

Ах, какое горе!

Прошел еще день. Сидит грустная Сашенька подле няни, призадумавшись. Вдруг послышался напев ее песни, сердце так и екнуло.

— Ну, уж хорошо как-то там курныкает, печего скать! — проговорила няня.

— Нянюшка, пить хочется.

— Ну что ж, испей, сударыня.

— Мне не хочется квасу, мне хочется воды.

— Э-эх, ведь вниз идти надо!

— Пожалуйста!

— Ну, ну, ладно.

Няня вышла — а Сашенька к окну. Приотворила — глядь, ей поклонились.

— Здравствуйте! — сказал Порфирий.

— Здравствуйте! — произнесла и Сашенька.

Они посмотрели друг на друга умильно и не знали, что еще сказать друг другу.

— Приходите к нам, — сказал, наконец, Порфирий.

— Нет, вы приходите к нам; меня не пускают из дому, — отвечала тихо Сашенька.

— Экие какие!

Этим разговор и кончился; слышались шаги няни, Сашенька захлопнула окно.

На следующий день Порфирий целое утро курныкал песенку под окном. Сашенька все слышала, с болью сжималось у ней сердце от нетерпения, покуда дрожащая рука ее не отворила снова окна с боязнью.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Послушайте... выходите в садик!

— В садик? Ну, хорошо.

— Поскорей.

— Ну, хорошо.

Порфирий притворил окно. Сашенька также и побежала в садик.

— Здравствуйте, сударыня-барышня, — сказал ей Борис, беседовавший с няней на крыльце.

— Здравствуй, Борис, — отвечала ему Сашенька.

— Куда вы, барышня? — спросила ее няня.

— В садик.

— Посмотрите-ка, сударыня-барышня, какую я вам дерновую скамеечку сделал под липой-то, извольте-ка посмотреть.

И Борис потащился следом за Сашенькой.

Ах, какая досада!

— Вот, видите ли, барышня... Извольте-ка присесть.

— Спасибо тебе.

— Кому ж и угождать мне, как не вам, барышня: вы у нас такое нещечко... Дай вам господи доброго здравия да женишка хорошенького.

— Ах, полно, Борис,— проговорила Сашенька, покраснев,— ступай себе.

— Ничего, сударыня-барышня, что тут стыдно...

В соседском садике послышалось курныканье Порфирия.

«Ах, какой этот несносный Борис»,— подумала Сашенька.

— Ничего, сударыня-барышня... да и красавицы-то такой не сыщем... и дедушка-то не нарадуется на вас... Скупепек немножко, бог с ним. Вас бы не так надо было водить... в золоте бы водить, барышня, да не все дома держать... чтоб женишки...

— Ступай, Борис, оставь меня.

— Экие вы какие! Я ведь к слову сказал... Вот, сударыня-барышня, попросите-ка у дедушки на сапоги мне... Извольте посмотреть, совсем развалились.

— Хорошо, хорошо, я попрошу.

— Извольте посмотреть: пальцы вылезли.

— Хорошо, хорошо, ступай.

— Да, вот оно: у солдата купил, три рубля заплатил... солдатские-то, говорят, крепче...

Сашенька от нетерпения и досады вскочила с дерновой скамьи и пошла прочь от Бориса.

— Что ж вы, барышня, не изволите сидеть? Дерн-то какой славный.

И Борис начал поглаживать скамью и обирать с дерна желтую и завядшую травку.

Между тем Сашенька прошла подле забора.

— Здравствуйте,— раздалось в скважинку за кустами малины.

— Здравствуйте,— тихо проговорила и Сашенька, оставаясь и оглядываясь, не смотрит ли на нее Борис.

— Как я вас люблю,— сказал Порфирий.

— Ах, как и я вас люблю... Если бы мы были всегда вместе!

— Барышня, а барышня, где вы, сударыня? Чай кушать зовут,— крикнул Борис.

— О, боже мой, какая скука,— проговорила Сашенька.

— Приходите после,— шепнул Порфирий.

— После? Хорошо.

И Сашенька побежала домой.

После чаю она двинулась было с места, но дедушка усадил ее подле себя перебирать старые письма.

— О, господи, когда ж после? — проговорила Сашенька про себя, почти сквозь слезы.

Старик ужинал рано; хотелось ему спать или не хотелось, но он ложился в постель в определенное время. А тут, как нарочно, сидит себе да раздобарывает¹ с внучкой и с ее няней, потешается, что у них глаза липнут. Рассказывает себе про жите-бытье своего дедушки, какой у него был полный дом, какой сад, какое имение, какое богатство, великолепие и этикет. Призванный Борис, как живая выноска примечаний к рассказу, стоял у дверей, заложив руки назад, и по вызову барина подтверждал его рассказ.

— Помпишь, Борис? а?

— Как же, сударь, не помнить...

— А гулянье-то было по озеру, с роговой музыкой, в именины покойной бабушки Лизаветы Кирилловны... Вот, надо рассказать...

— Никак нет-с, батюшка: это было не в именины, а как раз в день рождения ее превосходительства... Как раз, сударь, в день рожденья.

— Как в день рожденья?.. Постой-ка, врешь!

— Да как же, батюшка, именины-то ее превосходительства, покойной Лизаветы Кирилловны, дай бог ей царство небесное, когда были? В октябре, сударь?

— Да, да, да!.. Экая память!..

— Дедушка, мне спать хочется, — проговорила Сашенька, зевая и привстав с места.

— Спать? А отчего ж мне не хочется? а?

— Не знаю, дедушка.

— То-то, не знаю, а я знаю. Это потому, что дедушка любит внучку и ему приятно провести с ней время.

— Да что ж, сударь, пора ночь делить, — проговорила и старая няня, зевая.

— Ты дура, ты все потакаешь ребенку! Пошли! спите!

Дедушка рассердился. Сашенька и няня, потупив глаза, молчали и ни с места.

И дедушка молчит, сурово нахмурился. И это гневное молчание тянулось обыкновенно до тех пор, покуда не вытянет душу.

¹ растабарывает, болтает.

Сашенька прослезилась, по утерла слезку: дедушка по любит слез.

— Ну, ступайте спать,— сказал наконец дедушка смягченным голосом, довольный, что дал урок в терпении.

Сашенька простилась с ним, побежала наверх, бросилась в постелю и залилась слезами. В первый раз почувствовала она тяготу на сердце, в первый раз воля дедушки показалась ей невыносимой. Ей так и хотелось броситься в окно, чтоб хоть умереть на свободе.

Няня, уговаривая Сашеньку, что грех так огорчаться, раздела ее и легла спать. Но у бедной девушки не сон в голове: душа взволнована, сердце бьется, в комнате душно; так бы идохнула свежим воздухом.

— Когда же после? — повторяла Сашенька. — Когда мне было после прийти?.. Ах, как голова болит!.. Пойду в сад...

И она обулась, надела капотик, прислушалась, спит ли няня, осторожно отворила дверь и вышла. Сени запирались задвижкой. Из сеней два шага до садика. Ночь светлая, прекрасная. Только что она подошла к липе, под которой старый Борис устроил ей дерновую скамью, вдруг что-то зашевелилось.

Сашенька затрепетала от страха.

— Это вы? — тихо проговорил Порфирий, бросаясь к ней из-за куста и схватив ее за руку.

Сашенька долго не могла перевести духу.

— Чего ж вы испугались?

— Так, что-то страшно,— проговорила Сашенька.

— Страшно? Отчего?

— Так.

— А я ждал-ждал, ждал-ждал.

Держа друг друга за руку, они присели на дерновую скамью и долго молча всматривались друг в друга с каким-то радостным чувством.

— Ах, как хорошо мне с вами! — сказал Порфирий.

— Ах, и мне как хорошо! — произнесла Сашенька, приклоняясь на плечо Порфирия.

Высвободив руку из бабушкина салопы, который был на нем, он обнял Сашеньку, приложил свою щеку к ее горячему лицу и поцеловал ее.

— Ах, если б всякий день нам быть вместе!

— Дедушка меня пикуда не пускает,— сказала Сашенька, вздохнув.

— Экой какой! И меня бабушка никуда без себя не пускает.

— Экая какая!

— Да, ей-богу, это скучно!.. Вот с вами как бы мпо весело было.

— И мне,— произнесла тихо Сашенька,

И они обнялись.

— Как вас зовут?

— Сашенькой. А вас?

— Меня зовут Порфирием.

— Как же это так? Такой святой нет у дедушки в календаре,— сказала Сашенька, которая и по дедушкину календарю, и по напоминанью няни знала наизусть всех святых и все праздники.

— Как нет?— отвечал Порфирий.— Нет есть; у бабушки в святцах есть. Мои именины 26 февраля, в день святого отца Порфирия архиепископа. И дедушка у меня был Порфирий.

— Мужское имя!

— А какое же? Что, я девушка, что ли? Я не девушка.

— Ах, боже мой!— вскрикнула с невольным чувством испуга Сашенька, отклонясь вдруг от плеча Порфирия.

— Что такое? Чего вы испугались?— спросил Порфирий, осматриваясь кругом.— Какие вы боязливые... Не бойтесь!

— Пустите,— проговорила Сашенька.

— Куда, Сашенька? Нет, не уходи, пожалуйста!

— Пустите, пустите!— проговорила Сашенька, и, вырвавшись из рук Порфирия, она быстро побежала воп из саду.

— Сашенька! дружок! послушай!— крикнул вслед ей Порфирий.

Но Сашенька уже дома, испуганная, взволнованная.

IV

На другой день няня, удивляясь, что барышня заспалась, вошла в ее комнату. Сашенька, вместо спокойного сна, лежала в какой-то болезненной забывчивости, лицо ее горит, дыхание тяжело.

Няня перепугалась; не горячка ли, подумала она. Но Сашенька очнулась, и пылкий жар лица заменила вдруг бледность, живой взор стал томен, и все она как будто че-

го-то ищет и не находит. Когда в мезонине соседнего дома раздастся напев ее песни, Сашеньку бросит в огонь; как испуганная, она вскочит с места и не знает, куда ей идти.

Так прошло несколько времени. А между тем старушка, бабушка Порфирия, отдала богу душу. Она водила его с собою только в храм божий да к своим старым знакомым обвязанного, окутанного. Теперь он свободен, хозяин дома, а располагать собою не умеет, его понятия обо всем — еще детские понятия.

Привычка к безусловной покорности бабушке передала его в распоряжение дядьке Семену и бабушкиной ключнице Дарье. Старая Дарья видела в нем еще ребенка и хотела водить его как ребенка, по обычаю бабушки; но Семен твердил ему по-свойски:

— Что вы, сударь, бабитесь, стыдно! И то бабушка-то вас продержала в пеленках, покуда все невесты ваши замуж повышли!

Слова Семена быстро подействовали на молодого человека, и он приосанился, как будто вдруг подрос. С потерей детских чувств исчезло в нем и страстное желание познакомиться с хорошеньким соседом. Он перестал напевать заунывную песенку Сашеньки.

По завещанию бабушки ему следовало навестить одного из дальних родственников, который обещался определить его на службу. Вот Порфирий и собрался к нему. Семен, сходяв за извозчиком, начал одевать своего молоденького барина и, по обычаю, разговаривать сам с собою:

— Эка, ей-богу, кажется, живые люди, а похлопотать о похоронах некому.

— О каких похоронах? — спросил Порфирий.

— Да вот, в соседском доме старик-то умер, а кругом-то его кто? Молоденькая барышня-внучка, да дура старая баба, да старый хрен слуга; туда же в гроб глядит.

— Где это, где? В каком соседском доме?

— Да вот рядом, через забор. Что за внучка-то, что за девочка, ах ты, господи!

— Тут рядом? с мезонином-то? Какая же внучка? У этого старика молоденький внук.

— Вот! Я своими глазами видел барышню. Что это за красавица такая!.. Плачет!..

— Семен, пойдем посмотрим, — прервал Порфирий, — сделай милость, пойдем!

— Да пойдемте, пойдем, отчего ж не сходить. Оно, по

соседству, следовало бы и помочь в чем-нибудь. Барышня-то молодая, а кругом-то ее что?

Порфирий схватил шляпу и побежал. Семен за ним, на соседний двор.

Сквозь толпу гробовщиков, стоявших в передней, трудно уже было пробраться. Ни в одном роде торговли нет такого соперничества и перебою. Старый Борис, отирая слезу, бранился с ними.

— Что, брат, что просят?— спросил его Семен.

— Пятьсот рублей за гроб! Мошенники!

— Не за гроб сударь, а за покрывшу, дроги и мало ли что.

— Ты молчи, ворохье чутье! Барин только что заболел, а уж эта рыжая борода приходил сюда рекомендоваться! И имя узнал! Прошу, говорит, Борис Гаврилыч, не оставить своими милостями: барин умрет, так уж мы, говорит, поставим знатный гроб и покрывшу, и все что следует... Ах ты, чертова пасть! Пошел вон!

Между тем как Семен помог старому Борису уладить торг насчет длинного ящика, Порфирий вошел в комнату, где лежал покойник. Он не обратил внимания ни на покойника, ни на толпу любопытных, вымерявших глазами длину умершего; все внимание его вдруг поглотилось наружностью девушки в черном платье, которая стояла подле стола, приклонясь на плечо старой женщины. Слезы катились из ее глаз.

Сердце Порфирия забилося как будто от испуга. Он не верил глазам своим: лицо так знакомо, это Сашенька... Нет, это, верно, его сестра... Она нежнее, белее его, у ней чернее глазки, думал он. И взор его оцепенел на ней.

— Барышне-то дурно, водицы надо... постой, я принесу,— сказал какой-то неизвестный человек с растрепанными волосами, в стареньком сертучишке, пробираясь в другую комнату.

— Куда!— крикнула няня.— О господи, и присмотреть-то некому!.. Пойдите, барышня...

И она бросилась за заботливым незнакомцем.

Сашенька пошатнулась от порыва няни. Порфирий успел ее поддержать. Она взглянула на него, и все чувства ее как будто замерли, голова приклонилась к плечу молодого человека.

— Не троньте! Извольте идти отсюда! А не то закричу!— раздался голос няни из другой комнаты.

— Что ж... я ничего... я прислужиться хотел... водицы подать...— говорил, пошатываясь, неизвестный, выходя из дверей.

— Вишь, нашел водицу на гвозде! Пошли-те воп отсюда!

— Что ж... пойду... Я вашему же покойнику поклониться хотел... последний долг отдать...

— Да, да, знаем мы вас! — продолжала няня. — Спасибо, батюшка, что поддержал барышню мою, — сказала она Порфирию.

— Позвольте мне принять участие в вашей горе и помочь вам распорядиться, — сказал Порфирий Сашеньке, когда она очнулась и стыдливо отклонила от него к няне.

— А вы кто такой, батюшка? — спросила няня.

— Я сосед ваш. Если угодно, я и мой человек к вашим услугам... Вы можете положиться.

— Да вот бы надо было послать кого-нибудь на кладбище, заказать могилу.

— Я сам съезжу, — вызвался Порфирий и, поручив Семена в распоряжение Сашеньки, отправился на кладбище. Приехав на ниву божью, он долго ходил между могил, не встречая никого, покуда не увидел выходящего из ворот дома старика священника.

— Где мне, батюшка, отыскать тут могильщиков? — спросил его Порфирий.

— Что вам, могилку, что ли? — сказал священник.

— Да, батюшка, не знаю, к кому обратиться.

— Могилку? хорошо, хорошо, доброе дело, мы очень рады, пойдемте... Чай, выберете место, а то у нас и готовые есть.

— Это все равно, я думаю.

— Все равно: здесь славные места, славные места! Сухие, грунт песчаный... Эй! Ферапонт!.. Где ты?

— Здесь, — отозвался могильщик из глубины могилы, которую он рыл.

— Что, это заказная или так, на случай? — спросил священник.

— Заказная.

— Так вот и господину-то выройте могилку.

— Ладно. Младенцу, верно?

— Нет, старику, — отвечал Порфирий.

— Так бы уж и говорили. Ладно.

Заказав могилку, Порфирий отправился назад. Истомленная бессонными ночами во время болезни дедушки, Сашенька заснула. Но за нее было уже кому хлопотать. Порфирий обо всем озаботился и, провожая покойника, шел рядом с его внучкой. Когда опустили гроб в могилу, Сашенька, почти без чувств, упала к нему на руки.

— Это, верно, жених ее,— говорили в толпе народа, собравшегося около могилы,— вот парочка.

И Порфирий и Сашенька это слышали.

Порфирий проводил ее до дому и хотел проститься.

— Куда ж вы?— сказала она ему.

Порфирий вошел в дом.

Сели и молчат, боятся даже смотреть друг на друга.

Посидев немного, Порфирий встал.

— Куда же вы?— повторила Сашенька.

— Вы утомились, вам надо отдохнуть.

— Когда же вы к нам будете?

— Если только позволите...— проговорил несвязно смущенный Порфирий.

На следующий же день он явился к соседке узнать об ее здоровье.

На этот раз она была разговорчивее, Порфирий смелее.

Слово «здравствуйте» напомнило и ему и ей первое сладостное ощущение сердца. Они произнесли его, и оба вспыхнули.

Няне ужасно как понравился скромный молодой человек.

«Вот бы парочек барышне»,— думала и она.

— Уж если б вы видели, Порфирий Александрович, как покойник наряжал барышню — смех, да и только! Совсем не по-девичьему! мальчик, да и только.

«Да, не видал!» — подумали в одно время и Порфирий и Сашенька, взглянув друг на друга и невольно улыбнувшись.

— Это амазонское платье я носила, нянюшка,— сказала Сашенька,— ко мне оно лучше шло. В чепчике хуже.

Порфирий вспыхнул. Она заметила это, поняла, что некстати упомянула о чепчике, и, также покраснев, опустила глаза и замолчала.

— Я вас и принял за мужчину,— сказал Порфирий, оставшись наедине с Сашенькой.

— А я думала, что вы девушка.

Порфирий рассказал ей, как бабушка берегла его от простуды и рядила в чепчик, платок.

— Я хоть бы опять надеть чепчик,— прибавил он.

— Ах боже мой, для чего это?

— Так... вам нравилось.

— Ах, нисколько, так гораздо лучше,— опрометчиво вскрикнула Сашенька.

— Тогда вы мне сказали...— начал было Порфирий с простодушною откровенностию сердца, но вспомнил испуг Сашеньки и замолчал.

Сашенька, казалось, также все припомнила, покраснела и потупила глаза.

Но, верно, в самой природе женщины есть хитрость.

— Что ж я вам сказала?— спросила она, не поднимая взоров.

— Вы сказали... «Если б мы были всегда вместе»,— произнес тихо Порфирий.

Сашенька снова вспыхнула и, стыдясь своего смущения, закрыла лицо руками.

V

Первая любовь пуглива, как вольная птичка; много, много проходит времени; покуда она делается «ручною». Природа ведет себя необыкновенно как умно, стройно и отчетливо. Порфирий был свободен, Сашенька также; за ними ничей глаз не присматривал, ничье ухо их не подслушивало, чувства так и влекли их друг к другу; а между тем самый строгий, ревнивый к благочестию присмотр не упрекнул бы их ни в чем. Казалось бы, им опасно сидеть вместе на дерновой скамье, под липой; сладкое воспоминание первого поцелуя должно бы было взволновать их чувства, давало право на полную откровенность; напротив: тут-то чувства их и становились боязливей. И это продолжалось до тех пор, покуда любовь выросла, созрела на сердце и вдруг в одно утро расцвела, как махровая роза. И в глазах, и в выражении голоса явилась какая-то особенная нежность. Все в них стало ясно друг для друга, они взглянули один на другого и обнялись.

— Помните, я сказал: как я вас люблю!— прошептал Порфирий.

— Помню!

— А вы сказали: ах, как и я вас люблю; если б мы были всегда вместе! Помните?

— Помню, помню!

Казалось бы, это блаженное мгновение надо было prolongить, скрыть от всех свое счастье, но Сашенька вскрикнула опять: пустите! И, вырвавшись из объятий Порфирия, побежала вон из комнаты.

— Куда вы? Чего вы испугались?— и Порфирий вообразил, что Сашенька опять так же испугалась чего-то, как в первый раз в садике.

Но Сашенька побежала поделиться своим счастьем с няней.

Порфирий задумался, сердце его сжалось, вдруг слышит голос Сашеньки: «Пойдем, пойдем скорее».

И, пригавив няню за руку, она вскричала:

— Смотри, нянюшка!

И бросилась на шею к Порфирию.

— Ах вы, баловники, греховодники! — вскричала няня, всплеснув руками и качая головою.

Вырвавшись снова из объятий Порфирия, Сашенька бросилась на шею к няне и задушила ее поцелуями.

— Ну, ну, ну, пошла от меня, бесстыдница! Пошла к своему любезному на шею! Вот погоди, поп-то вас обвиняет, а посаженный-то отец плетку даст на тебя.

Начались сборы к свадьбе.

Природа очень умно взлелеяла любовь в юноше и в девушке, решила взаимное желание их быть и жить вместе; но не дело природы было решать, где им жить.

Кажется, все равно, где бы им жить, лишь бы жить вместе. Но, верно, не все равно: покуда длились сборы к свадьбе, между женихом и невестой зашел спор: в каком доме им жить? Сашеньке хотелось непременно жить в доме Порфирия, потому что это был дом Порфирия; а Порфирию — в доме Сашеньки, потому что это был дом Сашеньки.

— Я продам свой дом,— сказал Порфирий,— мы будем жить в твоём доме.

— Ах нет, ни за что! — вскричала Сашенька. — Мы будем жить в твоём доме; лучше мой продать.

— Ах нет, ни за что! — сказал в свою очередь Порфирий. — Мне твой лучше нравится.

— А мне твой.

И вышел спор из самого чистого доказательства взаим-

ной нежности. Ни Сашенька, ни Порфирий не хотят уступить один другому в том чувстве.

— Тебе хочется все по-своему делать,— проговорила Сашенька, надувшись,— если ты свой дом продашь, то я продам свой!..

— Посмотрим!— подумал Порфирий, вспыхнув. Его затронул упрек.

Взволнованное сердце Сашеньки скоро улеглось. Она подошла к Порфирию, но он отвернулся от нее.

Новая искра огорчения. Сашенька отошла от Порфирия, села в угол, закрыла лицо руками и задумалась сквозь слезы: он не любит меня!..

— Сашенька,— сказал Порфирий, взглянув на нее. И он бросился к ней.

— Подите прочь от меня!— проговорила Сашенька.

Обиженное чувство снова возмутилось. Порфирий не перенес его, взял шляпу; мысли его были в каком-то тумане. Он пришел домой.

Там, как на беду, его ждал уже покупатель дома. Решившись продать дом, Порфирий поручил это Семену, который и сам то же советовал ему.

— Вот, сударь, извольте получить деньги,— сказал Семен, входя с каким-то мещанином,— я решил дело.

Мещанин отсчитал деньги, положил их на стол перед Порфирием и поднес ему подписать бумагу.

— Да что ж вы, сударь, подписываете, не считая,— сказал Семен.

— Как раз тысяча двести серебром, так-с?

— Так,— отвечал Порфирий, перевертывая ассигнации без внимания.

На другой день поутру тот же покупатель явился в соседний дом к Сашеньке.

— Я, сударыня,— сказал он ей,— купил у вашего соседа дом, да место маленько. Не продадите ли и вы свой? А я бы хорошие дал бы деньги.

— Он продал дом свой!— вскричала Сашенька.

— Что ж, он хорошо сделал, барышня,— сказала няня.— Он и мне говорил, и я советовала ему продать. А нам-то уж продавать не к чему: насиженное гнездо, и вы привыкли, и я. Дал бы бог и умереть в нем...

— Он продал,— повторила Сашенька.

— Продам мне, сударыня. Дрянной домишко; признательно сказать, пообмишулился я, дал четыре тысячи две-

сти, а теперь не знаю, что и делать. Продайте, сударыня! За ваш дом пять тысяч.

— Да, видишь, какой! пять тысяч! Барышня, а барышня, пожалуйста-ка сюда,— сказала няня торопливо, вызывая Сашеньку в другую комнату,— продавайте, барышня!

— Да, я продам, непременно продам!— проговорила Сашенька с обиженным чувством.

— Продавайте! Дедушка-то заплатил всего две тысячи за него, за новый!.. Пять тысяч дает! Да уж вы не мешайтесь, оставайтесь здесь: шесть возьму!..

— Продавай! Я не хочу в нем жить,— проговорила со слезами на глазах Сашенька.

— Пять тысяч капитал, а мы квартиру найдем рубликов за двести, так без хлопот будет.

И няня вышла к покупщику.

— Пять тысяч не деньги, любезный,— сказала она ему,— барышня и не подумает отдать за эту цену... Шесть, если хочешь.

— Как можно! Да уже так, дом-то мне понадобился: двести набавлю.

— И не говори!

— Пять тысяч пятьсот угодно? А нет, так просим прощенья,— сказал мещанин, обращаясь к двери.

— Ну, погоди, спрошу барышню.

Дело уже было решено, дом продан, задаток взят, пришел Порфирий.

— Здравствуйте,— проговорил он тихо, как виноватый, подходя к Сашеньке.

— Здравствуйте,— отвечала она ему, не поднимая глаз.

— Ты на меня сердисься, Сашенька,— сказал Порфирий после долгого молчания.

— Сержусь,— отвечала Сашенька.

— За что ж?

— Я вас просила, вы не послушались, вы продали свой дом.

— Он очень стар: на него на починку надо было издержать, Семен говорит, тысячу рублей...— начал Порфирий в оправдание себя.— Я и нянюшке говорил, и она советовала мне продать, а жить в вашем...

— А я по совету нянюшки продала свой,— сказала Сашенька.

— Продали!

— Продала.

— Ну, если так...— проговорил Порфирий.

— Куда вы?

— Мне падо ийти нанимать квартиру,— отвечал он и бросился воп.

— Порфирий!— хотела вскрикнуть Сашенька, но голос ее замер.

VI

Покупщик двух домов распорядился умнее Порфирия и Сашеньки: соединил оба дома пристройкой, подвел под одну крышу, и вот, не прошло месяца, из двух старых домиков вышел один новый, превеселенький дом: обшит тесом, покрашен серенькой краской, ставни зеленые, на воротах: *«дом мещанки такой-то», «свободен от постоя»* и в дополнение: *«продается и внаймы отдается»*.

Один бедный чиновник, но у которого была богатая молодая жена, тотчас же купил его на имя жены и переехал в него жить. Но в доме нет житья.

Покуда домики были врозь, все было в них, по обычаю, мирно и тихо и на чердаке, и на потолке, и за печками, и в подполье; ни стены не трещали, ни мебель не лопалась, ни мыши не возились. Но едва домики соединились в один, только что чиновник с чиновницей переехали и, палубовавшись на свое новоселье, легли опочивать, рассуждая друг с другом, что необыкновенно как дешево, за двадцать-за пять тысяч купили новый дом, с иголки, вдруг слышат в самую полночь: поднялись грохот, треск, стук, страшная возня в земле, по потолку точно громовые тучи ходят, то в одну сторону дома, то в другую.

Молодые с испугу перебудили людей.

— Э-эх, почивали бы лучше в полночь-то, так и не слышали бы ничего,— сказала кухарка, которая всегда крепко спала в законный час, а во время дня только дремала.

Но старик дворник, выслушав рассказ господ, качнул головой и решил, что дело худо: верно, домовому не понравились жильцы!

— Ах ты старая баба!— сказала кухарка.

— Я ни за что не останусь здесь жить!— вскричала перепуганная молодая хозяйка.— Ни за что!

И на другой же день муж ее выставил на воротах: *«отдается внаем»* — и тотчас же по требованию жены должен был нанять квартиру и переехать,

Вскоре один барин, проезжая мимо, остановился, прочел: *«продается и внаймы отдается, о цене спросить у дворника»*, осмотрел дом и решил нанять.

— Так ты сходи же к хозяину, узнай о последней цене,— сказал он, давая дворнику на водку.— Вечеру я заеду.

— Слушаю, слушаю,— отвечал дворник.

Вечеру он опять приехал.

Это был Павел Воинович.

— Ну что?

— Да что,— отвечал дворник, который успел уже клюкнуть на данные ему деньги и не мог ничего таить на душе.— Я вот что вам доложу, дом славный, нечего сказать... славный дом...

— Да что?

— А вот что: кто трусливого десятка, тому не приходится здесь жить.

— Отчего?

— Отчего? а вот отчего: я по совести скажу... тут водятся домовые.

— Э?

— Право, ей-богу! по ночам покою нет.

— А днем?— спросил Павел Воинович.

— Днем что: днем ничего, только по ночам.

— Так это и прекрасно,— сказал барин,— я не сплю по ночам, я сплю днем, так ни я домовых, ни домовые не будят меня беспокоить.

— Э? разве? Да оно и правда, что у господ-то все так... Ну, если так, так что ж, с богом... другой похулки на дом нельзя дать... хоть у самого хозяина спросите, он сам то же скажет.

Таким образом, несмотря на предостережение дворника, барин нанял дом, переехал. На первый же день новоселья пригласил он пять-шесть человек добрых приятелей к обеду и в ожидании гостей, похаживая себе с трубкой в руках и в халате и в туфлях, посматривал, так ли накрывают люди на стол, полон ли погребок, во льду ли шампанское, греется ли лафит, все ли в порядке. Гости-приятели съехались. Обед на славу, вино, как слеза.

Присутствовавший тут же поэт, подняв бокал, возгласил:

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,

А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово *ней!*
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.

— Ну, извини, любезный друг, до утра у меня пить нельзя,— сказал хозяин,— невозможно!

— Это отчего? Это почему?

— А вот почему: этот дом я нанял у самого дедушки домового с условием, чтобы почь я проводил где угодно, только не дома. А так как скоро полночь, то я отправляюсь в английский клуб. Вы видите, господа, что причина законная. Извините.

Пушкин захохотал, по обычаю, а за ним захохотали и все. Но хозяин сказал серьезно, что он не шутя это говорит, и в доказательство крикнул: «Эй! одеваться скорее!»

На этот барский крик никто не отозвался: оказалось, что и в передней, и в людской — ни души. Люди, уверенные, что господа занялись делом, пошли *справлять* новоселье.

— Ну, нечего делать, оденусь сам,— сказал Павел Воннович,— по на кого же оставить дом?

— А домовый-то,— крикнул Пушкин.—

Эй, дедушко! ты не засни!
По-своему распорядися с вором,
Ходи вокруг двора дозором
И все, как следует, храпи! .

— Ха, ха, ха, ха!

— Ага!— раздалось с обеих сторон дома.

— Слышишь? отозвался,— сказал поэт,— теперь можно отправляться спокойно. Слышали, господа?

— Слышали, слышали!

— Если слышали, так можно отправляться,— сказал хозяин.

И все отправились.

Только что господа со двора, а люди на двор пришли, смиренно присели в передней, как будто нигде не бывали, моргают глазами, думают, господа забавляются себе.

— Чай, до утра просидят? а?

— Фу, как спать хочется!..

— Ну, здоров пить!..

— Вот это что, так ли пьют... да я...

— Тс! черт ты! ревет!

— Что, ничего.

Только что эту беседу в передней заменило всхрипывание и свист носом, вдруг в комнатах поднялись стук, треск, возня.

— Вася! слышишь?

— А?

— Что это, брат, господа-то передрались, что ли? а?

— Что?

— Господа-то... слышишь, как возятся?..

— А бог с ними!

— Ну, и то.

И Вася и Петр задремали.

А между тем в дому как будто ломка идет.

Верь не верь, а вот произошла какая история. Мы уже сказали, что в обоих старых домиках было по домовому. Они преспокойно жили себе за печками и, видя, что все в порядке, хозяева благочестивы, лежали себе, перевортываясь с боку на бок. Когда Порфирий и Сашенька продали домики, пристройка и соединение их под одну крышу потревожили домовых, но они еще довольны были, воображая, что идет починка накатов и крыши. Только что пристройка кончилась и чиновник, купив новенький дом с иголки, переехал на новоселье, домовый Сашенькина домика, с левой стороны, приподнялся в полночь осмотреть, по-прежнему ли все в порядке.

«Хм, чем-то пахнет»,— подумал он, выходя в пристроенную между домиками залу.

Домовой с правой стороны точно таким же образом отправился по дому дозором.

«Э-э-э! вот тебе раз!— подумал он, прислушиваясь.— Это что?..»

Только что он вышел в залу, вдруг что-то стукнуло его в лоб.

— Кто тут?— гукнул он.

— Кто тут?— отозвалось над его ухом.

— А?

— А?

— Кто тут?

— Хозяин.

— А-а-а! как хозяин? Я хозяин.

— Нет, я хозяин.

- Как — ты хозяин?
- Так, я хозяин.
- Нет, я хозяин! Вон!
- Вон? Сам вон!

Слово за слово, схватились, подняли такую возню, такой стук, грохот, что никак невозможно было чиновнику, и особенно жене его, не испугаться до смерти и не выбраться поскорей из дому.

VII

Каждую ночь домовые поднимали возню и драку на чью *возьмет*; но ничья не брала. То же было и в первую ночь, когда барин, нанявший дом, отправился со своими гостями в клуб.

Стало уже рассветать, когда он возвратился домой; но что-то не весел, ему нездоровилось. Ночь не спал, и день не спится. Послал за Федором Даниловичем.

- Что?
- Нездоровится.
- Э? понимаю.

И Федор Данилович прописал что-то успокоительное.

- Это порошки?
- Порошки; принимать через час.
- Очень кстати! Я бы теперь принял лучше деньги.
- Это, конечно, лучше,— сказал Федор Данилович,

отправляясь к другим пациентам.

Барин протосковал вечер; настала ночь, и он, исполняя условия с домовым, лег спать и против обыкновения заснул.

На правой половине дома, где был дом старушки, бабушки Порфирия, барин устроил свой кабинет, а вместе и спальню. Тут же за печкой жил и домовый. Только что настала полночь, он встрепенулся, как петух со сна, и собрался с новым ожесточением на бой с соперником. Вдруг слышит, кто-то всхрапнул.

- Это кто?

И домовый подкрался к спящему, приложил ухо к голове.

— Ух, какая горячая голова! — проговорил он, отступив от постели.

— Идет! — крикнул барин во сне, так что домовый вздрогнул и на цыпочках выбрался вон из комнаты.

— А? ты еще здесь?— гукнул домовой с левой половины, столкнувшись с ним в дверях.

— А ты еще не выбрался вон?— сказал, стукнув зубами, домовой с правой половины, вцепясь в соперника.

Пошла пыль столбом. Возили, возили друг друга — уморились.

— Слушай: ступай вон добром!

— Ступай вон, как хочешь, добром или не добром, мне все равно.

— Слушай: домов много.

— Много, выбирай себе.

— Ты выбирай, я постарше тебя.

— Это откуда... я и сам счет потерял годам.

— Не считай по годам, а мерь по бородам.

— У меня обгорела в 12-м году.

— Слушай, пойдем на-мир.

— На-мир так на-мир. Давай мне дом с богатым убранством, со всеми угодьями, дом теплый, сухой, да чтоб в доме ни одной человеческой души не жило, чтоб дом был про меня одного, про дедушку-домового: я знать никого не хочу! Чтоб дом был игрушечка, а не дом.

— Видишь! Смотри, какой дом придумал: про тебя одного. А кто такой дом будет про тебя строить?

— Не мое дело.

— Молоденок надувать.

— Ну, как знаешь.

— Постой, подумаю.

— Подумаю.

— Подумаю,— повторил сам себе домовой с правой стороны,— подумаю, нет ли такой хитрости на свете.

Воротился за печку и стал думать; не ложится; вылез, ходит по комнате да твердит вслух: «Хм! игрушечка, а не дом! игрушечка, а не дом!»

— Что?— проговорил барин во сне.

— Построить дом, чтоб был игрушечка, а не дом!— отвечал дедушка-домовой, занятый своей мыслью и продолжая ходить из угла в угол.

— Игрушечка, а не дом,— затвердил и барин во сне,— игрушечка, а не дом!

Ночь прошла, домовой ничего не выдумал, а барин встал с постели, закурил трубку, велел подавать чай и начал ходить, как домовой, задумавшись и повторяя время от времени:

— Игрушечка, а не дом!.. Что за глупая мысль пришла мне в голову, ничем не выживешь — построить в самом деле игрушечку, а не дом?.. А что ты думаешь? Построю!

Продолжая ходить по комнате, курить трубку за трубкой и рассуждать сам с собою о постройке не простого дома, а игрушечки, барин выведен был из этой думы докладом человека, что пришли из магазинов за деньгами.

— Ах, каналы! я им велел вчера приходить! — крикнул барин. — Мошенники! просто ждать не будут!.. надо им еще что-нибудь заказывать... Кто там?

— Да там фортопьянный мастер, мебельщик, из хрустального магазина, да и еще из каких-то магазинов.

— Позови фортепьянного мастера.

Немец вошел.

— За деньгами?

Немец поклонился.

— Отчего ты вчера не пришел? а? — прикрикнул барин.

— Все равно, — отвечал немец.

— Нет, не все равно! вчера был день, а сегодня другой... Ну, слушай, вот еще что мне нужно: можно сделать вот такой маленький рояль, в седьмую долю против настоящего?

— Хм! игрушка? я игрушка не делаю, — отвечал немец.

— Нет, не игрушка, а настоящее фортепьяно, в эту меру.

— Это что ж такое?

— А у меня есть такой маленький виртуоз, карлик, — ему играть... Можно?

— Хм! можна, отчево не можна, все можна за деньги делать.

— Так, пожалуйста, сделай... В седьмую долю...

— В седьмая доля? Хорошо. Только эта будет стоить то же, что настоящая рояль.

— О цене я ни слова, — сказал барин, — только сделай, а потом мы и сочтемся.

— Хм, — прознес, углубившись сам в себя, немец, которого заняла уже тщеславная мысль сделать крошечный рояль на славу. — *Das ist ein kurioses Werk!*¹ — сказал он, выходя и забыв о деньгах.

Вслед за ним явился мебельный мастер, потом приказчик из хрустального магазина. Одному заказал барин рос-

¹ Ну и забавная же работа! (нем.)

кошную мебель рококо, в седьмую меру против настоящей, другому в ту же меру — всю посуду, весь сервиз, графины, рюмки, форменные бутылки для всех возможных вин.

Таким образом началась стройка и мебелировка игрушечки, а не дома. Знакомый живописец взялся поставить картинную галерею произведений лучших художников. На ножевой фабрике заказаны были приборы, на полотняной — столовое белье, меднику — посуда для кухни, — словом, все художники и ремесленники, фабриканты и заводчики получили от барина заказы на снаряжение и обстановку богатого боярского дома в седьмую долю против обычной меры.

Барин не жалел, не щадил денег.

Вот и готов не дом, а игрушка. Стоит чуть ли не дороже настоящего; остается, по обычаю, только застраховать да заложить в Опекунский совет.

Барин и призадумался об этом.

— Странная вещь, — говорил он сам себе, — князь Василий построил же гораздо глупее игрушечку, а не дом, в котором жить нельзя; его приняли в залог, а мой, я уверен, что не примут. А между тем закладывать дом необходимо: в старину *закладывали* до постройки, а теперь очень умно и расчетливо *закладывают* после постройки. Нельзя не закладывать!

VIII

Во все время, когда игрушечка, а не дом строился и снаряжался, дедушка-домовой с правой стороны был вне себя от радости и по ночам ходил вокруг него и потирал руки.

«Вот оно, — думал он, — как ухитрился свет-то... Барин этот должен быть колдун: только что я показался, тотчас узнал; только что задумался, как бы ухитриться, а он в угоду мне и выдумал!..»

— Ну, будет дом по твоему вкусу, — говорил дедушка-домовой с правой стороны своему сопернику.

— Посмотрим, — отвечал тот.

— Увидишь, — говорил этот.

— Ну, ладно, покажи.

— Постой, не готов.

— Э, лжешь!

— Верь, право-слово!

— Ну, смотри.

Прошло еще несколько времени до совершенного окон-

чания и отделки домика. Дедушка петерпеливо похаживает и сам дивится, как люди-то ухитрились.

— Истинно игрушечка, а не дом! Ну, надул же я его!

Наконец дом совершенно готов, дом на семи четвертях, состоит из великолепного салона и столовой — она же и бильярдная. Салон — пол *парке*¹, обои шелковые, мебель роскошная — люстры, лампы, канделябры, зеркала, картины, рояль, словом, все.

— Ну, пойдем! — сказал домовый с правой стороны домовому с левой и привел его в кабинет. Барина, по обычаю, не было дома. Ночь светлая; месяц отразился в окне на лаковом *парке* домика, на бронзе, на мебели: светло, как днем.

— Ну, где же?

— А вот, полезай за мной.

— Да это стол.

— Полезай!.. Ну, видишь? Что?

— Постой, борода зацепила... А-а-а-а! — проговорил с удивлением домовый с левой стороны, входя в резные золоченые двери салона.

— Что? а?

— Да! ах какая бесподобная вещь! что твоя печурка!

И домовый присел на кресла, потом на диванчик, потом прилег на подушку, шитую синелью по буфмуслину.

— Ну, спасибо. А это что? гусли?.. а? славная вещь!.. вот будет мне житье... роскошь! Не то что за печкой...

«В самом деле роскошь... — подумал дедушка с правой стороны. — Жаль и уступить... право жаль!..»

— Бесподобно! ай спасибо! — продолжал дедушка с левой стороны, растянувшись на диване. — Так уж ты владей всем домом, живи за которой хочешь печкой, а я уж здесь и расположусь...

— Э, нет, погоди еще: ты видишь, что в доме еще и печей нет.

— В самом деле, печей нет, как же это забыли печи выложить?

— Без печей нельзя... зима настанет, замерзнешь.

— Нельзя, нельзя; да скоро ли их сложат?

Уверив соперника, что к зиме сложат непременно, хитрый домовый спровадил его, а сам залег на диванчик и начал потягиваться и расправлять кости.

— Нет, приятель, извини: не видать тебе, как ушей,

¹ паркетный.

этого домика, я сам в нем буду жить... Как же это я прежде об этом не подумал? Какое спокойствие, удобства какие!.. Все как по мне делано... и зеркала какие... и все... фу, как люди-то ухитрились... Это что в засмоленных бутылках, постой-ка?..

И домовый отыскал между посудой и приборамн штопор в меру, раскупорил бутылку шампанского.

— Мед!.. мед-то какой! Фу, как люди-то ухитрились!..

Буль-буль-буль... выпил всю бутылку и заморгал глазами, прилег на диван и заснул.

А между тем и барин, построив не дом, а игрушечку, тотчас же, по современному обычаю строителей, заложил его. Поутру пришли за ним и понесли на носилках к заимодавцу.

В полночь очнулся домовый. Что за стук такой? что за гам? что за свет колет глаза? Взглянул — и ужаснулся.

Народу тьма, музыка гудит; какие-то пестрые шуты и шутики шаркают, ходят, кривляются, кричат, бормочут что-то не по-русски — страшный содом! От яркого света потемнело в глазах у домового, запрятал голову в подушку, свернулся клубком, лежит — чуть дышит.

Так прошло несколько дней. Измучился: ни дня, ни ночи покою. И днем свет, и ночью свет. Но, наконец, выдалась одна темная ночь; прислушался — кругом все тихо; присмотрелся — никого нет. Вылез из домика, побрел па цыпочках по комнатам... искать печки. Ходил-ходил — нет печки в целом доме.

«О-хо-хо! Куда это я попал!..» — подумал дедушка.

Вдруг почувал он запах печки, откуда-то псесет теплом. Глядь — труба.

— Что за чудеса такие? Бывало, трубы проводят наружу, а теперь внутрь.

Влез в трубу, полз-полз, смотрит — печь, преогромная печь посреди сырого подвала.

Что было делать? Погрустил-погрустил, подумал: «Нерыть было другому ямы, сам в нее попадешь», да и прилег, с горем, в печурке привилегированной амосовской печи.

IX

Между тем, помните, Порфирий, всплыв на Сашеньку, ушел нанимать квартиру, нанял и переехал.

Дня три дулся он и не хотел показываться невесте на

глаза. Наконец не выдержал: грустно стало, отправился к ней, подошел к дому и ужаснулся. И его дом и дом Сашеньки стояли уже без крыш, огорожены по улице общим забором.

— Братцы,— спросил он у плотников, пробравшись по наваленному лесу на двор,— не знаете ли, куда переехала из этого дома барышня?

— Барышня? А кто ж ее знает,— отвечал один плотник, потачивая свой топор на камне.

— У кого б узнать?

— А у кого ж узнать? Кто знает? а?

— А кто ж ее знает, разве у соседей спросить,— отвечали прочие.

У Порфирия облилось сердце кровью. Долго ходил он около дома, добивался у соседей, куда переехала Сашенька: никто не знает. Пошел вдоль по улице, выспрашивает у ворот каждого дома: не переехала ли сюда такая-то барышня? Нет, не переезжала. Обошел все переулки — ни слуху, ни духу.

В отчаянии Порфирий. День прошел, другой прошел — ищет, а следа нет. Избегал всю Москву; дворники гоняют его из края в край своими догадками.

— Барышня? молоденькая? Так! У нее женщина? Ну так! переезжала, да не понравилась квартира, так она вчера съехала на Разгуляй... как раз против бабы.

Порфирий бежит на Разгуляй.

— Барышня? вчера? Переехала.

— Где же она гут живет?

— А вот ступайте за мной.

И угодливый дворник ведет Порфирия в мезонин, постучал в дверь.

— Кто там? — раздался голос.

Порфирий вздрогнул.

— Вас спрашивают, — крикнул дворник.

Дверь отворилась, вышла девушка, взглянула на Порфирия с улыбкой довольствия.

— Пожалуйста!

Порфирий, вообразив, что нашел Сашеньку, бросился в дверь.

— Здесь Александра Васильевна? — спросил он, смутясь, у вышедшей из другой комнаты женщины.

— Александра Васильевна? Не знаю, жила, может

быть, а теперь мы здесь живем... Пожалуйста, садитесь, прошу быть знакомым.

— Извините,— сказал Порфирий,— я тороплюсь...

И он выбежал из мезонина, с тяжким вздохом обманутой надежды.

«Куда ж я пойду теперь?.. Где я ее найду?..» — думал Порфирий, повесив голову, в совершенном отчаянии, и шел бессознательно к бывшему своему дому.

Взглянув на новый дом, который стоял уже на месте двух стареньких, Порфирий вздрогнул, прислонился напротив его к забору и стоит, как опьянелый.

— Не придет ли и Сашенька взглянуть на бывшее свое пепелище?

Но уже смеркалось, а ее нет.

— Ах, барин, барин, что с вами сделалось?— говорит ему Семен, качая головой.

— Ищи ее, Семен,— отвечает ему Порфирий и идет снова на поиск, справляется по спискам жителей в частях: в списках нет.

Походит-походит и снова придет к дому: не придет ли и Сашенька взглянуть, что стало с ее домиком!

Однажды, прислонясь к забору, Порфирий закрыл лицо и стоял, как над могилой. Вдруг раздался подле него громкий голос:

— Порфирий! Порфирий!

Он оглянулся, Сашенька бросилась ему на шею.

— Ах, счастье!— вскричал Порфирий, обнимая ее.— Теперь ни шагу от меня!

— Ах, несчастье!— проговорила, рыдая, Сашенька.

— Что с тобой? что это значит?

— Я погибла! я замужем!

Порфирий помертвел.

— Я думала, что ты забыл, оставил меня, и вышла с горы замуж.

Сашенька залилась горькими слезами.

Порфирий стоял безмолвно, смотрел в землю.

— Барышня, барышня, Александра Васильевна, матушка, пойдемте, беда будет!— сказала испуганная няня Сашеньки, приблизясь и узнав Порфирия.

— Порфирий!— повторяла Сашенька, приклонясь на грудь его.

— Сударыня, люди идут!— крикнула няня, схватив за руку Сашеньку.

— Порфирий! Прощай! — проговорила Сашенька.
Няня увлекла ее. Порфирий замер.

Х

Спустя несколько месяцев известный уже нам барин, нанимавший дом, составившийся из двух старых, сидел однажды, по обычаю, против окна, с трубкой и стаканом чаю.

В эту минуту он смотрел во внутренность себя, но глаза его были устремлены на улицу. Казалось, что он рассматривает архитектуру дома и забора, обонпол¹ улицы.

Барин был близорук, и потому все проходящие казались ему движущимися пятнами. Но вот несколько уже дней сряду обратило его внимание постоянное пятно против забору, которое двигалось на одном месте.

Это его побеспокоило: «Это уже не наружный предмет, это, должно быть, что-нибудь в глазу», — думал он.

Кстати, приехал Федор Данилович.

— Федор Данилович, посмотрите-ко, не бельмо ли у меня в глазу?

— А что?

— Да вот, в комнате ничего, а как посмотрю на свет, против чего-нибудь белого, тотчас является огромное пятно, потом пройдет, потом опять явится.

— Глаз чист, никакого бельма нет.

— Не понимаю!.. Вот против забора опять пятно.

Федор Данилович взглянул на улицу.

— О! Понимаю!.. Так это-то у вас как бельмо в глазу!

Славное бельмо.

— Что такое?

— Бесподобное! Дайте-ка лорнет... чудо!..

— Что такое?

— Прелесть!..

— Что такое? — вскричал барин, схватив лорнет из рук Федора Даниловича и также смотря на улицу. — Ах, скажите пожалуйста!.. молоденькая женщина!

— Не сводит глаз с окна! Bravo!.. Поздравляю!.. Ну, сглазили, ушла!

— Право, я ничего не знаю, — сказал барин, — ушла!

— Верно, придет опять... Прощайте, желаю успеха.

¹ противоположную сторону.

— Куда?

— Мне надо ехать. А где же дом? — спросил вдруг Федор Данилович, приостановясь в зале.

— В закладе.

— Вот тебе раз!

— Будет: *и вот тебе два, три, четыре и т. д.*, благо есть теперь что закладывать.

Федор Данилович уехал. Барин сел у окна, вооружился лупой, смотрит на белый забор, как астроном на небо в ожидании прохождения нового светила.

— Вот она! — вскричал барин, вскочив с места. — Эй! Васька, Петр! Одеваться.

Оделся и на улицу, прямо к забору, где стояла незнакомка.

«Она еще тут», — думает барин, прищурившись и подходя к забору. — Что ж это такое? — спросил он сам себя, всматриваясь в лорнет.

Он подошел еще ближе, смотрит: перед ним молодой человек и молоденькая женщина в черном платье стоят как прикованные друг к другу объятием; казалось, целую радостной встречи спаял их уста навек.

— А-а-а! — проговорил барин почти над их ухом.

Они очнулись и с испугом взглянули на барина.

— Ничего, ничего, не пугайтесь, — сказал он, — я только посмотрел, не бельмо ли у меня в глазу.

— Порфирий, пойдем скорей, — проговорила молоденькая женщина, взяв за руку молодого человека, который совершенно обеспамятел, — пойдем, Порфирий!

И они скорыми шагами удалились.

— А-а-а! — повторил барин, — это очень мило.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем сборнике представлены наиболее значительные, сохранившие эстетическую и познавательную ценность повести и рассказы Вельтмана. Они отражают тематическое разнообразие его творчества, дают представление о своеобразии художественного метода писателя. В период литературной деятельности Вельтмана не было определенной границы между «повестью» и «рассказом» как видами прозы. В нашем сборнике оставлены жанровые характеристики произведений, данные автором.

Большинство повестей и рассказов впервые публиковались в журналах, альманахах и газетах. Были выпущены две книги «Повестей». Первая — в 1836 г. в Москве, в типографии Н. Степанова. Она имела большой успех, и в следующем году Н. Н. Глазунов переиздал сборник в своей серии «Библиотека избранных романов, повестей и любопытнейших путешествий» (т. 5). Вторая книга напечатана в 1843 г. в Петербурге издателем М. Ольхиным в типографии К. Жернакова. В сигнатуре указано: том I. Но второй том не выходил. Два сборника включали девять произведений. Повести и рассказы, появившиеся в периодике второй половины 1840-х — начале 1850-х гг., не переиздавались. В XX в. дважды печаталась в сборниках повесть «Неистовый Роланд». В 1977 г. в Дополнениях к роману Вельтмана «Странник», выпущенному издательством «Наука» в серии «Литературные памятники», помещены рассказ «Костештские скалы» и отрывки из ряда прозаических произведений.

Журнальные, газетные и книжные публикации повестей и рассказов имели типографские, смысловые и орфографические погрешности, некоторые произведения подвергались переделке редакторами и издателями без согласия автора. Для настоящего издания была осуществлена научная подготовка текстов. За основу принималось последнее прижизненное издание. Оно сверялось с предыдущими публикациями, рукописными и корректурными вариантами, когда представлялась такая возможность. Широко использованы материалы архива Вельтмана (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 47). В тексты вносились обоснованные исправления. В процессе приведения их в соответствие с современными нормами правописания оставлялись без изменения некоторые орфографические архаизмы и авторские неологизмы (напр., *тротоар*, *тоалет*, *снурок*, *фасинабельный*, *скрыпка*), отражающие литературные и разговорные особенности и атмосферу эпохи. В то же время исправлялось такое написание, как *карьеря*, *литтература* и пр. В тех случаях, когда авторская пунктуация не искажала, не делала неясным смысл высказывания или не противоречила современным правилам, она не изменялась.

Сохранены все подстрочные примечания автора. Остальные пояснения и комментарии подготовлены впервые. Произведения помещены в сборнике в хронологическом порядке.

ЭРОТИДА

Повесть была впервые напечатана в журнале «Московский наблюдатель» (1835, ч. I), затем вошла в первый сборник «Повести» (1836, 1837), который положительно оценил В. Г. Белинский. Критик писал: «Из оригинальных повестей мы прочли в «Библиотеке» г. Глазунова три премиленькие повести г. Вельтмана (. . .)» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. II. М., 1953, с. 493),

Во второй части «Эротиды» много места уделено карточной игре, встречаются термины, непонятные современному читателю. Упоминаются они и в других произведениях нашего сборника. Поэтому считаем нужным дать краткое пояснение к ним.

Карточные игры делились на коммерческие (вист, бостон, ломбер), в которых брались ввязки и успех был связан с расчетом, и азартные (фараон, банк, штос, экарте), где выигрыш и проигрыш зависели от случая, удачи. В *экарте* играли вдвоем, в 32 карты: сдавали по пять карт, одиннадцатая была козырем. *Фараон* — с неограниченным количеством игроков, ставка делалась на одну из 52 карт. При игре в *банк* один из участников, *банкомет*, держит, или мечет, банк, т. е. ставит какую-либо сумму денег. Другие *понтитуют*, идут против него. Понтер называет сумму денег. Если она равна банку, то, значит, он понтирует *ва-банк*. У карты, которая идет против банкромета, понтер загибает угол (отсюда: *гнуть, гнуть на карту, загнуть угол*). Затем мечется колода. Выигрывает тот, у кого оказывается старшая карта.

Прохидка — промет каждой карты. *Талия* — промет всей колоды до конца или до срыва банка. *Убить карту* — иметь старшую карту, убивающую младшую. *Руте* — убить несколько карт подряд. *Соника* — карта, выигравшая сразу. *Выиграть соника* — выиграть с первой же карты весь банк. *Обдернуться* — поставить не на ту карту. *Паролé* — ставка, увеличенная вдвое против первоначальной; *паролé пэ* — вчетверо. Играть *мираи-долем* — не увеличивать первоначальной ставки. *Кензельва* — ставка в пятнадцать раз выше первоначальной. *Приставить мазу* — добавить к ставке. *Ставить семпелем* — ставить куш на одну карту. *Транспорт* — перенос ставки на другую карту. *Атанде* — предложение не делать ставки.

В *штосе* выигрыш зависит от того, на какую сторону ляжет карта. Направо — выигрывает понтер, налево — банкромет.

Стр. 21—22. *Вахштаф* — сорт табана.

Стр. 22. *Зол* — в древнегреческой мифологии повелитель ветров. Здесь: ветер.

Стр. 26. *Фирдовси* — Фирдоуси Абулькасим (ок. 940—1020 или 1030) — персидский и таджикский поэт, автор поэмы «Шахнаме».

Стр. 28. *Берлин* — вид тяжелой кареты.

Стр. 29. *Меркетентеры* — маркитанты, торговцы, сопровождавшие армию в походе.

Стр. 30. *Корволант* — войсковое соединение из конницы, пехоты и легкой артиллерии. Как чрезвычайно подвижное использовалось для нападений на тылы и коммуникации неприятеля.

Стр. 31. *Ратафия* — перегнанная настойка, приготавливаемая из водки, сахара и ароматических веществ или плодов.

Тамбур — род вышивания.

Стр. 34. *Маленький Капрал* — Наполеон Бонапарт.

Стр. 35. *Силуамский источник* — водоем с купальней, находившийся в юго-восточной части Иерусалима. Согласно евангелию, в нем омылся, по указанию Иисуса Христа, слепой и прозрел.

Стр. 36. *Пур-ле-мерит* («Pour le mérite») — орден «За заслуги».

Стр. 37. *Мельникер, Унгер, Рейн* — сорта вин.

Триктрак — игра в шашки и кости.

Стр. 42. *Телемак* — сын Одиссея, мифического царя о. Итака. По совету богини Афины отправился на поиски отца, не возвращавшегося домой после разрушения Трои,

Повесть была впервые напечатана в журнале «Библиотека для чтения» (1835, т. 10, ч. II) под заголовком «Провинциальные актеры» и со многими изменениями, сделанными редактором О. И. Сенковским. Вельтман не согласился с поправками и искажениями текста, вернул произведение прежние заглавие и напечатал в первоначальном виде в сборнике «Повести» (1836, 1837). «Неистовый Роланд» вызвал отклики в печати. Помимо упоминавшегося выше замечания В. Г. Белинского можно указать на «Обозрение русских газет и журналов за первую половину 1835 года. Изящная словесность» Я. Неверова, опубликованное в «Журнале Министерства народного просвещения» (1836, № 6), где говорилось о живом колорите и нескольких верных очерках уездных нравов и уездной жизни в повести. В дальнейшем литературоведы не раз обращались к «Неистовому Роланду», сопоставляя его с «Ревизором» и пьесой Грицко Основьяненко (см., например, статью И. Айзенштока «К вопросу о литературных влияниях (Г. Ф. Квитка и Н. В. Гоголь)». — «Известия Отдела русского языка и словесности Российской Академии наук», 1919, т. XXIV, кн. I).

В 1927 г. повесть была переиздана в книге «Старинная повесть» (Изд-во писателей в Ленинграде), затем — в сборнике «Русские повести XIX века 20—30-х годов» (М.—Л., 1950). В этих изданиях текст не был специально подготовлен, а в сборнике 1950 г. — сокращен без всяких пояснений.

Упомянутые и цитируемые в повести драматические произведения известны по следующим источникам. Пьеса «Неистовый Роланд» — в переводе с немецкого (М., 1793). Это инсценировка поэмы итальянского поэта Л. Ариосто (1474—1533). Широко известна была также трагедия Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Ее в юности переводил и Вельтман. Пьеса Ф. Матвеева «Добродетельная преступница, или Преступник от любви» была напечатана в Москве в 1792 г. Пьеса Ламатьера «Вольные судьи» известна по рукописи (1831), хранящейся в Ленинградской театральной библиотеке.

Стр. 48. *Шабаш* — субботний праздник, предписываемый еврейской религией.

Стр. 50. *Фактор* — мелкий посредник, комиссионер.

Стр. 52. *Ратафия* — см. прим. к «Эротиде».

Поль и Виргиния — герои одноименного романа французского писателя Бернарден де Сен-Пьера (1737—1814).

Стр. 53. *Завтрак на вилках* — буквальный перевод французского выражения «à la fourchette» — еда стоя у стойки.

Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761—1819) — немецкий драматург, прозаик, мемуарист. Реакционер, агент русского правительства, Коцебу был убит прогрессивно настроенным студентом К. Зандом.

Стр. 54. *Тулумбас* — ударный инструмент.

Ремиз — штраф за недобор установленного числа взяток (карточный термин).

Стр. 57. *Хожалый* — служитель полиции для разных поручений, посыльный.

Стр. 63. *Антикварий* — знаток древностей. Здесь: знаток старинных законов.

Русская Правда — памятник древнерусского права эпохи Киевского государства.

Целовальник — в Московской Руси должностное лицо, собиравшее по-

дати и выполнявшие судебные и полицейские функции. В XIX в. — продавец вина в питьевых домах.

Стр. 73. *Зерцало* — выставляемая на столах всякого присутственного места трехгранная призма с тремя указами Петра I.

АЛЕНУШКА

Повесть была напечатана в сборнике «Повести» (1836, 1837). В. Г. Белинский в упоминавшемся выше отзыве отмечал, что «Аленушка» заслуживает большего эпитета, нежели премиленькая.

Стр. 82. *Жанлис* Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746—1830) — французская писательница. В конце XVIII — начале XIX в. переводилась на русский язык.

Шнейдер Иоганн Каспар (1753—1839) — немецкий художник.

Орловский Александр Осипович (1777—1832) — русский художник.

Верне Пьер (1780 — ?) — французский художник. Работал в России в 1830 — 1860-е гг.

Стр. 83. *Арнаутка* — особый вид пшеницы.

Канавы — водоотводный канал в Москве.

Стр. 84. ...*письмовник* *Курганова* — сборник, включавший краткую грамматику, сатирические рассказы, анекдоты, антологию русской поэзии, разнообразный познавательный материал. Был составлен и издан в 1769 г. русским просветителем Н. Г. Кургановым (1725—1796). Затем «Письмовник» неоднократно переиздавался с дополнениями и был очень популярен.

Стр. 85. *Будхах* — Будда. Здесь: в ироническом смысле.

Стр. 91. *Походы в Турцию*. — Имеются в виду события русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

Стр. 92. «*Гюлистан*» — поэма персидского писателя Саади (между 1203—1210—1292).

Пери — персидское слово, означающее «крылатый» и обозначающее прекрасных существ восточной мифологии. Образ пери вошел в английскую поэзию благодаря Т. Муру, назвавшему вторую часть своей поэмы «Лалла Рук» — «Рай и Пери». Ее перевел в 1821 г. В. А. Жуковский, дав произведению заголовок «Пери и ангел». Он же спустя десять лет написал свое стихотворение «Пери». Так это понятие о крылатом и добром существе вошло в русскую культуру.

Стр. 93. *Сатурналии* — римские празднества в честь Сатурна, проводились в декабре.

Андроид — «механический человек», прототип робота. Его конструировал немецкий философ Альберт фон Больштет (ок. 1193—1280). Об андроидах, используемых человеком, Вельтман рассказал в романе «MMMCDXLVIII год».

Стикс — в древнегреческой мифологии одна из рек царства мертвых.

Стр. 94. *Берейтор* — объездчик верховых лошадей или учитель верховой езды.

Меркурий сублимат — ртуть.

Гассан — внук мусульманского пророка Мухаммеда ибн Абдаллаха.

Див — злой дух восточной мифологии.

Стр. 99. *Плиний Младший* (ок. 62 — ок. 114) — римский писатель и оратор. Сохранились его «Письма», представляющие значительный историко-литературный интерес.

Изида (Исида) — древнеегипетская богиня жизни и здоровья, покровительница материнства и плодородия.

Стр. 101. *Озирис* (Осирис) — древнеегипетский бог умирающей и воскресающей природы.

Брюс Яков Виллимович (1670—1735) — военный и государственный деятель при Петре I, ученый, составитель знаменитого «Брюсова календаря». В народе ходили слухи, что он — колдун.

Стр. 102. *Посессия* — землевладение.

ОЛЬГА

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Московский наблюдатель» (1837, ч. XI) под псевдонимом «А. В.» и вошел в сборник «Повести» (1843), которому В. Г. Белинский посвятил статью, опубликованную в журнале «Отечественные записки» (1843, № 10). Критик писал: «Лежащие перед нами пять* повестей г. Вельтмана так же точно оправдывают наше мнение о таланте этого автора, как и все другие его произведения» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955, с. 633). Одобрительно отзывавшись об «Ольге», он закончил статью словами: «Во всяком случае, повести г. Вельтмана, хотя они уже и не новость**, могут быть перечитаны с удовольствием. А так как публике русской теперь решительно нечего читать, то она должна быть рада, что ей хоть есть что-нибудь порядочное перечитать снова» (там же, с. 635).

Стр. 111. *Апеллес* — древнегреческий живописец 2-й половины IV в. до н. э. Особенно знаменитой была его картина «Афродита, выходящая из моря». Произведения художника не сохранились.

Стр. 117. *Шива* — бог индийской мифологии, олицетворение разрушительного начала.

Галлия — древнее название Франции.

Гиперборейский край — северная страна в мифах древних греков и других народов.

ИОЛАНДА

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Московский наблюдатель» (1837, ч. XII) и вошел в сборник «Повести» (1843). Сюжет произведения основан на вере в чародейство, бытовавшей в средние века. Она связана с искусством церопластики, о котором Вельтман написал специальное примечание. В нем говорилось: «Церопластика — искусство ваяния из воску (...). В средние времена в Западной Европе, вероятно в подражание древним, лики святых делались из воску, бюстами или восковой живописью. Но неизвестно, в которое время явилось чарование (...). Имея начало свое в язычестве, это мнимое средство порчи и убийства в XII веке было в большом употреблении во Франции. Мнение, чтобы не подвергать себя большим хлопотам и опасностям, делало восковую фигуру, совершенно похожую на врага своего или соперника, и, исполнив над ним все установленные обряды церкви, начинало его терзать,

* В. Г. Белинский ошибся — в сборник входило шесть повестей и рассказов (прим. составителя).

** Критик имеет в виду предшествовавшие журнальные публикации произведений (прим. составителя).

воображая, что живой человек, изображение которого мучат, чувствует эти муки даже за тридцать земель».

В журнале «Библиотека для чтения» (1843, № 10) была напечатана рецензия на сборник «Повести» (1843), в которой говорилось: «Есть еще здесь «Ольга» и «Иоланда»: последний рассказ, в котором столько чудес, столько печальностей, кажется, не кончен; но профиль и подробности отдаленного века обрисованы мастерскою кистью» (с. 31).

Стр. 132. *Мариньи* Энгерран (Ангерран) де (1260—1315) — французский государственный деятель в период правления короля Филиппа IV Красивого (1285—1314), шамбелан (камергер). После прихода к власти Людовика X был подвергнут опале, преследованиям, приговорен без достаточных оснований к смертной казни и повешен.

Капитул — общее собрание членов какого-либо ордена.

Стр. 141. *Фиакр* — наемный экипаж. *Рейтары* — солдаты наемной кавалерии в Европе. Оба понятия являются анахронизмом, допущенным автором. В XIV в. во Франции они не употреблялись.

РАДОЙ

Повесть была впервые напечатана в журнале «Сын Отечества» (1839, т. VII) и вошла в сборник «Повести» (1843). В. Г. Белинский отметил сложность композиции произведения: «Повесть «Радой» ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана. В ней есть прекрасные подробности» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955, с. 634). Ранее критик писал, что «Радой» — «вполне прекрасная, полная души и мысли повесть (...)» (там же, т. III. М., 1953, с. 176). В рецензии журнала «Библиотека для чтения» говорилось: «(...) «Радой» — большая повесть, исполненная трогательных сцен, истинно драматических положений и рассказанная на славу» (1843, т. 60, ч. II, с. 24).

В повести отражены исторические события.

В 1810-е годы балканские народы еще находились под османским игом. Дунайские княжества (господарства) Молдова (тогда называлась Молдавией) и Валахия управлялись князьями (господарями), назначаемыми Портой (Османской империей) и Диваном (государственным советом), в который входили турки и фанариоты (представители греческой аристократии и духовенства, пользовавшиеся привилегиями на занятие постов в турецкой администрации). Под властью Порты были Болгария и Греция. На Балканах росло народное возмущение, стремление освободиться от османского владычества и угнетения местных бояр. Много революционно настроенных греков, болгар, молдаван, валахов находилось в Бессарабии (ныне — Молдавии), расположенной к востоку от р. Прут. Она была присоединена к России после русско-турецкой войны 1806—1812 гг. на основании Бухарестского мирного договора 1812 г. Среди них был и грек Александр Ипсиланти (1792—1828), генерал-майор русской армии.

В Греции со второй половины XVIII в. возникают этерии — тайные революционные организации. Осенью 1814 г. в Одессе была создана национально-освободительная организация «Филики Этерия» («Дружеское Общество»). В 1820 г. в нее вступил Ипсиланти, встал во главе «Филики Этерия» и в 1821 г. поднял восстание в Молдове, опубликовав 24 февраля (8 марта) в Яссах знаменитое воззвание «В бой за веру и отечество». Сотни добровольцев стекались в его лагерь в Молдове. Через месяц восстание

распространилось и на саму Грецию. Так началась Греческая революция 1821—1829 гг. Восстанию под руководством Ипсиланти очень сочувствовали в России. Пушкин, находившийся тогда в Бессарабии, писал:

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вокруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремление бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!

О волнующих событиях поэт рассказал в письме к В. Л. Давыдову: «Греция восстала и провозгласила свою свободу (...) Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего Отечества» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII, (б. м.), 1937, с. 22, 23).

Вельтман познакомился с Ипсиланти в Кишиневе и сам с глубоким волнением ожидал, как развернутся события.

Примерно в это же время в Валахии было поднято восстание, во главе которого встал Тудор Владимиреску (ок. 1780—1821). Сначала оно развивалось успешно, восставшие вошли в Бухарест. Все ждали соединения Владимиреску с Ипсиланти. Но на валахов двинулась турецкая армия, и, чтобы выиграть время для организации отпора, Владимиреску одновременно с переговорами, начатыми в штабе Ипсиланти, вступил в переговоры с турками. Он был заподозрен атеристами в измене, его предательски захватили и убили. Валашское восстание было подавлено, потерпел неудачу и Ипсиланти, очень ослабив свое положение раздором с Владимиреску. В июне 1821 г. войска восставших греков были разбиты турками в сражении при Драгошанах.

В результате русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Греция получила независимость, а Молдова и Валахия — автономию.

Эпизоды событий 1821—1828 гг. Вельтман описал как свидетель и непосредственный участник.

В главе IV «Радоя» рассказывается о средневековом рыцарском турнире. Им руководят судьи — *джюджедуры*. Перед началом состязаний исполняются приветственные песни. Их поет *минстрель* (менестрель) — им мог быть сам поэт или бродячий певец-музыкант. *Сирвентес-римот* и *лей* (ле) — жанры лирики трубадуров.

Стр. 142. *Варна* была взята 29 сентября (11 октября) 1828 г.

Лев — денежная единица, имевшая хождение на Балканах.

Стр. 143. *Китаб* — книга (араб.).

Стр. 153. *Гейдельберг* — сорт вина.

Стр. 155. В песне «Фельдмаршал Ипсиланти, большой генерал Дука!» припев «Пом-пом-пом-померани-пом!» имеет особое значение. Это строка из румынской народной песни о Владимиреску, в аллегорической форме рассказывающей о судьбе народного героя. Точно этот стих звучит так: «Рот, рот, рот, егат еп, рот», что в переводе означает: «Фруктовым деревом, фруктовым деревом, фруктовым деревом был я, фруктовым деревом». Песня получила широкую известность, Вельтман цитировал первый стих в романе «Сграницк» (гл. CCCIX),

КОСТЕШТСКИЕ СКАЛЫ

Рассказ был впервые напечатан в «Одесском альманахе на 1840 год» и вошел в сборник «Повести» (1843). Он основан на реальных событиях, происходивших во время полевых съемок в Бессарабии, осуществлявшихся автором и его друзьями, офицерами-топографами. Рассказ ведется о конкретных людях, названных вымышленными именами. Светов — это Вельтман, Фантанов — Фонтон де Верайон, Рацкий — Полторацкий, Лугин — Лугинин. Ленкуца — уменьшительное молдавское от Елены.

«Не без удовольствия можно прочесть рассказ Вельтмана «Костештские скалы» (...), — отметил В. Г. Белинский в рецензии на «Одесский альманах на 1840 год» (В. Г. Белинский). Полн. собр. соч. Т. IV. М., 1954, с. 122).

Стр. 193. *Пионер* — сапер.

Стр. 196. *В сюрсах* — в козырях.

Стр. 197. *По имени «Драку»*. — Имя «Драку» дали в Бессарабии черту в память о воеводе Дракуле, известном своей жестокостью и бесчеловечностью.

Стр. 198. *Шлык* — островерхая шапочка.

Стр. 202 *Колонновожатые* — учащиеся военной школы, юнкера, готовившиеся по квартирмейстерской части, т. е. для топографической, саперной, штабной работы.

Астахов (Осташов) — селение недалеко от Москвы, где проходили полевую практику учащиеся Московского учебного заведения для колонновожатых под руководством генерала Н. Н. Муравьева.

Стр. 203. *Джок* (жок) — молдавский танец.

Армидин сад — волшебные сады героини поэмы итальянского поэта Т. Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» Армиды, увлекшей в эти сады Ринальдо.

Стр. 204. *Планишеты* — приспособления, на которых закреплялись во время топографической съемки местности карты, чертежные листы.

Хотин — в описываемое время городок-крепость на севере Бессарабии. Там производилась обработка материалов топографических съемок.

ПРИЕЗЖИЙ ИЗ УЕЗДА, ИЛИ СУМАТОХА В СТОЛИЦЕ

Повесть была впервые напечатана в журнале «Москвитянин» (1841, ч. I) и вошла в сборник «Повести» (1843), где по типографской оплошности выпали из верстки две страницы. Текст восстановлен по первой публикации.

В. Г. Белинский писал: «Как расположилось и как живет в этих палатах и дворцах «поштенное» купечество, — об этом любопытные могут справиться, между прочим, в повести г. Вельтмана «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» (В. Г. Белинский). Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1955, с. 400, 401).

Помещенные в тексте повести стихотворения являются пародиями на произведения поэта В. Г. Бенедиктова. Они перепечатаны в сборнике «Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.)». Л., 1960.

Стр. 205. *Тилемахида* — перевод русским гекзаметром романа французского писателя Фенелона «Приключения Телемака», напечатанный в 1766 г. поэтом В. К. Тредиаковским.

Стр. 206. ...*«своей семьей»*. — Автор намекает на комедию «Своя семья»

(1818), написанную А. С. Грибоедовым, А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким.

Палингенезия (палингенез) — появление в течение индивидуального развития признаков, уже исчезнувших у определенной группы организмов в процессе эволюции.

Стр. 208. *...беспокоит участь Дон Карлоса...*— Дон Карлос Старший (1788—1855) — брат испанского короля Фердинанда VII, претепдовавший после его смерти на испанский престол и развязавший в этих целях династическую войну (1833—1840). Потерпев поражение, бежал в 1839 г. во Францию.

Сю Эжен (Мари Жозеф) (1804—1857) — французский писатель. В 1830-е годы переводы его произведений печатались в журнале «Телескоп», в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду».

Стр. 210. *...журнала литературы, промышленности, мсд, брани и разных подобных вещей* — Имеется в виду «Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художественной промышленности, новостей и мод», выходивший в Петербурге с 1834 г.

Стр. 211. Строки из стихотворного послания к Храповицкому поэта Г. Р. Державина. Последняя строка воспроизведена неточно, должно быть: «Он лишь может только лыстать».

Стр. 214. *Ореады* — нимфы гор в древнегреческой мифологии.

Стр. 215. *Трухменец* — представитель малочисленной группы туркмен, переселившейся в конце XVII — начале XVIII в. в Ставрополье.

Стр. 216. *Университет св. Владимира* был открыт в Киеве в 1832 г.

Стр. 217. *...тассовыми октавами...*— Тассо написал октавами (строфами из восьми стихов) поэму «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 218. *Архалук* — род короткого кафтана.

Стр. 230. *Кастальский ключ* — в древнегреческой мифологии источник на горе Парнас, посвященный Аполлону и музам, т. е. источник поэтического вдохновения.

Стр. 233. *Барбье* Огюст (1805—1882) — французский поэт. Стал известным в России в 1832 г. после издания в Париже его сборника сатир «Ямбы» (1831). Сборник был запрещен русской цензурой.

Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869) — французский поэт, историк, политический деятель. Одним из первых переводчиков его стихотворений на русский язык был поэт А. И. Полежаев (1804—1838).

Стр. 236. *Циркумвальной линией* — наружная круговая укрепленная позиция, возводимая атакующими вокруг крепости при блокаде для обеспечения тыла атакующих войск и для того, чтобы помешать противнику получать подкрепления извне.

Стр. 240. *Состязание с Ламартином и Пушкиным!* — Ряд стихотворений, посвященных Наполеону, написал Ламартин. Пушкин в 1821 г. создал стихотворение «Наполеон» («Чудесный жребий совершился...»). Вновь обратились многие поэты к образу французского полководца в 1840 г., когда было принято решение перенести его прах с острова Св. Елены в Париж. В. Г. Бенедиктов написал поэму «Ватерлоо».

Стр. 241. *...голосом Стентора...*— Стентор — действующее лицо «Илиады» Гомера, «медноголосый боец». Имел феноменально звонкий голос, вошедший в поговорку.

Стр. 247. *...взяв в руки «Пчелу».*— Газета «Северная пчела» выходила в Петербурге в 1825—1864 гг. С 1831 по 1861 г. ее редактировали Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч,

Стр. 248. ...поход в Хиву...— Имеется в виду Хивинский поход 1839—1840 гг. В нем принимал участие писатель В. И. Даль,

УРСУЛ

Повесть была опубликована в сборнике «Сто русских литераторов» (Т. II. СПб., 1841). Изложенные в ней события действительно произошли в Бессарабии и Молдове (Молдавии). Поимка талгаря (разбойника) Урсула произошла в Кишиневе в апреле 1824 г. Вельтман писал в «Воспоминаниях о Бессарабии»:

«Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула (...). Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда войнолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после скулянского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням, берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из отважных ограбил на дороге от Бендер к Кишиневу купца. Вздумал пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арпаутов; но ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и, заметив разбойников в корчме, закричал: «Талгарь, талгары!» Народ сбежался; письменная почта была подле; почтмейстер Алексеев, отставной храбрый полковник гусарский, собрал команду почтальонов и бросился с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженными, вскочил на коней, понесли во весь опор через город. Только крики: «Талгарь, талгары!» успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед, однако же выбрали плохой путь — через Булгарию (улицу Булгарскую). Булгары осыпали их пулями и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу Быка. Принадлежка разным владельцам, все пространство было в загородах. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, но загородок было много, а толпы булгар преследовали их бегом и догоняли; постепенно утомленные кони падали с отважными седоками, и булгары, как пчелы, осыпали их и перывывали. На скованного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения; когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал» (А. Ф. В е л ь т м а н. Воспоминания о Бессарабии.— В кн.: Л. Майков. Пушкин. М., 1888, с. 127, 128).

Прочтя повесть, современные критики недооценили глубокий психологизм и художественное мастерство повествования. В. Г. Белинский писал: «Изысканность, вычурность, напыщенность, бессвязность, пестрота и, к довершению всего,— хоть разломай себе голову, а ничего не поймешь в этой повести...» (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч. Т. V. М., 1954, с. 212). Рецензент «Северной пчелы» отметил: «В этой повести, изображающей молдаванские нравы, есть несколько превосходных поэтических страниц, как и во всех сочинениях г. Вельтмана, но целое как-то темно, тяжело, как-то недосказано (...).» (1841, № 160, с. 659).

Вельтман ни в повести, ни в воспоминаниях не упоминает о кончине Урсула. Об этом мы узнаем из других источников: «Все дивились твердости Урсула, который во все время казни не испустил ни единой жалобы,

ни единого вздоха. После тяжкого наказания кнутом через два дня он умер» (Записки Ф. Ф. Вигеля. Ч. 6. М., 1865, с. 132).

Урсул появляется и в романе «Счастье — несчастье». Один из героев произведения Илья Ларин заходит в корчму и видит гайдуков и их атамана Урсула, отпущенного на честное слово, чтобы проститься с товарищами перед казнью. Атаман, «суровой, но прекрасной наружности, богатырской стати мужчина», рассказывает, что его предал настоящий разбойник, грабивший и убивавший людей под именем Урсула. Происходит диалог: «А ты-то, настоящий Урсул, что делал?» — «Полк собирал, чтоб идти за Дунай». — «Зачем?» — «А родина, а головы наши под турецким ятаганом, а жены и дочери наши?» — «Правда, но не время ты выбрал». — «Сотни лет прошло, а все не время, погоди, да погоди» (А. Ф. Вельтман. Счастье — несчастье. М., 1863, с. 115).

Так Урсул становится у Вельтмана борцом за освобождение родины.

Стр. 266. *Арнаулы* — албанцы, проживавшие в Бессарабии. Иногда так называли вообще балканцев, избравших военную карьеру.

Манта — верхняя одежда типа плаща или накидки.

Стр. 267. *Праздник «Труб»* — первый день седьмого месяца по еврейскому календарю. Носит также название «Дня трубного звука». Во время праздника играют на шофарах — рогах.

...накинув на головы саваны... — При молитве евреи накрываются молитвенным покрывалом (талесом).

...хранилище заповедей... — При молитве евреи прикрепляют при помощи ремней ко лбу и руке ящички, в которых зашиты цитаты из Библии.

...нашествие Навуходоносора... — В 597 г. до н. э. вавилонский царь Наби-Кудурри-уцур (Навуходоносор) захватил Иерусалим и увел более 3000 пленных евреев. В 587 или 586 г. вторично захватил восставший город и разрушил его, превратил Иудейское царство в вавилонскую провинцию и пленил более 9000 евреев.

Стр. 272. *Митигича* — молдавский танец, обычно с пением.

Стр. 278. *Кордон* — отряд пограничной охраны.

Стр. 284. *Визирь* — высший сановник в Османской империи.

КАРЬЕРА

Повесть была напечатана в журнале «Библиотека для чтения» (1842, т. 55). В. Г. Белинский в обзоре «Русская литература в 1842 году», напечатанном в журнале «Отечественные записки» (1843, № 1), отметил: «Г-н Вельтман поместил в «Библиотеке для чтения» весьма занимательный и живо написанный рассказ «Карьера» (...)» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. VI. М., 1955, с. 537).

Стр. 293. Под 0° долготы и 48° 50' северной широты лежит столица Великобритании Лондон.

Стр. 294. *Гайдук* — здесь: выездной лакей.

Стр. 296. *Прозелит* — новый горячий приверженец чего-нибудь.

Стр. 297. *Рококо* — архитектурный и декоративный стиль XVII—XVIII вв., отличающийся изысканной сложностью и причудливостью.

Тальони (Тальони) Мария (1804—1884) — итальянская балерина. В 1837—1842 гг. выступала в России. Исполняла заглавную партию в балете Шнейцгоффера «Сильфида», упоминаемом далее в повести. Эта партия принесла ей всемирную известность.

Стр. 301. «*Московские ведомости*» — газета, выходившая с 1756 по

1917 г., до 1842 г.— два раза в неделю, затем три раза, с 1859 г.— ежедневно. В 1840-е гг. ее редактором был Е. Ф. Корш.

Стр. 306. *Камер-юнкер* — придворное звание, которым жаловались гражданские чиновники из дворян, имевшие чин не выше статского советника. При парадной форме носили золотой ключ.

Стр. 307. ...*холера*...— Эпидемия холеры вспыхнула в Москве в 1830 г. и распространилась на ряд городов России.

Стр. 310. *Колет* — род короткой верхней одежды в некоторых конных полках. *Ментик* — гусарская короткая накидка с меховой опушкой.

Стр. 314. *Цербер* (Кербер) — в древнегреческой мифологии свирепый трехголовый пес, охраняющий выход из Аида, царства мертвых. В переносном смысле — злой страж.

...*железная дорога*...— Имеется в виду первая в России железная дорога общего пользования между Петербургом и Царским Селом, открытая в 1837 г.

Стр. 315. ...*картину Брюлова*...— Имеется в виду картина русского живописца К. П. Брюлова (1794—1852) «Последний день Помпеи» (1830—1833), выставленная в Петербурге. Вельтман писал: «Про картину Брюлова я не смею ни слова сказать, я не знаток в живописи, я еще продолжаю смотреть на нее мысленно; в восторге я бываю похож на голубя арабской басни, разбившего себе голову об стену, на которой было нарисовано пшено» («О господине Новгороде Великом». М., 1834, с. 7).

Стр. 317. *«Невеста»* — опера Обера.

Дивергисмент — театральное представление, даваемое в дополнение к главному представлению и состоящее из мелких номеров.

Стр. 318. *Опекунский совет* — учреждение по охране правовых и имущественных интересов лиц, не способных самостоятельно действовать до достижения совершеннолетия или по недееспособности. С 1838 г. при Опекунском совете были образованы вдовья и ссудная кассы, что сделало его ссудно-сберегательным, выполняющим кредитные операции учреждением.

Стр. 319. *Веста* (Геста) — в древнегреческой и римской мифологии божество домашнего очага и огня. В храме Весты горел вечный огонь.

Стр. 320. *Барон Брамбеус* — литературный псевдоним русского писателя О. И. Сенковского (1800—1858).

Стр. 322. *Алябьев* Александр Александрович (1787—1851) — русский композитор, писал романсы на слова Вельтмана, хотел создать оперу «Амалат-бек» на либретто писателя.

Стр. 324. *Камергер* — то же, что и камер-юнкер, только чиновник должен был иметь чин не ниже действительного статского советника.

Стр. 330. ...*ящик Пандоры*...— Пандора в древнегреческой мифологии первая женщина. У нее был сосуд (ящик) —местилище бед. Обуреваемая любопытством, Пандора открыла его и выпустила на волю все бедствия человечества.

НЕ ДОМ, А ИГРУШЕЧКА!

Повесть была завершена к 1850 г. и отпечатана самим автором в небольшом количестве экземпляров. На титульном листе значилось: «Издад А. Вельтман». В Отделе рукописей ГБЛ хранится корректорский экземпляр со значительной авторской правкой (см.: Ю. Акутин. А домовой-то! — крикнул Пушкин.— «В мире книг», 1977, № 1). По этому изда-

нию, учитывая изменения и дополнения, сделанные Вельтманом, и подготовлен текст повести для настоящего издания.

Вельтман бывал у П. В. Нащокина вместе с Пушкиным. Последний в письмах к Павлу Воиновичу интересовался делами Вельтмана. Интерес Пушкина к затее с «нащокинским домиком» отразился в ряде его писем к жене Н. Н. Пушкиной. Вельтман сохранял дружеские отношения с Нащокиным и после гибели великого поэта — их связывала любовь к Пушкину. Впоследствии некогда очень богатый Нащокин разорился и постепенно лишился своего домика. В настоящее время остатки вещей «домика Нащокина» хранятся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина (Ленинград). В экспозиции музея в бывшем Церковном флигеле Екатерининского дворца (г. Пушкин) выставлена копия внутреннего убранства домика.

Стихотворение, которое читает Пушкин на новоселье в повести, — это «Веселый пир». Впервые Пушкин напечатал его в 1824 г. в журнале «Мнемозина» под заголовком «Вечер». В четверостишии, с которым поэт обращается к домовому, мы узнаем строки из его стихотворения «Домовому» в измененном виде. Впервые произведение появилось в 1824 г. на страницах альманаха «Полярная звезда». Подлинные стихи звучат так:

Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полуночного вора

И от недружеского взора
Счастливый домик охрани;
Ходи вокруг его заботливым дозором...

Стр. 336. *Сорочины* — сороковой день со дня смерти.

Стр. 337. *«Чурова долина, или Сон наяву»* — опера А. Н. Верстовского (1844).

Стр. 340. *Робронт* (роброн) — широкое женское платье с округленным шлейфом,

Содержание

*

Проза Александра Вельтмана , Ю. Акутин

5

Эротика

21

Неистовый Роланд

48

Аленушка

82

Ольга

111

Иоланда

132

Радой

142

Костештские скалы

192

Приезжий из уезда, или Суматоха в столиц

205

Урсул

266

Карьера

293

Не дом, а игрушечка!

335

Примечания

370

Александр Фомич Вельтман

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор
Т. М. Мугуев

Художественный редактор
Э. А. Розен

Технический редактор
В. А. Преображенская

Корректоры
Л. М. Логунова, Л. В. Дорофеева,
Э. З. Сергеева и М. Е. Барабанова

*

ИБ № 1361

Сдано в набор 19.07.78. Подп. в печать 15.01.79. А09910. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,42. Тираж 200.000 экз. Заказ № 1372. Цена 2 р. Изд. инд. ЛХ-131.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

